

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Ю.С. Степанов
**В ТРЕХМЕРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ЯЗЫКА**

*Семиотические
проблемы
лингвистики
философии
искусства*

Ответственный редактор
доктор филологических наук
В.П. Нерознак



Москва
"Наука"
1985

В книге определяются некоторые типичные отношения к языку, образующие исторические периоды, "стили", или "парадигмы", мышления в науке о языке, философии, искусстве слова от античности до наших дней. Показано, что эти "парадигмы" организуются сообразно трем параметрам ("измерениям") самого языка — семантике, синтактике, прагматике и что язык тем самым образует "пространство мысли", в котором формируются идеи. Особое внимание уделяется различиям по этим линиям поэтик символистов, русских футуристов, Достоевского, Ибсена, Горького и др.

Рецензенты:

А.Л. Гришунин, В.И. Постовалова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нет ничего более естественного, как представлять себе язык в виде пространства или объема, в котором люди формируют свои идеи. Что это, метафора? Да, если мы хотим вообразить себе язык. Напротив, достаточно строгое представление, если мы хотим мыслить язык в терминах науки о знаковых системах, семиотики.

В семиотике язык описывается в трех измерениях — семантики, синтактики, прагматики. Семантика имеет дело с отношениями знаков к тому, что знаки обозначают, к объектам действительности и понятиям о них. Синтактика — с отношениями знаков друг к другу. Прагматика (дектика) — с отношениями знаков к человеку, который пользуется языком. В своем реальном бытии язык равномерно развертывается в этих трех измерениях. (Нет необходимости говорить, что речь не идет о каком-то численном измерении, слово "измерение" здесь синоним слов "ось", "координата", "параметр"; см. более полное определение в гл. VII.)

Сама трехмерность языка — главный источник языковых проблем для лингвистики, философии и искусства слова. Изучение языка в лингвистике, его осмысление в философии, его освоение в искусстве слова — более или менее одновременно и параллельно во всех этих областях — направляются также по трем названным осям. Но не по всем трем сразу.

По причинам, которые еще предстоит выяснить, в одну эпоху развивается одно направление, в другую — другое, в третью — третье. Можно сгруппировать различные подходы к языку в зависимости от предпочитаемого в них "измерения" как подходы семантические, синтактические, прагматические (дектические) — получится некоторая типология "философий языка", или "парадигм".

Термин "парадигма" употребил, по-видимому впервые, Т.Кун в начале 1960-х годов применительно к физике, понимая под ним общепризнанный образец постановки и решения науч-

ных проблем [Кун 1977, 11]. Понятие, которое мы здесь связываем с этим термином, несколько иное, и возникло оно гораздо раньше. М.Борн уже в 1953 г. писал: "Я не хочу сказать, что (вне математики) существуют какие-либо неизменные принципы, априорные в строгом смысле этого слова. Но я думаю, что существуют какие-то общие тенденции мысли, изменяющиеся очень медленно и образующие определенные философские периоды с характерными для них идеями во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в науке... Стили мышления — стили не только в искусстве, но и в науке" [Борн 1963, 227; в плане семиотики см.: Степанов 1971, 45; в плане поэтики: Степанов Г.В., 1978, 8].

Итак, под "парадигмой" мы понимаем здесь господствующий в какую-либо данную эпоху взгляд на язык, связанный с определенным философским течением и определенным направлением в искусстве, притом таким именно образом, что философские положения используются для объяснения наиболее общих законов языка, а данные языка в свою очередь — для решения некоторых (обычно лишь некоторых) философских проблем; так же и в отношении искусства: направление в искусстве, прежде всего в искусстве слова, формирует способы использования языка, а последние накладывают свой отпечаток (обычно лишь в некоторой степени) на искусство. "Парадигма" связана с определенным стилем мышления в науке и стилем в искусстве. Понятая таким образом "парадигма" — явление историческое.

Выражение "философия языка" мы употребляем здесь как синоним к термину "парадигма". Это, следовательно, не обозначение течений или направлений в философии, а название некоторых взглядов на язык (связанных, однако, с теми или иными философскими течениями). Оно сформировалось в конце XVIII — нач. XIX в. в ряду таких выражений, как "философия природы", "философия истории", "философия искусства", "философия права", для обозначения наиболее общих принципов устройства языка. Оно до сих пор в ходу среди лингвистов как в русском, так и в западноевропейских языках нем. Sprachphilosophie, франц. philosophie du langage) в значениях "философские проблемы языкознания" и "философские проблемы, связанные с языком". Еще более условным является, конечно, такое, например, выражение, как "философия имени"; оно употребляется здесь просто как сокращение более длинного выражения «такая „философия языка“, которая рассматривает все свои проблемы с точки зрения имени и именованья» (соответственно то же для выражений "философия предиката" и т.п.).

В этой книге мы выделили три "парадигмы" в указанном выше понимании: I. Семантическая парадигма ("философия языка" сводится в ней к "философии имени"). II. Синтаксическая парадигма ("философия языка" сводится к "философии предиката"). III. Прагматическая (декгическая) парадигма ("философия языка" сводится к "философии эгоцентрических слов"). Вырисовывается еще некоторое количество межпарадигматических периодов — XVII и XVIII вв. в первую очередь.

В общем, когда материал излагается таким образом, в истории "парадигм" ("философий языка" и поэтик) проступает некоторая закономерность: язык как бы незаметно направляет теоретическую мысль (философов, размышляющих о языке) и поэтический порыв (художников слова) поочередно по одной из своих осей — сначала семантики, затем синтактики, и, наконец, прагматики и, завершив этот цикл, готов, по спирали, повторить его снова. Необходимо еще раз со всей определенностью подчеркнуть: язык не является источником развития философии или искусства, но он в определенной мере (которую не следует преувеличивать) "придает изгиб" линии их развития. Язык в этом утверждении понимается не как тот или иной отдельный, конкретный, национальный, этнический, или, как еще говорят, "идиознический", язык, а как человеческий язык вообще, рассматриваемый со стороны его общих свойств, логико-лингвистических констант. (Главная проблема этой книги не имеет, следовательно, ничего общего с проблемой так называемой гипотезы Сепира—Уорфа.)

Все "парадигмы" (как это подчеркнуто и в их названиях) односторонни, и когда одна сменяет другую, то, хотя весь процесс приближает нас к познанию объективной реальности, все же в известной мере одна односторонность сменяется другой. В этом смысле перед читателем — книга об односторонних подходах. Но такова природа семиотических проблем: они обнаруживают свою суть, будучи заострены до предела, в экстремальной проблемной ситуации или в остром художественном эксперименте. (Это ощущали многие художники слова, упоминаемые в книге: Достоевский, Ибсен, а также символисты и другие модернисты. В частности, поэтому реализм, как наиболее полный, свободный от крайностей художественный метод, здесь является фоном анализа, а не его предметом.)

Естественно, что марксистская концепция языка не может рассматриваться в этом же ряду "парадигм" как "еще одна философия языка"; она является основой рассмотрения всех "парадигм", и с ее точки зрения выносятся суждения об их

неполноте. Марксистская концепция языка присутствует в этой книге в своем специально-языковедческом аспекте (как система взаимосвязанных положений о социальной природе языка, о его роли в социальной практике, о его отражательных свойствах, о связи языка и мышления, о языке как непосредственной действительности сознания и т.д.) и в своем наиболее общем аспекте, который особенно важен для рассмотрения семиотических проблем, — в аспекте ее связи с диалектикой.

В марксистской философии диалектика рассматривается и как теория познания и как логика (диалектическая логика). Предмет исследования диалектики как логики — творчески познающее мышление, весь его категориальный строй; его логические структуры и соотношения их элементов — понятий, суждений, теорий; его прогнозирующая функция; принципы и закономерности формирования и развития знания. «Одной из характерных особенностей д[иалектики] как логики является то, что она исследует переходы от одной системы знания к другой, более высокой. При этом неизбежно выявляются диалектич[еские] противоречия, отражающие как противоречия в самом объекте познания, так и противоречия взаимодействия субъекта и объекта познания, а также противоречивость в самом процессе познания. Особенно острую форму они приобретают на "границах" такой теории, к[ото]рая исчерпала свои объяснит[ельные] возможности, и требуется переход к новой. Этот переход предполагает разрешение противоречий между старой теорией и новой системой фактов... Допуская определ[енную] типологию разрешения противоречий д[иалектика] как логика не определяет однозначно результат разрешения: здесь происходит изменение содержания знания» [Философский энциклопедический словарь 1983, 157]. Читатель легко увидит, что это определение марксистской диалектики как логики почти программно выполняется в этой книге, разумеется в части, касающейся семиотических проблем, прежде всего проблем языка. Естественно, что одной из основных трудностей является при этом разграничение специального, общенаучного и собственно философского знания (или в данном случае лингвистики, семиотики, философии) — разграничение, которое автор старался последовательно проводить. И если оно не везде ему удалось, то это, разумеется, вызванный сложностью материала недостаток, а не установка.

И, конечно, автор далек от мысли, что его подход является исчерпывающим в такой сложной междисциплинарной области, которая даже не приобрела еще окончательного названия и именуется описательно с точки зрения взаимо-

действующих наук как "философские проблемы языкознания и семиотики" или как "языковые проблемы философии", "философские проблемы языка". Кроме принятого в этой книге подхода существуют еще по крайней мере следующие: от критического пересмотра проблем с позиций марксизма, поставленных в неопозитивизме [Козлова 1972; Брутян 1979]; от исследования одной-двух проблем, понимаемых как центральные [Колшанский 1975; Новиков 1982, 34—59]; от установления прямых аналогий между категориями марксистской диалектики, такими, как "отражение", "диалектическое противоречие", "количество", "качество" и др., и категориями языка [Панфилов 1982]; от установления собственно языковых категорий, существенных для философии, таких, как "социальная природа языка", "знак и значение", "типы мышления в связи с языком" и др. [Серебренников 1983]. По-видимому, будет правильным сказать, что марксистская концепция в этой области успешно развивается именно благодаря сосуществованию различных исследовательских подходов при общей методологической основе. В области исследования художественных методов и поэтик мы могли более определенно опереться на имеющиеся работы [Храпченко 1982; Николаев 1983].

Лингвистика представлена в этой книге главным образом лингво-логическими концепциями (которые существовали уже тогда, когда еще не было самой лингвистики) в их истории. Искусство слова представлено здесь своими поэтиками, каждая из которых в той или иной мере тоже "философия слова". Однако если интересующая нас поэтика самими творцами не объявлена и ее "литературного манифеста" не существует, а также в тех случаях, когда творчество не может быть сведено к какой-либо ограниченной поэтике (Достоевский, Ибсен, Горький), но определенное художественное произведение или цикл с той или иной поэтикой связаны, мы обращались к художественным текстам.

По мере накопления наблюдений все более стали проявляться идеи, которые, вероятно, теперь должны быть осознаны как "философские константы языка", присущие всем парадигмам во все времена. Назовем здесь только некоторые из них: 1. Идея "двух языков", на одном из которых люди говорят о явлениях, на другом — о сущностях: "земное" и "божественное" слово в мифологические времена; народные языки и единый язык науки, латынь, в эпоху Возрождения; "два языка" в теориях Пор-Рояля; реальные языки наук и "вещный язык" у представителей логического позитивизма; звучащий язык и "язык молчания", апофатика, у Николая Кузанского

и у феноменологов XX в. и т.д. 2. Идея "пропозициональных установок", т.е. выражений типа "Я думаю, что...", занимавшая Фому Аквинского, позднейших схоластов, Б. Рассела, философов "лингвистического анализа" и мн. др. 3. Идея "количества имен" в языке, в особенности количества имен, которые способно охватить одно предложение (она специально моделируется в гл. VII этой книги), и нек. др.

Связанные со всеми ними лингвистические вопросы рассмотрены нами в другой работе [Степанов 1981], которая поэтому упоминается здесь особенно часто.

Несколько слов о стиле. В книге много цитат: мы хотели, как того требует исторический метод, чтобы звучали голоса самих участников историко-культурного процесса — мыслителей и поэтов. Кто-нибудь может спросить: но где же голос автора? Это то же самое, что требовать голоса дирижера в опере среди голосов солистов. Роль автора, как и роль дирижера, не в этом.

Глава I

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ("ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ" КАК ВЫРАЖЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЯЗЫКУ)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Семантика была первым из трех направлений, по которому устремились философы языка. Это произошло еще в античности, а возможно, даже в дофилософский период, в мифах о происхождении языка. В значительной степени по этому пути направилась и философия вообще. В основу очень многих философских вопросов были положены рассуждения об имени и его отношении к вещам, следовательно, с современной точки зрения — рассуждения о семантике. Философия имени — это пик изучения "чистой семантики", почти целиком освобожденной (мы бы сказали теперь — абстрагированной) от синтактики и прагматики (дектики).

В отечественной традиции термин "философия имени" утвердился книгой А.Ф. Лосева "Философия имени" [1927а], так что для определенного отрезка традиции это — самоназвание. Но мы применяем его и за пределами этого отрезка в обе стороны, более широко и, следовательно, более условно. Так мы называем всю ту философию языка, которая кладет в основу имя и его отношение к миру, рассматривая всё через призму этого вопроса.

Период философии имени в Европе документально засвидетельствован уже у Гераклита (род. ок. 544—540 г. до н.э.)¹, в той мере, в какой мы находим у него учение о Логосе. В этот период греческое слово *λόγος* означает речь и слово со стороны как формы, так и содержания, смысл, саму мысль и, наконец, разум. По Гераклиту, вся природа устроена согласно "истинному рассуждению", или закону (это Гераклит и называет иногда логосом), открытие которого и составляет задачу философа. «Уже у Гераклита, — пишет С.Н. Тру-

¹ Даты жизни философов указываются по Большой Советской Энциклопедии (3-е изд.).

бецкой, — мы находим основное положение позднейшего идеализма: если природа познаваема "истинным рассуждением", или Логосом, если она сообразна ему, то, значит, в самом основании ее лежит разумное начало, Логос, иначе объективное познание немислимо» [Новый энциклопедический словарь, т. 24, стб. 798; см. также: Трубецкой 1906]. После Сократа, продолжает Трубецкой, термин "Логос" получает главным образом значение "понятие", и в известном смысле всю аттическую философию после Сократа можно назвать "философией понятия". Мы же в той мере, в какой в ней можно выделить логико-лингвистические проблемы, называем ее тоже философией имени.

Как парадигма, т.е. как система, принятая сообществом ученых, философия имени начинается Платоном и Аристотелем и кончается вместе со схоластикой в XVII в. (Позже ее как целое продолжают отдельные философы языка, например А.Ф. Лосев, и, с другой стороны, отдельные понятия этой системы могут все еще приниматься массами ученых [см.: Верещагин, Костомаров 1980].) Этот научный период охватывает целый ряд общественно-исторических формаций и эпох в общественном развитии, науке и культуре, и если мы говорим о каком-то единстве парадигмы, то это именно единство взглядов на язык. Но, конечно, сквозь философскую картину языка проступает философская картина мира. Черты той и другой совмещаются, и Э. Жильсон, в другой связи, удачно назвал их "философскими константами языка" [см.: Gilson 1982; Джохадзе, Стяжкин 1981].

Взгляды на язык в философии имени соответствуют некоторым константам в общем представлении о мире — мире как совокупности "вещей", размещенных в пустом "пространстве". Представление о "пустом пространстве", или "месте", независимом от "вещей", в определенном смысле останется господствующим до появления в конце XIX — нач. XX в. новых физических воззрений и теории относительности. "Вещь", хорошо "определимая", солидная, независимая от отношений и доминирующая над ними, пребывающая в пустом "пространстве", или "месте", всегда может получить "имя". "Имя" связано не только с "вещью", но и с ее "сущностью". Как бы ни было имя как конкретное слово случайно, временно или условно, суть именованного всегда в закреплении сущности вещи, вневременной, неслучайной и безусловной. Язык и рассматривается как совокупность "имен вещей", открывающая путь к познанию сущностей.

С началом эпохи Возрождения возникает новая парадигма, основанная на идее эволюции. "Народный язык", противо-

поставленный латыни, развивающийся и достигающий необыкновенных красот художественного выражения, будет занимать умы людей Возрождения, начиная от Данте, Лоренцо Валлы и Макиавелли. Но это будет совсем другая парадигма — не столько науки, сколько политики и искусства. На протяжении нескольких столетий обе парадигмы будут сосуществовать, пока не приведут — через ряд опосредований — в XIX в. к представлению о двух различных языках — "языке науки" и "языке искусства" и, наконец, в наши дни к идее "ноуменального языка" и "языка феноменального".

Но философия имени, связывающая язык и науку, на протяжении всего этого периода остается господствующей. Ниже мы рассмотрим некоторые этапы этой парадигмы: Аристотель (384—322 до н.э.), Порфирий (ок. 233 — ок. 304), Петр Испанский (1210/20—1277), Оккам (ок. 1285—1349), Николай Кузанский (1401—1464) (отдельно остановимся на "философии имени" А.Ф. Лосева). Это даст нам возможность представить философию имени в некотором движении, хотя, как известно, большой подвижностью она не отличалась. Скорее, возникает впечатление, что неторопливо, на протяжении веков, углублялись одни и те же "вечные" вопросы и что, например, Аристотель был таким же живым собеседником для Порфирия, хотя между ними пролегло пять столетий, каким последний стал для Петра Испанского или Оккама тысячелетие спустя. Мы просто должны привыкнуть к иному темпу в философии имени, чем в философии языка нашего времени.

В философии имени все рассуждения пронизаны чувством единства бытия, и, пожалуй, этот дух в свою очередь создает ее собственное единство. От мельчайшей ячейки бытия философы имени протягивают нити к Единому, Единству, и, напротив, рассуждения о Едином и о мире неизбежно низводят их — по лестнице иерархии — к отдельной вещи и отдельному слову. Конечно, Единое, или бог Аристотеля либо Порфирия, не то, что бог схоластов-христиан, но "присутствие бога" объединяет их и отличает их воззрения от других философий языка.

Еще одна ее особенность — замкнутый, закрытый для непосвященных характер. Схоласты выработали особый способ рассуждения — особый "язык", можно было бы сказать, если бы не опасаться путаницы с этим словом, — во многом уже непонятный для нас, который нужно расшифровывать. Схоласты (а впрочем, и Аристотель), например, серьезно обсуждают различие — на современный взгляд очевидное и три-

виальное — между суждениями типа *Человек бежит* и *Человек состоит из семи букв*². Нам кажется, что достаточно было бы во втором случае писать слово *человек* в кавычках, чтобы избежать длинных рассуждений. Но все дело в том, что для древних и для схоластов слово — нечто единое и его буквы — такое же его качество, как и его смысл.

В парадигме философии имени мы подчеркнем три основные черты, делающие ее парадигмой, и главным образом эти черты мы и будем рассматривать дальше. Во-первых, понятие имени служит для нее исходной точкой. Во-вторых, философия имени является в равной мере, именно в силу того, что она есть философия имени, и философией сущности; и, быть может, поэтому над всеми понятиями, не всегда явно, доминирует понятие сущности. В-третьих, сущность, а значит, и соответствующая ей глубинная структура имени, а значит, в конечном счете и сама эта философия имеют иерархическое строение, понятия имени и сущности сопровождают понятие иерархии.

В соответствии с общей установкой этой книги (см. Предисловие) необходимо четко разграничить семиотический аспект понятия сущности, о котором и идет речь здесь и ниже, и исследование категории сущности как философской проблемы. Последнее приобрело четкие очертания в марксизме: диалектико-материалистическая категория сущности (как сущности самодвижения, развития явлений, их диалектической противоречивости) составляет сердцевину логики "Капитала" К. Маркса. Это понятие исследовано В.И. Лениным, в особенности в конспекте раздела "Науки логики" Гегеля "Учение о сущности". В другой работе В.И. Ленин дает основополагающий для решения этой проблемы вывод: "В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия *в самой сущности предметов...*" [Ленин, т. 29, с. 227]. Понятие сущности продолжает разрабатываться в марксизме [ср.: Садовский 1982]. Разумеется, понятие сущности в античной философии еще очень далеко от его диалектико-материалистической трактовки.

И, конечно, нужно иметь в виду, что здесь нет привычной нам пары "сущность — явление", что отсутствует, по крайней мере в средневековой философии имени, сама связь

²Рассматриваемые в качестве примеров слова и выражения даются в книге:

1) без кавычек, если они принадлежат какому-либо конкретному языку; русские в таком случае выделяются курсивом; 2) в кавычках, если они принадлежат любому языку, Языку вообще.

этих понятий, отражающих с точки зрения диалектического материализма универсальные взаимосвязанные характеристики предметного мира.

Вернемся теперь к семиотическому аспекту проблемы.

1. ПОНЯТИЯ ИМЕНИ И ИМЕНОВАНИЯ

Имя — это слово или, реже, сочетание слов, называющее, именуемое вещь или человека. Собственно, проблемой философии языка является не столько имя, сколько процесс и отношение, завершаемые именем, — именованье.

Имя противопоставляется словам других типов, другим частям речи. Только имя стоит в таком отношении к своему объекту, которое может быть названо отношением именованья. Глагол, и вообще предикат, конечно, стоит в определенном отношении к внеязыковой действительности, но не именуется ее; нельзя сказать, например, что предикат "— больше, чем —" есть "имя чего-то"; это отношение естественнее называть термином "выражает". То же самое относится к предлогам и в еще большей степени к союзам. Про союзы вообще нельзя сказать, что имеется какой-либо "объект" внеязыкового мира, к которому они стояли бы в каком бы то ни было отношении — именованья, выражения или указания, такого объекта нет. Междометия, разумеется, выражают эмоции человека, не именуя их (*ах!* выражает удивление, но не является "именем удивления"). "Имена прилагательных" — прилагательные и наречия — составляют особую проблему, но очевидно, что если они и именуется, то во всяком случае не так, как само имя [ср.: Войшвилло 1967; Уфимцева 1980].

Имя всегда представлялось людям загадочной сущностью, первоосновой еще более загадочного явления — языка. Маркс прав, говоря о положении имени в контексте науки: "Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом" [Маркс, Энгельс, т. 23, 110]. Тем не менее вне науки люди во все времена рассуждали как раз противоположным образом, полагая, что знание имени открывает путь к знанию сущности. Размышляя об имени *Яков*, они могли по крайней мере задаваться вопросом, в честь кого назван Яковом данный человек, и из самого имени легко установить связь с библейской традицией.

С точки зрения семиологии этот обыденный образ мышления понятен: исторически наименование вообще тесно связано с именованьем людей, а имя человеку никогда не дается

вне связи с семьей и общественной традицией. Таким образом, имя человека — по крайней мере эта разновидность имен несомненно — указывает на нечто более общее, чем данный индивид, — на семью, род и традицию, сущности вполне реальные и несравненно более протяженные во времени и пространстве, чем индивид. Пожалуй, наилучшим образом это подметил Монтескье: "Имена — а они внушают людям идею чего-то, чему не суждено погибнуть, — весьма подходят для того, чтобы возбудить в каждом роде или семье желание продлить свое существование; есть народы, у которых имена определяют роды или семьи; есть также народы, у которых имена различают лишь отдельных лиц, но это хуже" ("Дух законов", XXIII, IV). (И даже когда эта "семантика" личного именованья в именовании вообще не сохраняется, то ее "фактура", грамматика и проч., может сказываться на пути "от имени лица к имени вещи", такова, например, одна стержневая линия романской лексики [Степанов 1972].) Психологический опрос-анкета, проведенный среди современных взрослых москвичей, выявил следующие ассоциации — "образы имени": *Сергея* — среднего роста, сильный, спортивный, добрый, веселый, озорной, но не обязательно умный, вызывает симпатию; *Саша* — одно из самых популярных мужских имен, оно нравится большинству; у Саши темнорусые волосы (ассоциации имени с цветом волос отмечаются постоянно), светлые глаза, высокий рост, мужественный характер; он настолько симпатичен, что даже неважно, умный ли он; *Игорь* — темноволос, худошав, умен, красив, капризен и себялюбив, немужественный, плохой друг; но для старшего поколения Игорь другой: высокий, широкоплечий, светловолосый, добрый и мужественный [Черепанова 1984]. Но вернемся к лингвистической семантике.

Наилучшей минимальной схематизацией именованья является "семантический треугольник": 1) слово (имя) связано с 2) вещью, эта связь есть именованье, и с 3) понятием о вещи, эта связь есть выражение — выражение понятия словом. Далее под "вещью" мы понимаем равно и предмет и человека, вообще индивид, т.е. более формально, нечто, что в данной системе рассуждений не является множеством или признаком множества. (Тогда, конечно, возникает новая проблема — "понятие о данном индивиде", "индивидуальное понятие", "индивидуальный концепт", но мы пока оставляем ее в стороне. Кое-что о ней будет сказано в разделе о "философии имени" А.Ф. Лосева в этой главе и гораздо больше в гл. VI.)

Семантический треугольник — наилучшая схема потому,

что он выражает предельно возможную минимизацию отношений именованя, это схематизация минимальная, необходимая и достаточная. Неоднократно ее упрекали в неполноте, неохвате всех возможных отношений, предлагали дополнить ее до "квадрата", "трапеции", "многогранника" и т.д. — во всех этих предложениях сквозит непонимание того, что необходима и достаточна именно минимальная схема, тогда как максимальным — нет числа. Лучшая неминимальная схема, созданная К.И. Льюисом, изложена в гл. VI, 2.

Итак, имя именуется вещь и одновременно выражает понятие о вещи. Но является ли имя тем самым "именем понятия"? Различение именованя в собственном смысле слова и выражения (к чему пришла новейшая философия языка, например Рассел) тем не менее в истории не всегда признавалось. Очень часто под именованем понималось отношение имени к понятию предмета, неважно, называли ли его при этом идеей, эйдосом, сущностью вещи или как-нибудь иначе.

Для такого широкого понимания именованя есть основания, и, может быть, даже сущность именованя заключена как раз в этом двойном отношении к вещи и к понятию о ней. Первые философские размышления над именем шли как раз в этом направлении. Такова философия имени у Платона, как мы увидим в следующем разделе.

Сущность именованя ближе всего к указанию. Собственно, именоване можно определить как указание со снятой наглядностью, т.е. не осуществимое указательным жестом, но зато закрепленное системой языка раз и навсегда (иначе имя не отличалось бы от предложения). Следовательно, в этом смысле собственные (индивидуальные) имена являются именами по преимуществу. Что касается общих (нарицательных) имен — "город", "человек", "книга" и т.д., то они удаляются от указания (причем, возможно, в разной степени, соответственно разным типам общих имен) и, следовательно, от именованя.

Эта тонкая деталь была осознана в средневековой схоластике и выражена в тезисе: *Nominantur singularia sed universalia significantur* — "Именуется единичное, а общее означивается". Таким образом назначение общих имен было отделено от назначения индивидуальных и названо, в отличие от именованя в собственном смысле, означиванием, сигнификацией. Этот же тезис можно выразить иначе: можно назвать "это, данное, указываемое дерево", хотя бы соединив два слова — *это дерево*, но нельзя назвать "дерево вообще", "всякое дерево", имея в виду под словом "всякое"

не разделительный смысл ("всякое данное"), а собирательный ("всякое вообще"); или же, говоря, что словом *дерево* мы именуем "дерево вообще", мы имеем в виду не вещь, ибо такой "вещи" нет, а понятие о ней и именуем его; это последнее отношение и было названо в схоластике термином "сигнификация". Наконец, то же самое можно выразить еще иначе: собственные (индивидуальные) имена именуют вещи (и как следствие этого могут именовать понятия, концепты); в то время как общие имена именуют понятия, концепты и как следствие этого способны именовать вещи.

Отмеченная черта общих имен обнаруживается в их структуре в виде явления функции. "Функция", заключенная в семантической структуре общих имен, есть по существу способ, каким мы, зная смысл имени, должны отыскать (выбрать, отличить) в действительности некоторый предмет, соответствующий этому смыслу. Зная, например, смысл слова *дерево*, мы можем применить (приложить) это слово к любому дереву, наблюдаемому в действительности. (Класс деревьев образует "денотат", или "экстенционал", имени, в некоторых концепциях называемый также "значением".)

Это свойство имен, прежде всего общих имен, было обобщено в математической логике, начиная с Г. Фреге, как понятие функции. А. Черч выражает это так: "Если имя имеет денотат, то этот денотат есть функция смысла имени, то есть если дан смысл, то этим определяется существование и единственность денотата, хотя он и не обязательно должен быть известен каждому знающему смысл" [Черч 1960, 20]. "Денотат имени $N = f$ (смысл имени N) для всех имеющих денотат имен N " [там же, с. 27; ср.: Новиков 1982, 27—31]. Эта функция может быть выделена и абстрагирована как λ -оператор (лямбда-оператор) (см. также гл. VI, 3).

Слова "существование денотата" в данном контексте необходимо исключить, существование не вытекает из понимания общего имени как функции, и существование — совсем особый вопрос (Черч в этом отношении следует точке зрения Рассела, но в настоящее время есть и альтернативные ей [см.: Целищев 1976]).

Понимание имени как функции отражает, хотя и в предельно абстрактной форме, самую суть именования. В самом деле, легко увидеть теперь непрерывную линию филиации понятий: понятие именования у Платона — сигнификации у схоластов — общего имени как функции у Фреге и Черча. Можно добавить в конце этого ряда и возникшее в самые последние годы понимание собственного, индивидуального имени как функции — "индивидуализирующей функции", например у

Я. Хинтикки. Я думаю, что обобщенное понятие функции в математике в конечном счете опирается на устройство общих имен естественного языка и, может быть, даже происходит от них (мы вернемся к этому вопросу в гл. VI). Более полно сущность именованного мы сможем уяснить по этой линии, но не формально, после изложения "философии имени" А.Ф. Лосева.

В других отношениях общие имена до сих пор составляют нерешенную проблему, равно психологическую и логическую, — "Как возможны общие имена?" Впрочем, с некоторой переменной слагаемых тот же вопрос относится и к собственным именам: является, таким образом, вообще проблемой — "Как возможно имя?"

Современные исследования, даже весьма тонкие, оставляют его по существу без ответа [см.: Горский 1961; Уемов 1963; Яновская 1972, 235; Серебренников 1977]. Или же, в лучшем случае, рассматривают, каким образом общее понятие и имя извлекаются путем повторения человеческого опыта из единичных восприятий и их именованностей. Исключение составляет концепция А.Ф. Лосева, который основывается на диалектике Гегеля и некоторых положениях Э. Гуссерля.

Именно Гуссерль, в рамках феноменологии начала XX в. (во втором из "Логических изысканий" 2-го тома), высказал существенное возражение против такой точки зрения. Критикуя теории абстракции Локка, Беркли и Юма, он справедливо указывал, что "подобие" индивидуальных предметов, на основе которого якобы создается общее понятие, не в состоянии объяснить само подобие, ибо выделение общего признака подобия предполагает подобие признака, подобие подобия признака и т.д. до бесконечности. "Различие между созерцанием красноты вот этого предмета и созерцанием какого-либо отношения подобия совершенно очевидно" [Husserl 1922, II, 196]. По Гуссерлю, необходимо различать акт узрения отвлеченных черт предмета и акт узрения рода как единой идеи. Когда мыслят, по терминологии Гуссерля "мнят" (*vermeinen*), несамостоятельные признаки (черты, содержания, моменты) какого-либо предмета, то тем самым лишь подчеркивают или выделяют индивидуальные признаки предмета. Настоящим же актом абстракции является только такой акт, которым человек "мнит" непосредственно само общее (общее понятие, общую идею, идеальное единство, род). При этом «не одно и то же, будет ли под такой абстракцией разуметься тот акт, который только связывает непосредственно общее имя с родовым единством и в котором общее имя является только предметом сигнификативной, т.е. обоз-

начительной, интенции, т.е., так сказать, „замышляется”, или же тот же акт, в котором общее не только сигнификативно „задумано”, но и осуществлено, т.е. „дано”, „присутствует” с очевидностью. Лишь этот последний акт абстракции, представляющий собой идеирующую или генерализующую абстракцию, является характерной чертой логического мышления» [Яковенко 1913, 120]. Нам кажется, вышесказанное феноменологически освещает понятие сигнификации. К сожалению, в новейших работах об абстракции и именовании феноменологические соображения Гуссерля, а также А.Ф. Лосева и др. не только не учитываются, но и не критикуются и даже не упоминаются.

Однако в современной психологии находится хорошая параллель такому пониманию сигнификации имени. У. Найссер в специальной главе „Конкретные референты” в книге „Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии” [1981] так рассуждает о первоначальном приобретении имен в языке ребенка. Во многих случаях мать не только воспринимает то же самое, что и ребенок, но еще и произносит соответствующее слово, например *собачка*. «Как же должен распорядиться ребенок предлагаемой ему таким образом информацией? В такой момент счастливый малыш реализует одновременно два перцептивных цикла. Он собирает информацию о матери (она говорит) и о собаке (она только что вошла в комнату). Можно предположить, что в данное время его больше интересует собака. Новая информация является акустической, а это значит, что она может быть без большого труда включена в каждый из двух начавшихся перцептивных циклов. Разве не является в таком случае вполне естественным, что ребенок относится к звуку как к своеобразному атрибуту собаки? Разумеется, это не стабильный атрибут: никто не произносит „собачка” с механической неизменностью часового механизма всякий раз, когда появляется это животное. Но в этом нет ничего необычного, поскольку большинство атрибутов предметов доступны для обозрения лишь спорадически. Хвост собаки нельзя видеть все время, ни одна собака не лает непрерывно, тем не менее дискретность этой информации не мешает нам считать как то, так и другое неотъемлемой принадлежностью животного. Именно таким образом имена объектов, то есть те слова, которые чаще всего используются для их обозначения, включаются в состав предвосхищающих схем, посредством которых воспринимаются сами объекты» [там же, с. 177]. У. Найссер добавляет, что предлагаемая им гипотеза не нова и в литературе уже отмечалось, что дети обращаются с названиями предметов так, как если

бы они были неотъемлемыми свойствами этих предметов, и ссылается в этой связи на работы Л.С. Выготского.

С логической стороны сигнификация была по-новому освещена К.И. Льюисом [1983]. Он, в частности, показал, что предложение (пропозиция) не именует положение дел, а сигнифицирует его. Тем самым Льюис присоединился к указанной выше схоластической (не номиналистической) традиции. Мы продолжим обсуждение именованья при изложении его идей (гл. VI, 2). К настоящему времени термин "сигнификация" занял прочное место и стал совершенно необходимым.

В развитых языках, как естественных, так и искусственных, в имя может быть превращено — путем особой трансформации, так называемой номинализации — выражение любого типа: глагол — например, *бежать* → *бег*; любой предикат вообще — например, "— больше, чем —" трансформируется в "тот факт, что больше, чем —"; в имя трансформируется особая разновидность предикатов естественного языка, предикатив, например: рус. *В комнате холодно* → *В комнате холод*; прилагательные *красный*—*краснота*, *сверхпроводимый* → *сверхпроводимость*; целое предложение: *Я опаздываю* → *Тот факт, что я опаздываю...* или *То, что я опаздываю...* В этом смысле предложение иногда рассматривается как "имя факта или события".

На этом пути трансформаций могут возникать имена 2, 3, 4-го и т.д. порядка, например: рус. *здоровый*¹ → *здоровье*² → *оздаравливать*³ → *оздаравливаемый*⁴ → *оздаравливаемость*⁵, где *оздаравливаемость* может рассматриваться как "имя 5-го порядка" (т.е. результат пятикратной языковой трансформации). Однако имена в собственном смысле слова не являются результатом никаких трансформаций, они именуют вещи прямо и непосредственно, они — "первичные", или "базовые", имена. Ниже рассматриваются только они, и, собственно, они-то и составляют проблему.

Является фактом — в известном смысле загадочным — естественных языков то, что первичные имена, даже когда они именуют объекты с явно выраженной в объективном мире функцией действия, признака, состояния, в языке никогда не отражаются в виде глагольной или предикатной функции, никогда не являются производными ни от глагола, ни от предиката, ни от "имени признака" — они действительно первичны. Имя руки не бывает производным от названия действия "хватать", "брать" или "подбирать" (хотя слав. *рука* и лит. *ranka* стоят в явной связи с названием действия "собирать", лит. *rinkti*, но этот глагол не источник имени, перед нами две равно первичные и параллельные формы одного корня);

имя глаза не бывает производным от глаголов "видеть" или "смотреть", имя носа — от глаголов "нюхать" или "обонять", имя уха — от глаголов "слышать" или "слушать" и т.д. (здесь и далее кавычки, в которые заключены слова-примеры, означают, что мы рассуждаем не о словах русского или иного одного какого-либо языка, а о значениях, выраженных в данном случае словами русского языка, но имеющихся в любом естественном языке в формах его собственных слов). И также соответствующие глаголы, хотя бы, к примеру, названные выше, никогда не обозначаются производными от имен — это столь же "первичные" глаголы.

Напротив, в искусственных языках, даже в воровском аргю, это происходит сплошь и рядом: в русском аргю *ноги* — *подставки*, *подставочки*; *глаза* — *гляделки*; *теплушка* — это изба, где можно *обогреться*, где *тепло*; *печка* — место, где можно *погореть*; *пожар* — результат того, что уже *погорели*, т.е. арест, и т.п. И эти черты универсальны, они присущи любому аргю — русскому, английскому, французскому [см.: Лихачев 1935]. Это, следовательно, черты платоновского совершенного языка, в котором сущность прямо соотносится с именем (см. гл. I, 2). То же самое имеет место и в более искусственной части естественного языка, т.е. в сфере производных слов, благодаря тому, что смысл слова (или выражения) складывается из смыслов компонентов, по крайней мере в основной, базовой части: *наладчик* 'мужчина, который налаживает (механизмы)', *сверхпроводимость* 'свойство проводить нечто (электричество) сверх меры' и т.п. Еще нагляднее в языке науки: *глаз* там — *орган зрения*, *нос* — *орган обоняния*, *рука* — *верхняя конечность* и т.п. (Положение производного слова в естественном языке, проливающее свет на некоторые проблемы и формализованных языков, охарактеризовано в книге: [Кубрякова 1981, 5—21].)

Но, повторим, в базовой части естественного языка все обстоит иначе — так, как если бы смыслы слов связывались с их формой чисто условно и как если бы естественный язык соответствовал нашей модели "Язык-1", с двумя классами слов (см. гл. VII, 1).

Это обстоятельство (в числе многих подобных) привело к возникновению проблемы в форме следующего вопроса: имеется ли какая-либо действительно естественная, внеязыковая, онтологическая причина к тому, чтобы одни какие-то явления объективного мира всегда, в любом естественном языке назывались как вещи, т.е. именами, а какие-то другие явления всегда — как глаголы, признаки, предикаты, т.е. не именовались бы, а "выражались" иным способом?

Еще не так давно — но, правда, это была эпоха расцвета враждебной к философии имени "лингвистической философии", философии предиката — наметился полностью отрицательный ответ на этот вопрос. Э. Бенвенист, лингвист, в известной статье "Именное предложение" (1950) писал: «Противопоставление „процесса“ и „объекта“ не может иметь в лингвистике ни универсальной силы, ни единого критерия, ни даже ясного смысла. Дело в том, что такие понятия, как процесс или объект, не воспроизводят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения действительности, а это выражение не может не быть своеобразным в каждом языке. Это не свойства, внутренне присущие природе, которые остается лишь регистрировать, это категории, возникшие в некоторых языках и спроецированные на природу. Различие между процессом и объектом обязательно только для того, кто рассуждает, исходя из классификаций своего родного языка, которые он превращает в универсальные явления; но даже такой человек, если его спросить, на чем основано это различие, вынужден будет скоро признать, что если „лошадь“ — это объект, а „бежать“ — процесс, то это потому, что первое — имя, а второе — глагол» [Бенвенист 1974, 168]. (Отдельные — но именно отдельные — примеры привести нетрудно: скажем, русскому восклицанию *Дождь!*, где происходящее обозначено как объект, в английском и французском языках соответствуют известные глагольные обозначения процесса.)

В сущности, в утверждении Бенвениста нет чего-то радикально нового. Эта мысль начиная с определенного времени, соответствующего упадку философии имени и утверждению философии предиката, постоянно возникала у философов языка. Так, в России уже Г.Г. Шпет писал: «Под „вещью“ (ens) мы разумеем, с точки зрения языка, все, что может быть названо» [Шпет 1927, 94].

В контексте современной логики У.О. Куайн утверждает: "...любая теория по существу признает те, и только те объекты, к которым должны иметь возможность относиться связанные переменные, для того, чтобы утверждения теории были истинными" [Quine 1953, 13]; "быть — значит быть значением квантифицированной переменной" [там же]. (В специальном смысле тезис Куайна направлен против квантификации интенциональных контекстов, и в частности против понятия "индивидуальные концепты" [см. гл. VI, а также: Семантика модальных и интенциональных логик 1981, 252].)

Рассел привел, как ему казалось, окончательный довод в пользу той же мысли (независимо, конечно, от названных

авторов), указав, что понятие "субстанция" является производным от понятия подлежащего предложения, а понятие "отношение" — от предиката предложения (подробнее см. гл. III, 2 и гл. IV, 3).

Никто не будет отрицать, что имеется определенная связь, или корреляция, между субстанцией (вещью) и субъектом (подлежащим), между отношением и предикатом. Но все это не снимает вопроса о том, имеется ли какое-либо внеязыковое, объективное, онтологическое различие между теми явлениями, которые тяготеют к тому, чтобы в любом языке всегда выражаться естественно и преимущественно предикатами, и другими явлениями, которые столь же естественно тяготеют к тому, чтобы всегда, естественно и преимущественно выражаться "вхождениями в предикат", именами. И почему тогда не считать, в противоположность Расселу, Куайну и Бенвенисту, что не "вещь" является проекцией субъекта предложения, а, напротив, субъект предложения является объективным отражением вещи? Проблема именования предстает сегодня в конечном счете снова как проблема различения "вещей", "качеств (свойств)", "отношений".

В этой связи нужно упомянуть известные опыты исследования этих различий А.И. Уемовым. Отметив общепринятое различие "смысла" и "денотата, референции" (например, выражения "Вальтер Скотт" и «Автор „Веверлея»» имеют один денотат, но разные смыслы), Уемов пишет: «Мы не претендуем на опровержение общепринятой точки зрения. Но все же хотелось бы, хотя бы для того, чтобы читатель лучше понял суть проблемы, посеять некоторое сомнение... Считается, что слова „Вальтер Скотт" и «Автор „Веверлея»» обозначают один и тот же предмет... Но зададим такой вопрос: один и тот же предмет — Вальтер Скотт и голова Вальтера Скотта? Несмотря на то, что Вальтера Скотта мы не мыслим без головы, все же большинство скажет, что это, несомненно, различные предметы. Один из этих предметов часть другого. Имея всего Вальтера Скотта, мы имеем и его голову, но не наоборот. Здесь речь идет об отношении в пространстве, то есть об отношении тел. Но если иметь в виду Вальтера Скотта как систему всех тех качеств, которые его образуют, то к ним будет относиться как их часть и тот набор свойств, который мы называем «автором „Веверлея»». Имея Вальтера Скотта во всей цельности его качеств, мы имеем и автора „Веверлея". Но не наоборот. Вряд ли имело бы смысл называть новорожденного автором „Веверлея", разве что только будущим. Но каждый знает, что быть будущим, например, доктором — это совсем не то, что быть настоящим... Поэтому не является ли требование

обязательного различия смысла и значения выражений, восходящее к Фреге, результатом недоразумения, связанного со слишком узким пониманием вещи, отождествляющим ее с неким объемом, занимаемым в пространстве, то есть с телом?» [Уемов 1975, 457—459].

А.И. Уемов прав, связывая различие "смысла" и "значения" (денотата, референции) с "узким пониманием вещи". На наш взгляд, однако, все дело в том, что это узкое понимание и есть самое лучшее (наиболее верное из всех известных).

Еще раз язык помогает пролить свет на трудную проблему. Понятие "вещь", как об этом свидетельствует язык, — не только понятие системы именованного, существующее в лексиконе, в "номенклатуре" явлений, это еще и понятие, связанное с субъектом предложений. Но в отличие от Рассела я не ограничиваюсь этой чисто языковой (и, следовательно, чисто относительной) характеристикой, а связываю ее с дальнейшей. Субъект, т.е. имя вещи, естественнее всего мыслится в терминах пространства, протяженности, тогда как предикат — в терминах длительности. Вот эти различия я склонен считать первичными. Они соответствуют и двум основным типам восприятия внеязыковой действительности — пространственному и временному. И наконец, последние находятся в причинной связи с двумя фундаментальными свойствами самой материи — пространством и временем (разумеется, также и с двумя типами координат, как физических, так и лингвистических: тремя координатами пространства и одной координатой времени).

Психологические наблюдения, например У. Найссера, хорошо совмещаются с этой идеей: "Звуки информируют нас о происходящих событиях. В то время как зрение и осязание позволяют нам обследовать стационарную среду, слух сообщает нам только о движении и изменении" [Найссер 1981, 166].

Как бы то ни было, отличное от понятий предиката и отношения, понятие имени как имени вещи и именованного как отношения имени к вещи, к субстанции и к ее "сущности" (понятию, идее) — необходимое понятие при освещении философских проблем, связанных с языком, в их истории. Это понятие возникло и всесторонне оформилось в философии имени, и, только осознав его в контексте этой парадигмы, можно понять, почему враждебная к ней следующая парадигма, "философия предиката", отбросила понятие имени и понятие сущности, а вместе с ними и понятие о самой вещи и начала переписывать историю этих проблем, прежде всего категории Сущность, со своей точки зрения — прежде всего под углом зрения категории Отношение. Этот пересмотр был начат Кантом и последовательно проведен Расселом (см. гл. IV, 3).

Но мы в следующем разделе описываем эту парадигму, "философию имени", с ее собственных позиций.

Формализованное логически (как терм в составе предиката и как функция), но все еще не определенное по существу, имя по-прежнему мерцает загадочным светом перед исследователями языка.

2. "ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ" В АНТИЧНОСТИ. ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ

Как уже было отмечено выше, для этой философии характерны две основные черты: 1) взгляд на учение об имени как на учение о сущности, 2) иерархия.

В философии языка Платона предполагается, что имя связано с сущностью вещи, ее идеей — "эйдосом" (εἶδος) и в силу этого имя, будучи всегда чем-то общим, способно именовать отдельные проявления сущности — отдельные вещи, "соименные" с данной сущностью.

Прекрасно резюмированы эти взгляды Платона Аристотелем в "Метафизике" (I, б): "...Платон, усвоив взгляд Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому, ибо, считал он, нельзя дать общего определения чего-либо из чувственно воспринимаемого, поскольку оно постоянно изменяется. И вот это другое из сущего он назвал идеями, а все чувственно воспринимаемое, говорил он, существует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо через причастность к эйдосам существует все множество одноименных с ними вещей" [Аристотель 1976, 79].

Эта платоновская философия выражена в диалоге "Кратил": Сократ. ... Ясно, что сами вещи имеют некую собственную устойчивую сущность, безотносительно к нам и независимо от нас... И давать имена нужно так, как в соответствии с природой следует давать и получать имена, и с помощью того, что для этого природою предназначено" (386e—387d). Ясно, что в контексте этого рассуждения Сократа—Платона "в соответствии с природой" значит "в соответствии с сущностью вещи". Платон прекрасно понимает, что слова разных языков — греческого или варварских (эллины называли "варварскими" все языки, кроме своего собственного) все равно будут "даны правильно", несмотря на различные звуки, если они правильно относятся к сущности вещи (390a).

Язык, который в своих словах имеет именно такое отношение к сущностям вещей, тем самым, по выражению Платона, "подражает" вещам (Платон использует термин μιμήσις 'подражание'). И такой язык является "полностью правильным"

или, лучше сказать, был бы таковым, если бы был вполне возможен (после "Кратила" Платон все более скептически смотрел на эту возможность). "Гермоген. ... Однако, Сократ, какое подражание было бы именем? Со к р а т. Ну, прежде всего, мне кажется, не такое, какое бывает тогда, когда мы подражаем вещам музыкой, хотя и тогда мы подражаем с помощью голоса; далее, и не такое, какое бывает, когда мы подражаем тому же в вещах, чему подражает музыка, — мне не кажется, что тогда мы даем имя. А утверждаю я вот что: ведь у каждой вещи есть звучание, очертания, а у многих и цвет?.. Искусство наименования, видимо, связано не с таким подражанием, когда кто-то подражает этим свойствам вещей. Это дело, с одной стороны, музыки, а с другой — живописи... А подражание, о котором мы говорим, что собой представляет? Не кажется ли тебе, что у каждой вещи есть еще и сущность (οὐσία) — как цвет, и все то, о чем мы здесь говорили?.. Так что же? Если кто-то мог бы посредством букв и слогов подражать в каждой вещи именно этому, сущности, разве не мог бы он выразить каждую вещь, которая существует? Или это не так? Гермоген. Разумеется, так" (423d, e) [Платон 1968, 418, 468].

К концу жизни, в седьмом письме, Платон, не оставляя совсем своих взглядов кратилового периода, все же стал с большим сомнением смотреть на возможность создания когда-либо и кем-либо такого "правильного" языка с совершенным отношением имени и сущности [см.: Перельмутер 1980, 145]. Однако можно сказать, что скептицизм Платона оправдан — и то лишь в известной мере — только по отношению к первичным, т.е. производным, именам (см. гл. I, 1). Что касается имен производных, а также предложений, производимых, как и имена, по семантическим и синтаксическим правилам языка, то разве эти имена и предложения не реализуют платоновскую мечту о "совершенном" языке? И разве формализованный язык логики, в котором "концепт имени" (идея!) определяет и имя, указывая способ именования предмета, и тем самым сам предмет (денотат), а предложение рассматривается как особая разновидность имени, не является в еще большей степени по-платоновски "совершенным" языком?

Именно в таком виде платоновская идея совершенного языка получила развитие в средневековой схоластике, в "Великом искусстве" (Ars magna) Раймунда Луллия (ок. 1235—ок. 1315). В свою очередь, идеи Луллия были продолжены Лейбницем. Недавно было показано их своеобразное развитие в России в трудах А.Х. Белобоцкого во второй половине XVII в. [Вомперский 1979] (см. также гл. II, 1).

Иерархия у Платона подробно исследована А.Ф. Лосевым. "Платонизм, — пишет Лосев, — есть всегда иерархия, и притом идущая сверху вниз; есть диалектика, идущая сверху вниз, от Единого, через Ум и Душу, к Космосу. Тут полная противоположность Гегелю, у которого диалектика есть эволюционное развитие по прямой линии, через все большее и большее обогащение" [Лосев 1930, 653]. В дальнейшем Лосев показал это в комментариях к последнему русскому переводу Платона [Платон 1968—1972 (об иерархии см. комментарий к т. 1)].

У Аристотеля нет развернутой концепции языка, но соответствующие идеи развиваются у него в плане учения о сущности и других категориях. Термин "сущность" (οὐσία, от глагола 'быть, существовать') на протяжении разных текстов Стагирита употребляется в вариативных значениях. Как указывает автор "Словаря Аристотеля" (Index Aristotelicus, 1870), Г. Бонитц, большое разнообразие значений этого слова у Аристотеля проистекает не только из того, что он обозначает им соответствующие понятия в системах разных других философов в своем изложении, но «главным образом из того, что, по его собственному мнению, философия вообще состоит в исследовании сущностей, а поэтому не следует связывать это понятие с каким-либо одним родом вещей, исключая все остальные; напротив, по его мнению, следует некоторым различным образом приписывать ранг (dignitatem) сущности различным родам вещей; полностью обследовать использование Аристотелем термина „сущность” значило бы изложить всю философию Аристотеля» [Bonitz 1955, 544a, 5—51].

Однако не прекращается дискуссия о том, можно ли свести эти разные значения к некоторому общему значению, инварианту [см., например: Lalande 1972, 1049]. В.Ф. Асмус [1976, 353] и др., в частности А.И. Юрченко (в ряде докладов и устных сообщений), обосновали мнение, что существует разрыв между пониманием "сущности" в "Категориях" и в "Метафизике", восходящий к двум разным античным традициям, предшествующим Аристотелю, и в свою очередь давший начало двум разным течениям в средневековой философии. О последних мы скажем ниже, а здесь будем говорить об этом термине в том его виде, как он дан в "Категориях".

В "Категориях" Аристотель разделяет сущности на "первые, или первичные, сущности" (οὐσία πρῶτη) и "вторые, или вторичные, сущности" (οὐσία δευτέρα). Первые сущности — это индивиды, индивидные существа или объекты, как, например, отдельный человек, отдельная лошадь; первая сущность "не сказывается ни о каком подлежащем и не находится ни в

каком подлежащем" (Катег., V, 2a) [Аристотель 1939, 7; далее цитируем по этому изданию]. Очевидно, что здесь термин "подлежащее" берется с современной точки зрения в двух разных значениях: в утверждении "не сказывается ни о каком подлежащем" в значении "субъект высказывания"; в утверждении "не находится ни в каком подлежащем" в значении "субстрат". Если же принять во внимание, что Аристотель здесь не разделяет грамматическое подлежащее и субъект предложения в логическом смысле, то присутствует и это третье современное значение. Очевидно, что для Аристотеля два первых современных значения термина "подлежащее" (ὑποκειμενον) — одно. Возникает сложный вопрос о том, как из этих аристотелевских терминов путем сложных опосредований в философии языка вышли различные современные термины; ниже мы остановимся на нем особо.

Вторые сущности — это роды и виды; "вторичными сущностями называются те, в которых, как видах, заключаются сущности, называемые [так] в первую очередь, как эти виды, так и обнимающие их роды; так, например, определенный человек заключается, как в виде, в человеке, а родом для [этого] вида является живое существо" (Катег., V, 2a). Вторые сущности также могут быть подлежащим, в виде общих терминов "человек", "лошадь". Вторые сущности последовательным включением, подобно тому как "данный человек" или "данная лошадь" подводятся под вид "человек", "лошадь", включаются наконец в наивысший род "Сущность". Он есть категория Сущность.

Сущность существует сама по себе (καθ'αυτό, per se), не требует для своего существования никакой опоры в чем-либо другом. "Общей чертой для всякой сущности является — не быть в подлежащем" (Катег., V, 3a). "Подлежащее" в этом утверждении берется опять-таки в обоих современных смыслах — как "субстрат" и как грамматическое и логическое подлежащее. Причем Аристотель говорит здесь о "всякой сущности", значит, о первой и о второй одинаково. Отсюда следует, что и первые сущности (индивиды), и вторые сущности (виды и роды), по Аристотелю, равно существуют объективно, онтологически. Это не значит, что они существуют одинаково. Напротив, первые сущности обладают бытием в наивысшей степени: "...если бы не существовало первых сущностей, не могло бы существовать ничего другого" (там же, 2b, 6). Вторые сущности обладают бытием в меньшей степени, но тем больше, чем ближе они к первым сущностям: "Из вторых сущностей вид в большей мере сущность, чем род: он ближе к первой сущности" (там же, 7). Здесь, следовательно, возникает идея градаций

бытия — и е р а р х и б ы т и я, — детально разработанная в схоластике, в частности у Дунса Скота [см.: Джохадзе, Стяжкин 1981, 44]. У самого Аристотеля, подчеркнем это еще раз, все эти идеи выражены наиболее полно именно в "Категориях".

В той мере, в какой они принимаются (явно или неявно) или во всяком случае адекватно интерпретируются, можно говорить об одной линии, которую мы будем именовать "концептуализмом" (условно, поскольку в собственном смысле так называется только особое течение в средневековой философии; но традиция восходит к глубокой древности, воплощается в "Категориях" Аристотеля и продолжается в измененной форме после "концептуализма в собственном смысле", т.е. концептуализма средних веков, в философии и логике нового времени и наших дней). Среди представителей этой линии: глава школы перипатетиков Андроник Родосский (I в. до н.э.), Плотин (III в. н.э., "Enneades", VI, 1), Порфирий (III в., «Введение к „Категориям“»), Боэций (V—VI вв.), Иоанн Дамаскин (VIII в., "Диалектика"), Фома Аквинский (XIII в., "Summa theologiae"), Петр Испанский (XIII в., "Summulae logicales"), Николай Кузанский (XV в.), Р. Декарт (XVII в.), А.Х. Белобоцкий (XVII в.), Ф.-Х. Баумейстер ("Метафизика", 1764), Я.П. Козельский ("Философские предложения", 1768), Е.А. Бобров ("Психологические воззрения древних греческих философов", 1910), У.Д. Росс ("Aristotle", 1923), А.Ф. Лосев ("Философия имени", 1927), Е.К. Войшвилло ("Понятие", 1967), А.Н. Чанышев ("Курс лекций по древней философии", 1981). Эта линия, на наш взгляд, наиболее адекватна учению Аристотеля о категориях, сущностях и иерархии бытия, как оно изложено в "Категориях".

Для перевода термина "усия — сущность" в аспекте "Категорий" общепринятым является лат. substantia, рус. *сущность*. Однако по ясно ощутимой внутренней форме и по происхождению лат. sub-stant-ia (букв. 'под-стоящее, стоящее под') соответствует другому греческому слову — ύπο-στάσις и русскому (из греч.) *ипостась*. Философы Рима, как, по-видимому, следует из некоторых текстов Сенеки и Квинтилиана, уже осознавали это греческое слово как эквивалент "усия". Но его философское терминологическое употребление точно засвидетельствовано только в "Послании к Евреям" (1, 3) апостола Павла, где Сын божий назван образом ипостаси Бога-отца. Термин утвердился в языке философии Плотина (ок. 204—269/70) и христианских писателей той поры в учении о Троице в значении "одно из лиц св. Троицы". В "Диалектике" Иоанна Дамаскина (ок. 675—ок. 750), терминология которого оказала большое влияние на терминологию русской религиозной фило-

софии, сказано: "Имя ипостась имеет двойное значение. Иногда означает простое бытие; в этом смысле все равно, что сущность и ипостась. Поэтому некоторые Св. Отцы (отцы церкви. — Ю.С.) говорили природа или ипостась. Иногда означает ту сущность, которая существует сама по себе и отдельно: в сем смысле означает неделимое (индивид. — Ю.С.) то, которое различается числом, так Петр, Павел и некоторая известная лошадь... Посему неделимое получает имя ипостаси, в которой сущность пребывает действительно с случайными (признаками. — Ю.С.)" [Иоанн Дамаскин 1862, 65]. В применении к учению о св. Троице, видимо в силу того, что в латинском языке этот термин совпадал с термином "субстанция", западная католическая церковь заменила его термином *persona*, в то время как восточная церковь сохранила греческое слово "ипостась". Схоласты употребляют последнее в латинизированной форме *hypostasis* в значении "человек, индивид, лицо", в особенности "моральный субъект" [Lalande 1972, 427].

В т о р а я л и н и я в учении о сущности намечена, как это ни странно, также у самого Аристотеля, прежде всего в "Метафизике". Здесь он в одном месте резюмирует так: "Итак, получается, что о сущности говорится в двух [основных] значениях: в смысле последнего субстрата, который уже не сказывается ни о чем другом, и в смысле того, что, будучи определенным нечто, может быть отделено [от материи только мысленно], а таковы образ, или форма, каждой вещи" (Мет., V, 8, 23—26) [Аристотель 1976, 157]. В латинском переводе В. Мёрбеке (Moerbeke) XIII в., которым пользовались многие знаменитые схоласты, это место выглядит так: "Accidit itaque secundum duos modos substantiam dici: subiectum ultimum, quod non adhuc de alio dicitur: et quodcumque hoc aliquid ens, et separabile fuerit. Tale verum uniuscuiusque forma et species" [цит. по изд.: *Metafisica de Aristoteles* 1982, 249].

В другом месте того же сочинения Аристотель говорит: "Формой я называю суть бытия каждой вещи и ее первую сущность" (Мет., VII, 7, 33). Таким образом, здесь "первая сущность" нечто совсем другое, чем в "Категориях". И это иное понимание близко к тому, что Аристотель говорит в своей "Физике": "материя близка к сущности и в некотором смысле есть сущность" (Физ., I, 9, 6 [Аристотель 1981, 80]). Применительно к каждой отдельной вещи, в реальных вещах, сущность в этом смысле есть непосредственное единство материи и формы, сущность = материя + форма. В этом значении понятие "сущность" в латинском языке передается термином *essentia*.

В этой линии идей, начиная уже с самой "Метафизики" и

далее, вплоть до наших дней, появляются выражения, явно невозможные в первой линии. Важнейшие среди них такие: "суть бытия данной вещи" — греч. τὸ τί ἦν εἶναι, буквальный латинский перевод — *quod quid erat esse*; "суть данной вещи" — уже названное латинское *essentia*, кроме того, *quidditas*; и даже "сущность субстанции".

Термин *essentia* в начале этой традиции редок, он встречается у Цицерона и Сенеки, затем исчезает, появляется снова, и Августину (354—430) он кажется еще необычным. Августин часто отождествляет понятия "субстанция" (*substantia*) и "сущность" (*essentia*) и их оба с понятием "природа" (*natura*), при этом он считает, что, хотя все эти термины выражают одно и то же, *natura* — самый древний, *substantia* — более новый, а *essentia* — совсем новое слово [Майоров 1979, 414]. И. Дунс Скот (ок. 1266—1308) употребляет в значении *essentia* идущий от Ибн Сины (Авиценны) термин *natura communis* 'общая природа'. Греческий термин τὸ τί ἦν εἶναι как ответ на вопрос "Чем является?" (*Quid sit*) был передан на латинский язык (первоначально при переводе трудов Ибн Сины) как *quidditas*, чему в русской терминологии соответствует "чтойность" (от вопроса "Что есть?"). Термином *quidditas* широко пользуется Ч. Пирс в XIX—нач. XX в. в своих логических и семиотических трактатах. Термин *essentia* приобрел большое распространение с середины XIX в. в связи с развитием философии экзистенциализма как противопоставление термину *existentia* — "существование", ср. знаменитый тезис этой философии: "Существование (экзистенция) предшествует сущности (эссенции)".

У схоластов в этом ряду появляется еще один термин — *entitas* (от *ens* — "сущее"), означающий чаще всего *entitas tota* 'цельная реальность индивида (человека или вещи)', в противопоставлении его (индивида) *existentia* и его *haecceitas* "этости", "этовости" (от слова *haec* 'эта'), совокупности признаков, создающих единственность, уникальность индивида. Термин *entitas* использует У. Оккам в критикуемом им значении "общая сущность", т.е. "природа индивида", — понятие, которое он отвергает. От этого латинского термина происходят современные англ. *entity* и франц. *entité*.

Следует отметить, что, так как оба главных термина — *substantia* и *essentia* — в латинской терминологии соответствуют также одному греческому "усия", они нередко смешиваются. Например, Рассел, не принадлежащий к сторонникам первой линии в понимании сущности, критикует их понятие субстанции в своей "Истории западной философии", иногда понимая его как "эссенцию".

Термин "вторые сущности" в "Метафизике" вообще не

употребляется. Это имеет серьезные последствия для понимания всей категории Сущность. В трактате "Категории" первые сущности последовательно включаются в иерархию видов и родов. Если же вторые сущности, как это имеет место в "Метафизике", не признаются, то вся иерархия категории Сущность именно как единой категории перестает существовать и все ярусы включений становятся чем-то вроде качеств первых сущностей. Действительно, с развитием этой точки зрения все большее развитие получает категория Качество. Она поглощает все верхние ярусы иерархии Сущности (т.е. все, кроме первых сущностей) и все остальные категории, кроме Отношения (Соотнесенного). В "Метафизике" по большей части проводится именно такой взгляд, но как бы в его начальном виде — речь идет о трех основных категориях: Сущность, Свойство, Отношение (Соотнесенное). В таких логико-лингвистических системах XX в., как система Р. Карнапа, гипертрофия понятия "свойство" (а это видоизменение категории Качество) достигает предела: "класс" отождествляется со "свойством". Эту линию в трактовке категорий можно назвать номинализмом (условно, потому что номинализм в собственном виде формируется лишь в средневековой схоластике; но основания для такого названия всей этой линии с самого ее начала станут ясны после рассмотрения предикации).

К этой линии (явно или неявно) принадлежат: крайний "номиналист до номинализма" Антисфен, глава школы киников (V—IV вв. до н.э.), Мартиан Капелла ("Семь свободных искусств", ок. 430 г. н.э.), Росцелин из Компьеня (XI в.), У. Оккам (XIII—XIV вв.), Спиноза (XVII в.), Соломон Маймон ("Категории Аристотеля", 1794), Ф.А. Тренделенбург ("История учения о категориях", 1846), М.Н. Касторский (перевод на русский язык и комментарии "Категорий", 1859), А.И. Введенский ("Логика как часть теории познания", 1909), П.С. Попов ("Теория восприятия Аристотеля", 1922), Г.Ф. Александров (комментарии к "Категориям", 1939), Р. Карнап ("Значение и необходимость", 1947), А.С. Ахманов ("Логическое учение Аристотеля", 1960), В.Ф. Асмус ("История античной философии", 1965; "Античная философия", 1976).

В дальнейшем развитии учения Аристотеля немаловажную роль сыграло, по-видимому, одно историческое обстоятельство. С раннего средневековья до середины XII в. продолжается первый период схоластической логики, так называемая старая логика (*logica vetus*), основанная на идеях "Категорий" Аристотеля, Порфирия и Боэция, а это, как мы старались подчеркнуть, — в известной мере отдельная традиция [ср. также: Майоров 1979, 373]. Позднее, в середине XII в., после знакомства

с другими частями "Органона" Аристотеля — "Топикой", "Аналитикой", "О софистических опровержениях", оживает до какой-то степени иная традиция и начинается период Новой логики (logica nova), в которой центр тяжести переносится на проблемы предикации, суждения и умозаключения. Именно с этим переломом, отвечающим потребностям становления позитивных наук, совпадает усиление номиналистической линии вообще и в трактовке категорий в частности.

Подводя итог, следует сказать, что, несмотря на различия и даже, возможно, на некоторые противоречия в трактовке категорий в разных сочинениях Аристотеля, его логико-лингвистическая концепция представляет собой единое целое. (А.Н. Чанышев тоже считает возможным соединить обе концепции категорий — в "Категориях" и в "Метафизике", но в конечном счете находит все же в концепции категорий у Аристотеля неразрешимые противоречия [Чанышев 1981, 295].)

Единство всей системы Аристотеля обнаруживается еще и в другом отношении: мы хотим подчеркнуть единство учения о категориях, как оно изложено в "Категориях", с силлогистикой Аристотеля. В этой связи мы хотим вновь обратить внимание на две редко упоминаемые работы — книгу Г. Патцига "Аристотелевская силлогистика" [Patzig 1959] и рецензию П.С. Попова на эту книгу.

Сравнивая книгу Патцига с известной работой Я. Лукасевича [1959] о силлогистике Аристотеля, Попов отмечал, что при всех достоинствах последней в ней "утрачивается историческая перспектива и система оказывается неправомерно модернизированной". Патциг же, превосходный знаток текстов Аристотеля и греческих текстов вообще, сумел выявить те исходные положения, которых недостает в анализе Лукасевича. В частности, Патциг показал, что "силлогистика Аристотеля приложима лишь к той системе родо-видовых отношений и й, где для каждого рода существует еще более высокий род и для каждого подчиненного понятия существует еще другое понятие, в свою очередь ему подчиненное" [Попов 1961, 178].

Итак, Сущность, "усия" (οὐσία) как фундаментальный термин философии имени утверждается, в линии "Категорий" Аристотеля, в следующем смысле: 0) Сущность как таковая, сама по себе; 1) сущность выступает в отношении различных переменных качеств вещи как их основа, как постоянство вещи, как субстрат (ὄλοκεῖμενον); 2) в языке сущность, или субстрат, выступает как грамматическое подлежащее (ὄλοκεῖμενον); 3) в мысли сущность выступает как субъект (ὄλοκεῖμενον) простого категорического ассерторического суждения. Все три признака Сущности взаимосвязаны, это не

три значения одного слова, а три аспекта бытия Сущности и три аспекта понятия о ней.

Специальный аспект (1), выраженный греческим термином ὑποκειμενον, на латинский был переделан словом *suppositum*, которым широко пользовались схоласты (от него произошли англ. *supposite*, франц. *suprôt*, оба впоследствии вышли из употребления), схоласты произвели от него свой важнейший термин "суппозиция" (*suppositio*). Кроме того, тот же греческий смысл стал передаваться латинским *substratum*, букв. 'подстеленное' (англ. *substrate*, франц. *substrat*), русским (из латинского) "субстрат". Но в переводах Аристотеля и других древнегреческих авторов на русский язык в этом смысле употребляется тоже "подлежащее", что, конечно, сильно мешает современному читателю.

Аспекты (2) и (3), выраженные по-гречески также термином ὑποκειμενον, были переданы буквальными переводами на латинский — *sub-jectum* и на русский — "подлежащее"; в русском употребителен также термин "субъект" (из латинского).

В соответствии с различными аспектами аристотелевского понятия (не слова!) "сущность" мы будем употреблять:

| Греч. | Рус. | Лат. |
|----------------|------------------------------|--|
| 0. οὐσία | — сущность (в 2-х значениях) | — <i>substantia</i> , <i>essentia</i> |
| 1. ὑποκειμενον | — субстрат | — <i>suppositum</i> , <i>substratum</i> |
| 2. ὑποκειμενον | — подлежащее | — <i>subjectum</i> |
| 3. ὑποκειμενον | — субъект | — <i>subjectum</i> |

(Английские и французские термины являются производными от латинских)

Другие категории. Полный список категорий Аристотеля таков (слева направо дается греческий термин, его перевод на русский язык, его соответствие в традиционной — начиная со средних веков — латинской терминологии категорий, его соответствие в русской терминологии категорий):

| | | | |
|------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1. Ὀυσία | 'Сущность' | <i>Substantia</i> | Сущность (Субстанция) |
| 2. Ποσόν | 'Сколько многих?' | <i>Quantitas</i> | Количество |
| 3. Ποιόν | 'Какой?' | <i>Qualitas</i> | Качество |
| 4. Πρός τί | 'В отношении чего?' | <i>Relatio</i> | Отношение (Соотнесенное) |
| 5. Ποῦ | 'Где?' | <i>Ubi</i> | Где? (Место) |

| | | | |
|-------------|----------------|---------|------------------------------|
| 6. Πότε | ‘Когда?’ | Quando | Когда? (Время) |
| 7. Κεῖσθαι | ‘Находиться’ | Situs | Положение |
| 8. Ἔχειν | ‘Иметь(ся)’ | Habitus | Обладание (Состояние) |
| 9. Ποιεῖν | ‘Делать’ | Actio | Действие |
| 10. Πάσχειν | ‘Претерпевать’ | Passio | Претерпевание (Страдание) |

Сущность стоит на первом месте; все другие девять категорий, по Аристотелю, суть то, что самостоятельно вне вещей не существует. Только Сущность называется у Аристотеля именем существительным, “усия”, и только на эту категорию приводятся примеры в виде имен существительных (древнегреческого языка). Все остальные категории именуются или вопросами и иллюстрируются разными частями речи, но не именами существительными (категории 2—6), или словами, которые являются просто представителями, элементами соответствующего класса слов (категории 7—10). Название всех категорий в форме имен возникло только в латинских переводах Аристотеля и было заимствовано в русской традиции [лингвистический анализ категорий см.: Степанов 1981, 121 и след.]. Таким образом, уже сам перечень категорий по существу связан с языком и чреват отношениями предикации: имя есть по преимуществу подлежащее, все остальное — по преимуществу сказуемое или определение в составе неких возможных высказываний.

Сама Сущность называется иначе вопросом “Что это есть?” — τί ἐστί (Гопика, 103b 22). Все другие категории, отвечая на другие вопросы, раскрывают сущности через их атрибуты.

Но категория Сущности имеет, как показал Порфирий, иерархическое строение — “дерево Порфирия”. Устроены ли другие категории таким же образом? Вопрос этот очень важен для понимания всего остального: предикации, именованья, сущности языка у Аристотеля и у схоластов. Но именно этот вопрос в истории логики не получил освещения или, вернее, в предположительной и неясной форме на него давались два различных ответа,

Как первый ответ предполагается, что каждая из категорий устроена подобно Сущности и имеет иерархическое строение. Иными словами, например, “данный, этот желтый цвет” составляет нижний ярус иерархии, подобный ярусу “отдельный человек” в категории Сущность; далее он включается в вид “желтый цвет”, последний — в род “цвет”, а он в свою очередь в наивысший род — в категорию Качество.

Однако такой ответ наталкивается на большие трудности.

Дело в том, что иерархия Сущности ("дерево Порфирия") — это не только схема родо-видового соподчинения понятий (и не только схема строгой дихотомии деления объемов понятий, как она иногда рассматривается в логике), а система лингвистической иерархии, обладающая целой совокупностью взаимосвязанных языковых и логических свойств [о них подробнее см.: Степанов 1981, 74 и след.].

В какой мере свойства категории Сущность, а следовательно, и свойства "дерева Порфирия" применимы к классификации явлений, подводимых под другие категории? Иными словами, являются ли другие категории изоморфными категории Сущность? Мнения исследователей на этот счет расходятся. У.Д. Росс [Ross 1930], А.И. Юрченко (в ряде докладов и устных сообщений) и др. отвечают на этот вопрос положительно. А.И. Юрченко прямо считает, что, вполне подобно Сущности, Качество имеет такую иерархию: например, "этот, данный белый цвет" (индивид)—"белый цвет"—"цвет"—"свойство" (впрочем, он допускает, что эта промежуточная ступень необязательна или, напротив, может быть разбита на несколько)—Качество. Подобно этому, хотя несколько сложнее, могут быть, по его мнению, иерархизированы и все остальные категории.

Эта идея восходит к глубокой древности. У Иоанна Дамаскина читаем: "...Нужно знать, что остальные девять сказуемых (т.е. категорий. — Ю.С.), исключивши сущность, хотя случайные, впрочем (здесь в значении 'но'. — Ю.С.) каждое из них имеет как устанавливающие, так и разделяющие различия, и каждый род есть самый общий род и равным образом имеет подчиненные виды и частнейшие (самые частные. — Ю.С.) виды: ибо где есть род, там необходимо есть и виды и разделяющие различия" (Диалектика, гл. 37 [Иоанн Дамаскин 1862, 61]).

Однако в главах, трактующих о девяти остальных, кроме Сущности, категориях, приводится совсем другое по типу соотношение родов и видов, чем в Сущности (где повторяется известная схема "дерево Порфирия"). Так, в гл. 51 о Качестве говорится: "...Иные у качеств принадлежат телам одушевленным и одаренным разумом; так познания и добродетели, болезни и здоровье, и сии качества называются именем и расположением. А иные принадлежат одушевленным и неодушевленным; так теплота, холод, форма, фигура, сила и бессилие; и они заключаются частью в возможности, частью в действии. Ежели в возможности, то производят силу и бессилие; ежели в действии, то или проникают предмет совершенно, так жар проникает весь огонь, белизна совершенно молоко и снег, и тогда производят состояние и качество страдательное; или только на поверхности,

и тогда производят фигуру и форму. И так четыре вида качеств: имение и расположение, возможность и невозможность, состояние и качество страдательное, фигура и форма" [там же, с. 79]. Дальше дается деление внутри каждого из этих четырех видов. имение отличается от расположения, возможность — от невозможности и т.д.

Таким образом, и у Иоанна Дамаскина иерархия остальных категорий не показана, и сомнительно, чтобы она была возможна. Ведь классификация Сущности, как она показана Порфирием, единственным и неизбежным образом, алгоритмически, подводит к наинижнему виду "человек", если идти "сверху", от вопроса "Что это есть?", или, напротив, столь же однозначно и алгоритмически подводит к категории Сущность, если идти "снизу", от "данного человека". При этом все остальные виды Сущности: животные, растения, неодушевленные тела (например, минералы), бестелесные предметы (например, знаки) — классифицируются столь же алгоритмически, но каждый вид на иной ступени деления. Иными словами, каждый вид в этой иерархии получает иную глубину определения — тем меньшую, чем он ближе к вершине иерархии. И эта различная глубина соответствует различной степени бытия, о чем было сказано выше.

Очевидно, что в других категориях в этом отношении все обстоит иначе. От понятия "данный желтый цвет" (в предположении, что такое понятие может существовать, для простоты рассуждения примем, что может) можно иерархически взойти до категории Качество. Но будут ли промежуточные ступени — виды и роды — естественными и единственными, как они естественны и единственны в категории Сущность? Если "данный желтый цвет" естественно подводится под "желтый цвет", а последний под "цвет", то под какой род подвести "цвет" до того, как мы подведем его под наивысший род — Качество? Точно так же будет обстоять дело со "звуком". Имеется ли какой-нибудь общий род (до наивысшего рода Качество) у "цвета" и, например, у "звука"? Положим, что этот вопрос можно как-нибудь, с натяжкой, разрешить, опираясь на то, что цвет и звук — это качества, устанавливаемые естественными органами восприятия (что само по себе является весьма сложной логико-лингвистической проблемой [см.: Wierzbicka 1980]). Но как естественным, единственным и алгоритмическим путем совершить нисхождение от верхнего яруса — Качество — к нижним? На одном из промежуточных ярусов деления мы неизбежно придем к тому, что качества восприятия — цвет, звук, температура и т.д. равно соподчинены одному и тому же высшему роду и образуют в этом ярусе не древовидное, не дихотомическое, а зонтичное

членение. То же положение будет встречаться при других качествах, хотя, возможно, на других ярусах иерархии.

Можно избежать зонтичного членения, сведя его к дихотомическому, скажем, путем такого деления: Цвет — Не цвет (т.е. звук и прочие качества), затем Не цвет поделим на Звук и Не звук (прочие качества, кроме цвета и звука) и т.д. (Можно, конечно, то же дихотомическое деление провести иначе, поделив сначала Звук—Не звук, т.е. цвет и все прочее, а затем Не звук — на Цвет и Не цвет и т.д.) Но тогда возникает иной вопрос: на каком основании приписывать звуку (при первом делении) большую степень бытия, чем цвету? Или цвету (при втором делении) большую степень бытия, чем звуку? Ведь, как мы видели выше, степень бытия по Аристотелю и по Порфирию тем больше, чем ближе стоит сущность в иерархии к первой сущности. Это же надо предположить и для других категорий, если считать, что они устроены изоморфно Сущности. Так же, если только не еще сложнее, обстоит дело с другими категориями, например с категорией Место, поскольку здесь соотношение места с местонахождением самого говорящего образует не объективную, а субъективную и относительную характеристику места.

Поэтому в качестве второго ответа на поставленный вначале вопрос напрашивается следующее: все остальные категории, кроме Сущности, не имеют иерархического строения, во всяком случае такого родо-видового иерархического "древовидного" строения, как Сущность.

Общее основание этого различия заключается в том, что только Сущность существует независимо и сама по себе, тогда как все другие категории — только через Сущность. Поэтому отвлечение от индивидов по степени иерархии вверх приобретает два различных качества. Движение по иерархии Сущности, если понимать ее в смысле трактата "Категории", является отвлечением одновременно и логическим, т.е. происходит в понятии, и онтологическим, т.е. отвлекаемые ступени не перестают существовать онтологически, вне познающего рассудка, как присущие объективной действительности. Движение же вверх по иерархии, например категории Качество (если признать, что такое может иметь место), является отвлечением лишь логическим, но не онтологическим, поскольку, по определению, другие категории, кроме Сущности, не имеют самостоятельного бытия. Следовательно, такая иерархия, как "этот, данный белый цвет"—"белый цвет"—"цвет"—и т.д. является лишь логической иерархией понятий. Онтологически же ей должна соответствовать иная иерархия, в которой на каждой ступени качество выступает качеством какой-либо Сущности, а именно соответствующей ступени Сущности. Таким образом, эта вторая

иерархия должна, скорее всего, иметь такой вид: "этот белый цвет, существующий в данном белом цветке" (или в любом другом непосредственно наблюдаемом белом предмете)—"белый цвет, существующий в группе однородных белых предметов"—"цвет как свойство окрашенных предметов, т.е. как свойство класса цветных предметов"—и т.д. Но такое подведение под категорию Качество не является категориальным подведением, а процессом иного рода — субсумпцией.

По субсумпцией (от лат. *subsumere* 'подчинять') традиционно (и справедливо) понимается подведение типа: желтые цветы, желтые платки, канарейки, золото, бронза и т.п.—Желтое. Сравнение субсумпции с категориальным подведением очень четко обнаруживает черты того и другого. С одной стороны, субсумпция отличается от категориального, родо-видового обобщения тем, что не требует рассудочного обобщения, усмотрения общего. Она, выражаясь феноменологически, не требует интенционального акта усмотрения общего, как его требует именование (см. гл. I, 1). Здесь необходимо лишь обобщение на уровне восприятия: объединяется все желтое. Субсумпция является эмпирическим собранием индивидов в класс. Именно поэтому обобщение субсумпцией, как правило, не приводит к имени, не является актом именованья. Класс, созданный субсумпцией, взятый как множество содержащихся в нем индивидов, т.е. поэлементно, обладает таким же максимумом бытия, как вообще всякий индивид, всякая "первая сущность".

С другой стороны, класс, созданный субсумпцией, как целое, т.е. именно как класс в целом, обладает минимумом бытия, как, например, совместное бытие желтых предметов. В этом пункте видно главное отличие категориального обобщения типа категории Сущность: в нем на каждой ступени иерархии соответствующий вид или род обладает максимумом возможного для этой ступени бытия. Например, совместное бытие канареек, или золотых предметов, или желтых цветов — каждой группы в отдельности — несомненно больше, чем совместное бытие всего желтого — канареек вместе с золотыми предметами и вместе с желтыми цветами. С точки зрения языка — не только древнегреческого, но Языка вообще — это различие соответствует тому, что категория Сущность отражает нечто "естественно предметное", естественные субъекты языка ("подлежащие", сказал бы Аристотель), а все остальные категории — нечто "естественно непредметное", естественные предикаты. Мы подошли, следовательно, к проблеме предикации, которая, как уже и было сказано, коренится в скрытом виде в самом существе категорий.

Предикация. Само общее название категорий, употребленное Аристотелем, говорит об их связи с предикацией. Понятие предикации как активного процесса, как акта приписывания признака субъекту, как акта создания пропозиции и высказывания в философии имени не было развито. Эта ущербность как раз и свидетельствует о подчинении синтактики семантике в общих представлениях о языке. Предикация понималась и описывалась статично, как перечень возможностей и классификация результатов. Эти понятия покрывались тремя терминами:

1. катῆγορία — praediamentum — категория, род предиката
2. катῆγορημα — praedicatum — предикат, сказуемое
3. катῆγοροῦμενον — praedicabilium — предикабилия, тип предиката

Греческие и латинские термины сохраняют единство, будучи производными от одного корня, но современные английские, французские и особенно русские термины этой группы расходятся, и поэтому нужно подчеркнуть их первоначальное единство. 1. Категория (от греч. катῆγορεῖν 'сказывать, говорить, утверждать') — это единица ("таксон" в современном смысле) классификации предикатов по содержанию; тип, или род, предиката по содержанию и термин "род" предиката здесь надо понимать в его аристотелевском смысле "Категорий" — как обозначение того, что объективно существует в действительности как нечто общее — род или вид — самих вещей. 2. Предикат понимается как данный, конкретный предикат того или иного предложения, в противопоставлении предиката субъекту. 3. Предикабилия, тип предиката, — это единица ("таксон") классификации предикатов по логической форме.

Классификация предикатов по объективному основанию (категории) и классификация предикатов по логической форме (предикабилии) — две разные, независимые одна от другой классификации. Но в некоторых пунктах они пересекаются. Выделение этих пунктов пересечения, или совпадения, очень важно: в них фиксируются те виды предикации, где язык отражает объективные свойства действительности (по крайней мере по мнению философов имени), и они противопоставлены другим видам предикации, где язык отражает лишь логические или внутриязыковые абстракции. Это важно поэтому и для понимания теории суппозиций.

Впервые классификация предикатов по логическому типу, как предикабилий, дана Аристотелем в "Топике" (Топика I, 4, 101b, 17—25 [Аристотель 1978, 350]), где установлены четыре класса: "собственный признак" (ἴδιον, proprium), "опре-

деление" (ὄρος, definitio), "род" (γένος, genus), "привходящий признак" (συμβεβηκός, accidens). Что касается "различительного признака" (διαφορά, differentia), то Аристотель здесь по каким-то причинам не считает необходимым упоминать его особо.

Предикабилии Аристотеля могут быть классифицированы, как это сделано З.Н. Микеладзе, по двум признакам: 1) "взаимозаменяемость—невзаимозаменяемость", т.е. простая обратимость—необратимость сказуемого с подлежащим; 2) "существенность—несущественность" сказуемого как признака подлежащего [Микеладзе 1978, 646]:

Взаимозаменяемые: существенные — 1. Определение; несущественные — 2. Собственный признак; Невзаимозаменяемые: существенные — 3. Род; несущественные — 4. Привходящий признак.

Примеры Аристотеля таковы (при этом надо иметь в виду, что для Аристотеля суждение имеет вид "S есть P", поэтому наиболее адекватной языковой формой суждения будет, по Аристотелю, "Нечто есть нечто"):

1. Человек есть живое существо, двуногое, живущее на суше.
2. Человек есть способное научиться читать и писать (= Человек способен научиться читать и писать).
3. Человек есть живое существо.
4. Человек есть сидящее (= Человек сидит).

В обеих классификациях общим термином является "род", и это центральное звено всей философии имени. Роды существуют не только в предикации языка, но и объективно — как сущности (еще раз подчеркнем, что это точка зрения "Категорий", а не "Метафизики"), и именно в силу их объективного бытия предикация рода — центральный тип предикации; все остальные типы определяются, "центрируются" по отношению к роду.

Позднее, в средневековой западной традиции, учение о "предикациях-категориях" стало подразделяться на три раздела: учение о "предкатегориях" (antepraedicamenta), в качестве какового стало рассматриваться "Введение" Порфирия; учение о самих категориях (praedicamenta); учение о "посткатегориях" (postpraedicamenta) — о способах обозначения предметов и о словах (сложных, определенных, неопределенных, о существительном и глаголе). Так у Абеяра, Петра Испанского и др. [Владиславлев 1881, Прил., 75].

Но нам кажется естественнее рассматривать классификацию Порфирия в том же ряду, что и учение о "посткатегориях", поскольку в обеих частях идет речь о языковом выражении предикации. Для этого имеются, как мы увидим, и фактические основания в текстах: "Введение" Порфирия — по существу первое изложение учения о "подстановках (суппозициях)". Итак,

все, что следует — в логическом отношении — за "Категориями" Аристотеля: его собственная классификация предикабилей, ее развитие у Порфирия и средневековое учение о "подстановках герминов" — это последовательные этапы одного и того же общего учения о "суппозициях". И одновременно это — различные аспекты его содержания.

3. ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ СХОЛАСТИКЕ. ПЕТР ИСПАНСКИЙ И ОККАМ

Все исследователи схоластики в наши дни, желая связать ее с современной логикой или лингвистикой, вынуждены частично переводить ее положения на язык последних, а частично подыскивать аналоги для них, всякий раз сопровождая эти переводы и аналоги оговорками о том, что дело обстоит только "по-видимому", "приблизительно", "по всей вероятности" так. Прямых аналогий почти нет.

Общая причина этого заключается в том, что между схоластикой и современной логикой существует разрыв, перерыв традиции: схоластика прекратила существование, можно даже сказать погибла, в XVII в., подобно тому как с наступлением ледниковой эпохи вымерла флора и фауна доледникового мира. Схоластическая логика не смогла перешагнуть рубеж нового времени, "поскольку она не могла найти обобщающий алгоритм, который дал бы возможность закрепить достигнутое и идти дальше" [Стяжкин 1970, 173]. А современная логика не протянула схоластам руку, она начала заново, на другом основании, во многом на основании логики Аристотеля.

Тем не менее аналогии, пусть не прямые, должны быть установлены. Собственно, это и есть задача общей теории языков — семиологии (семиотики), а следовательно, в какой-то мере и этой книги.

В схоластике по-прежнему, как и в предыдущий период, над всеми логико-лингвистическими проблемами доминирует "имя". В терминах философии имени ставятся и решаются проблемы именования, отношения имени и вещи, отношения имени и понятия о вещи, общих и индивидуальных имен, что выражают общие имена — объективные реальности или только идеи — в конечном счете все основные проблемы семантики. Что касается синтактики и синтаксиса, то эти проблемы решаются под углом зрения семантики, и ключевой термин здесь — "суппозиция", подстановка имен [см. из новейших работ: *History of linguistic thought...* 1976, *Signification et référence...* 1982; Nuchelmans 1983].

К двум доминирующим чертам философии имени — к учению об имени как о Сущности и к иерархии — присоединяется третья — проблема универсалий. Все термины и все вопросы средневековой философии имени связываются в один узел в проблеме универсалий. Она была точно сформулирована в "Изагоге" Порфирия (иначе — во "Введении к Категориям финикийца Порфирия, ученика ликополитанца Плотина"). Порфирий писал: "Чтобы научиться аристотелевским категориям, необходимо знать, что такое род ($\gamma\acute{\epsilon}\nu\omicron\varsigma$) и что — различающий признак ($\delta\iota\alpha\phi\omicron\rho\acute{\alpha}$), что — вид ($\epsilon\acute{\iota}\delta\omicron\varsigma$), что — собственный признак ($\acute{\iota}\delta\iota\omicron\nu$) и что — признак приводящий ($\sigma\upsilon\mu\beta\epsilon\beta\eta\kappa\acute{o}\varsigma$)... рассмотрение всех этих вещей полезно и для установления определений и вообще в связи с вопросами деления (т.е. с вопросами деления понятий и с вопросами классификаций. — Ю.С.) и доказательства... Я буду избегать говорить относительно родов и видов, — существуют ли они самостоятельно, или же находятся в одних только мыслях, и если они существуют, то тела ли это, или бестелесные вещи, и обладают ли они отдельным бытием, или же существуют в чувственных предметах и опираясь на них: ведь такая постановка вопроса заводит очень глубоко и требует другого, более обширного исследования" [Порфирий 1939, 53].

Работа Порфирия послужила связующим звеном между учением Аристотеля и доктринами схоластов с их "спором об универсалиях", который на протяжении веков вели целые поколения ученых. В споре схоластов утвердились три главные точки зрения: реализм — универсалии, т.е. роды и виды, существуют ante rem 'до вещи', как реальные сущности (realia) наподобие платоновских идей; номинализм — роды и виды существуют post rem 'после вещи', только как общие имена (nomina); концептуализм — роды и виды существуют in re 'в вещи', как сущности вещей. Сам Аристотель, колеблясь, как указал В.И. Ленин [т. 29, с. 327], между платонизмом и, в современной терминологии, материализмом, скорее всего склонялся к "концептуализму". Этот вопрос, как известно, специально исследовался [Трахтенберг 1957, 37].

В "Споре об универсалиях" отразилась в своеобразной форме борьба двух линий в философии — идеализма и материализма. Реализм был, в общем, формой идеализма. Номинализм выступал в средние века, по определению Маркса, "первым выражением материализма" [Маркс, Энгельс, т. 2, с. 142].

При этом в историческом исследовании нужно помнить также слова В.И. Ленина: "Конечно, в борьбе средневековых номиналистов и реалистов есть аналогии с борьбой материалистов и идеалистов, но и аналогии и исторически-преемственную связь

можно установить еще со многими и многими теориями, вплоть не только до средних веков, но и до древности. Чтобы изучить серьезно связь хотя бы средневековых споров с историей материализма, потребовалось бы особое исследование" [Ленин, т.25, с. 37].

Здесь необходимо подчеркнуть (см. Предисловие) различие двух аспектов проблемы универсалий; мы ограничиваемся ее семиотическим аспектом, но за ним встает чисто философская проблема общего и отдельного. Для реализма характерен отрыв общего от единичного, абсолютизация и превращение в некую "демиургическую" сущность, предшествующую единичному и творящую его, — линия объективного идеализма. Напротив, взгляд на единичное как на исходную категорию, на действительность как на совокупность единичностей, характерный для номинализма, прослеживается впоследствии в линии эмпиризма. Проблема общего и отдельного получила решение только в диалектическом материализме, который, отвергая оба идеалистических толкования общего и отдельного, исходит из признания объективности и единства общего и единичного, отдельного [ср. Философский энциклопедический словарь 1983, 447].

Проблема универсалий является основой для понимания философии имени в средневековье, но одного этого основания недостаточно. Не менее важен вопрос — на первый взгляд технический — о суппозициях.

Суппозиции. Латинский термин *suppositio* означает 'подстановка термина' (имеется в виду 'подстановка в высказывание') и является соответствием (или, быть может, даже переводом) греческого ὑπόθεσις. Учение о суппозициях начинает развиваться после Аристотеля и приобретает центральное место в средневековой схоластической философии имени. По средневековой классификации оно относилось к *postpredicamenta* — к части логики, следующей за учением о категориях (см. гл. I, 2).

Учение о суппозициях явилось попыткой решать синтаксические проблемы при отсутствии самого понятия о синтаксическом измерении языка, на основе одной семантики. Однако это учение вряд ли можно назвать "ущербным", скорее оно свидетельствует о том, с какой большой глубиной можно проникнуть в синтаксические проблемы, исходя из семантики. По этой причине суппозиции снова оказались в сфере интересов современной лингвистики, когда она всю занялась семантикой.

Кроме того, в самом применении суппозиций следует видеть (что обычно не отмечается) начало — и даже уже довольно продвинутый этап — в развитии двух основных семиотических методов: метаописания, или метаязыка, и

метода абстракции. Кратко поясним их. Пусть в распоряжении исследователя имеется некоторый язык *L*. Исследователь может рассматривать его как объект своего описания, т.е. как язык-объект, для описания которого в таком случае ему потребуется какой-то иной язык *L_m*, метаязык; здесь лежит начало метода метаописания. Но исследователь может рассматривать язык *L* и как инструмент описания, но только описания не другого какого-либо языка (в этом случае язык *L* просто стал бы метаязыком, как в уже упомянутом случае), а описания какой-либо системы ценностей, не находивших до сих пор выражения ни в каком языке. Последняя становится в таком случае как бы новой семантикой языка *L*, а сам он, абстрагируясь от своей прежней семантики, становится способом выражения нового содержания. Здесь лежит начало другого семиотического метода — метода абстракции, который, следовательно, не совпадает с понятием абстракции в обычном логическом смысле слова. На основе семиотического метода абстракции устанавливаются многие положения теоретической семиотики [см.: Степанов 1981, 21, 27; 1971, 91—101]; при формализации он выступает в виде эпитетории, противопоставляемой метатеории [см.: Карри 1969, 102, 186]. Простым примером метода абстракции является стилистика — использование данного языка для выражения таких нюансов содержания, которые его семантикой не предусмотрены заранее.

Первоначально оба семиотических метода возникли почти одновременно, потому что изложение суппозиций уже в ранней схоластике обычно сопровождалось обсуждением реальности родов и видов, а это не что иное, как проблемы "реализма" и "номинализма", и они относятся с современной точки зрения к "металогике" и "метаязыку". Термин "металогика", по аналогии с которым позднее был создан термин "метаязык", действительно, впервые был употреблен в связи с обсуждением этих проблем Иоанном [Джоном] из Солсбери в 1159 г. в его труде, названном по-гречески "Metalogicon" (лат. "Metalogicus").

Чтобы охватить учение о суппозициях в некоторой его динамике, мы рассмотрим две его разновидности: более раннюю, принадлежащую Петру Испанскому и изложенную в его "Summulae logicales" [цит. по изд.: Владиславлев 1881, Прил.; Ducrot 1976, 195 и след.] и более позднюю, принадлежащую У. Оккаму и изложенную в его "Summa totius logicae" [цит. по изд.: Ockham 1957; некоторые фрагменты см.: Антология мировой философии 1969, I (2); Teodoro de Andrés 1969]. Одновременно это — две концепции в двух разных философских традициях.

Петр Испанский продолжал учение Аристотеля как после-

дователь Аверроэса, в вопросе об универсалиях и категориях он был, в общем умеренным реалистом, в некоторых отношениях он близок к византийской традиции: по-видимому, в наши дни еще не закончилась столетняя дискуссия о том, является ли "Суммула" Петра Испанского тем оригиналом, с которого сделан византийский перевод — "Синописис", приписываемый Михаилу Пселлу (1018—ок. 1078 или ок. 1096), или, напротив, "Синописис" Пселла послужил источником для Петра Испанского.

У. Оккам — последний крупнейший представитель номинализма и первый представитель англосаксонской традиции "лингвистической философии", впоследствии отмеченной такими именами, как Локк, Милль, Рассел, Айер и др.

В плане техники изложения у обоих авторов много общего: оба излагают суппозиции в дихотомической форме, следуя образцу Порфирия. Естественнее всего было бы представить для наглядности каждую из двух систем в виде "дерева", но это трудно по чисто техническим причинам, и нам придется излагать "деревья" в словесной форме (читатель может для удобства рисовать дихотомическое дерево сверху вниз, начиная от термина "суппозиция").

У Петра Испанского стоящая в вершине дерева 1. Суппозиция (*suppositio*) делится на две ветви: 1.1. суппозиция дискретная (*discreta*) и 1.2. суппозиция общая (*communis*); под первой он понимает способ (модус) подстановки собственного имени, например *Платон*; под второй — способ подстановки общего имени. 1.2. Суппозиция общая делится на: 1.2.1. естественную (*naturalis*) и 1.2.2. акцидентную (*accidentalis*), т.е. "привходящую" или "случайную"; под первой понимается подстановка общего имени вне контекста, например *человек*; под второй — подстановка общего в контексте. 1.2.2. Суппозиция общая акцидентная делится на: 1.2.2.1. простую (*simplex*) и 1.2.2.2. персональную (*personalis*); под первой понимается подстановка имени вместо его означаемого, например "*Человек* есть вид", "*Всякий человек* есть *животное*" (подставляемые термины выделены курсивом); под второй понимается подстановка имени по крайней мере вместо некоторых существ, обладающих той природой, которая обозначена (сигнифицирована) именем. 1.2.2.2. Суппозиция общая акцидентная персональная делится на: 1.2.2.2.1. смешанную (*confusa*) и 1.2.2.2.2. определенную (*determinata*); под первой понимается тот случай, когда подстановка образует предложение, истинное по отношению ко всем существам, вместо которых подставлено имя, например "*Всякий человек* есть *животное*"; под второй имеется в виду такой случай, когда подстановка образует предложение, истинное по отноше-

нию по крайней мере к одному из существ, вместо которых подставлено имя, например "Некоторый человек смертен".

Дальнейшие трактаты Петра Испанского (с 8-го по 12-й) касаются различных, зачастую весьма важных, деталей суппозиций, некоторые из них являются аналогами таких существенных вопросов, как квантификация (в 12-м трактате — *distributio*) [см.: Владиславлев 1881, Прил., с. 95].

У Оккама дерево существенно иное. 1. Суппозиция делится на три ветви: 1.1. суппозиция материальная (*materialis*), 1.2. простая (*simplex*), 1.3. персональная (*personalis*). Под первой понимается, выражаясь современно, подстановка термина как имени его самого. Оккам говорит, что это подстановка термина не вместо того, что он означает, а вместо него как письменного или звукового знака. Под простой суппозицией Оккам понимает подстановку термина вместо его мысленного содержания — *pro intentione animae*; поскольку здесь он употребляет термин "интенция ума", то этот модус значения вполне можно сопоставить с "интенциональным усмотрением" в феноменологии Гуссерля (см. гл. V, 2); примером служит все то же предложение — "Человек есть вид" (суппозиция относится к "человек"). Поскольку Оккам номиналист, то интересно его понимание этого модуса: точнее, говорит он, здесь термин "человек" не означает своего мысленного содержания, а это мысленное содержание и его звуковой знак — и то, и другое — знаки, означающие одну и ту же вещь, причем последний подчинен первому.

1.3. Персональная суппозиция — это тот случай, когда термин стоит вместо объекта, который он означает, независимо от того, является ли последний вещью вне ума, звуком голоса или мысленным концептом; примеры — "Каждый человек — животное", "Каждое звуковое имя — часть речи", "Каждый вид — универсалия" и т.п. Персональная суппозиция делится на: 1.3.1. дискретную (*discreta*) и 1.3.2. общую (*communis*); под первой понимается суппозиция, принадлежащая собственному имени индивида или указательному местоимению, взятому в качестве указания на конкретный индивид, например "Сократ — человек", "Это — человек". Оккам делает важное разъяснение: предложение "Это растение растет в моем саду" (1) ложно, и субъект не имеет здесь дискретной суппозиции, это становится ясным при сравнении с предложением "Одно растение (один экземпляр) этого вида (рода) растет в моем саду" (2), которое истинно и в котором суппозиция субъекта — дискретная суппозиция.

Отсюда Оккам делает вывод, который можно рассматривать как хороший аналог современного понятия "глубинная

структура” в лингвистике и, нам кажется, как аналог понятия ”пропозиция”, отделенного от понятия пропозициональной установки, т.е. от модальности, выражения мнения и т.п. (ср. гл. V, 2,3). Он говорит: ”Отсюда необходимо заметить, что когда предложение, которое является в его данном виде ложным (1), имеет тем не менее и какой-то истинный смысл (2), то тогда, если взять его в этом истинном смысле, его субъект и предикат должны подпадать под ту же самую суппозицию, что и в предложении, которое является истинным само по себе” (т.е. здесь — 2) [Ockham 1957, 71]. Иными словами, в приведенном примере предложение (2) является с современной точки зрения глубинной структурой предложения (1), содержащейся в нем чистой ”пропозицией”.

Сказанное здесь Оккамом является также ядром более широкого и общепринятого у схоластов (и вплоть до логики Пор-Рояля в XVII в.) понятия ”экспонибилия” (*exponibilia*) — так называли те предложения, которые являются по существу сложными, но, поскольку их сложный состав не выражен во внешней форме, требуют анализа, ”развертывания”, ”экспозиции” — отсюда и сам термин.

1.3.2. Суппозиция персональная общая (*communis*) делится на: 1.3.2.1. определенную (*determinata*) и 1.3.2.2. смешанную (*confusa*). Под первой понимается такая суппозиция, когда можно совершить нисхождение вплоть до индивидов (*ad singulalia*) посредством дизъюнкции, как в правильном выводе, например: ”*Homo currit, igitur iste homo currit, vel ille*” — здесь при переводе как на английский, так и на русский язык возникают трудности, хотя и разного рода, объясняющиеся особенностями латинского языка, на котором, как обычно, написаны трактаты Оккама: латинский язык не имеет артикля (в отличие от английского), и общее имя, в данном случае *homo*, воспринимается в неопределенном смысле (в отличие от русского, где оно в подобных случаях воспринимается, скорее, как общее — ”человек вообще”), ближе всего к латинскому будет такой перевод: ’Некий человек бегаёт, следовательно, этот человек бегаёт или тот человек бегаёт’, но по-латыни ”человек” в первой позиции сохраняет при неопределенном значении и общее значение. Для истинности этого предложения, замечает Оккам, достаточно того, чтобы какая-либо определенная единичная суппозиция была истинной (”тот бегаёт”, ”этот бегаёт”), хотя бы все остальные были ложными. В этом пункте Оккам развивает свою теорию логического вывода.

1.3.2.2. Суппозиция персональная общая смешанная — это всякая персональная подстановка общего имени, которая не является определенной (*determinata*), т.е. определяется относи-

тельно последней как "немаркированный", беспризнаковый член противопоставления. Она делится на: 1.3.2.2.1. просто смешанную (*confusa tantum*) и на 1.3.2.2.2. смешанную и дистрибутивную (*confusa distributiva*), а последняя делится на: 1.3.2.2.2.1. смешанную дистрибутивную неподвижную (*immobilis*) и 1.3.2.2.2.2. подвижную (*mobilis*). Под первой понимается тот случай, когда можно совершить логическое нисхождение вплоть до индивидов без какой-либо замены частей предложения, под второй — тот случай, когда для такой операции необходима замена частей исходного предложения. (Мы видим, что это еще одна разновидность общего понятия "экспонибилия".) Пример Оккама на этот последний тип суппозиции таков: дано предложение "Каждый человек, кроме Сократа, бегаёт" — нисхождение до индивидов совершается в такой форме: "Платон бегаёт, Ксенофонт бегаёт... и т.д. для каждого человека, не являющегося Сократом"; однако в последнем, единичном, предложении по сравнению с исходным, универсальным нечто опущено, а именно: опущено выражение, означающее исключение, вместе с термином, который этим выражением исключается. Нетрудно видеть в этих рассуждениях Оккама зародыш будущих лингво-логических построений Рассела — дескрипций, поисков референта и т.д.

Если оставить в стороне технику изложения, то по существу между суппозициями Петра Испанского и Оккама имеется очень значительное различие. Во-первых, бросается в глаза, что у Оккама отсутствует второй ярус иерархии, имеющийся в системе Петра Испанского, — разделение общих суппозиций на "естественные" и "привходящие", или "акцидентные". Это противопоставление у Петра Испанского называется латинскими терминами *naturalis* — *accidentalis*, которым в "Синописе" Пселла соответствуют термины *φυσική* — *κατὰ συμβεβηκός*; последний термин — тот же самый, которым в трудах Аристотеля называется привходящий признак (см. выше). Дело в том, что Петр Испанский, как и Пселл, принимает положение Аристотеля о реальной наличности родов в природе (*φυσική*, *naturalis*), о родах как непосредственных выявлениях Сущностей и о привходящих признаках, более или менее случайных для выявления Сущностей. Для номиналиста Оккама это разделение, конечно, совершенно несущественно, и он отбрасывает весь этот ярус иерархии. "Реальное существование, согласно Оккаму, — замечает В.В. Соколов, — принадлежит только единичным субстанциям, обладающим теми или иными качествами, а все остальные аристотелевские категории не имеют никакого соответствия в самой действительности" [Соколов, Стяжкин 1967]. Почти все 10 Категорий Аристотеля (кроме Отношения) Оккам

стремится свести к одной — к Субстанции, причем понимая ее только как "первую сущность" — субстанцию, соответствующую единичным вещам. Так, например, о Действии (actio) он пишет: "Noc nomen actio supponit pro ipso agente, ita ut haec sit vera: 'actio est agens', vel... talis propositio est resolvenda in aliam propositionem, in qua ponitur verbum sine nomine tali, ut ista: 'actio agentis est' aequivalet isti: 'agens agit' (Summ. log., I, cap. 57) — "Это имя *действие* подставляется вместо самого агенса, так что истинной является пропозиция 'действие есть агенс', или... такая пропозиция распадается [преобразуясь] в другую пропозицию, в которой появляется глагол без такого имени, так [например] следующая: 'действие принадлежит агенсу' эквивалентна такой 'агенс действует'". Аристотелевские Категории, кроме "первой сущности" и Отношения (Relatio), оказываются для Оккама знаками операций ума, или, сказали бы лингвисты теперь, символами лингвистических трансформаций. Некоторые исследователи в последнее время вообще рассматривают Оккама как "философа языка" [см., например: Teodoro de Andrés 1969, 58, 70; ср., однако: Стяжкин, Курантов 1978]. Но указанное различие выражает не столько динамику развития учения о суппозициях, сколько стабильное, почти вневременное различие двух систем взглядов.

О динамике учения говорит, скорее, передвижение признаков иерархии. У Петра Испанского на первый ярус иерархии выдвинуто противопоставление "дискретной" суппозиции, т.е. подстановки собственного имени, суппозиции "общей", т.е. подстановки общего, нарицательного имени; все остальное в системе Петра Испанского гласит только о подстановках общих имен. Это положение соответствует, по-видимому, тому, что в системе Аристотеля различаются первые сущности, в обыденном языке выражающиеся обычно собственными именами, и вторые сущности, выражающиеся общими именами. Но в системе суппозиций имеется и другое название для аналогов собственного имени — "персональная суппозиция", означающая именование в контексте предложения любых индивидов, как людей, так и вещей, как в единственном, так и во множественном числе. У Петра Испанского она играет подчиненную роль, занимая место в третьем ярусе иерархии.

Напротив, у Оккама именно этот тип суппозиций выдвигается на первый ярус и, собственно, служит самой начальной точкой отсчета при классификации суппозиций. В этом действительно можно видеть существенное развитие учения: Оккам осознает именование индивидов (каковы бы ни были эти индивиды — люди или вещи) как наиболее общий случай, в то вре-

мя как именование людей посредством их личных имен, имен собственных, действительно лишь специальный частный случай. Далее Оккам прозорливо различает два основных вида такой "персональной суппозиции": именование индивидов посредством имен собственных или посредством указательных местоимений ("дискретная суппозиция") и именование посредством общих имен. Описание последнего, естественно, не может быть исчерпывающим, если сказать о нем только то, что оно использует общее имя (так как общее имя само по себе и именуется лишь общее — неопределенный предмет), поэтому эта рубрика требует подразделения; оно производится в следующем ярусе иерархии. В нем Оккам противопоставляет "определенную, детерминированную" суппозицию общего имени суппозиции "смешанной", и все дальнейшее подразделение последней — это по существу вполне современное учение о способах именования индивидных объектов в предложении различными способами.

Итак, для Оккама профилирующая линия в классификации суппозиций — это последовательное уточнение именования индивидов в рамках предложения (пропозиции), т.е., можно сказать, в современных терминах — проблемы референции и дескрипций.

Для Петра Испанского профилирующая линия иная — противопоставление подстановок "естественного", т.е. сущностного, характера, с одной стороны, и характера акцидентного — с другой; противопоставление подстановок для референции к индивидам (у него — "персональная суппозиция"), с одной стороны, и подстановок вместо смысла, обозначаемого, сигнифицируемого (у него — "простая суппозиция") — с другой. У Оккама последнее различение заранее оговорено и вынесено за рамки собственно классификации (отчего и получилось не дихотомическое, а тройное разделение первого яруса), а у Петра Испанского оно вклинивается в самую суть классификации на разных ее ярусах.

Классификация суппозиций Петра Испанского близка к самой сути учения Аристотеля о категориях, как оно выражено в духе "первой линии" в трактате "Категории". Суппозиции у Оккама, напротив, продолжают, скорее, "вторую линию", линию "Метафизики", сильно видоизменяют ее и открывают по существу новую эпоху лингвистической философии анализа, парадигму философии предиката.

4. "ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ" НА РУБЕЖЕ СХОЛАСТИКИ
И ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.
НИКОЛАЙ КУЗАНСКИЙ

В новом советском издании сочинений Николая Кузанского справедливо отмечено, что его философские идеи — принцип совпадения противоположностей, единства всего существующего, связи всего со всем, диалектики познания — "представляют не только исторический интерес, они могут дать импульс не одному поколению философов-материалистов к разработке сложных проблем бытия и познания" [Николай Кузанский 1979, 45]. Вместе с тем Николай Кузанский, прямой продолжатель неоплатонических идей, преломленных через мистицизм И. Экхарта (ок. 1260—1327/28), — фигура противоречивая [см.: Соколов 1974; Чуева 1963, 71].

В сфере философии имени Николай Кузанский развивает две ее основные линии: 1) учение об имени как учение о сущности, 2) идеи иерархии. Как общее основание этой философии языка они освещаются в разных местах нашей книги (см. также в связи с А.Ф. Лосевым ниже); здесь мы скажем лишь о том, что нового у этого философа сравнительно со схоластами и в чем он предвосхищает философию языка новейшего времени.

В вершине иерархии сущностей Николай Кузанский полагает "максимум" (в котором можно видеть зародыш будущей гегелевской "идеи в себе", до ее "инобытия"). «Если максимум есть тот максимум просто, которому ничто не противостоит, то ясно, что ему не может подходить никакое собственное имя; ведь все имена налагаются, исходя из некоторой неповторимости смысла, благодаря которому одно отличается от другого, а там, где все вещи суть единое, никакое собственное имя невозможно. Гермес Трисмегист справедливо говорит: „Поскольку бог есть всеобщность вещей, ни одно имя не есть его имя собственное, иначе или бога пришлось бы называть всеми именами, или все называть его именем"... Так же и мы находили выше, что максимальное единство — то же самое, что все в единстве. Но еще более точным и уместным именем, чем „все в единстве", представляется „единство", недаром пророк говорит: „В тот день будет Господь един, и имя его — единое» ("Об ученом незнании" I, 74—75 [Николай Кузанский 1979, 88; далее указываются страницы этого тома]. Не лучше ли было бы здесь в соответствии с русской философской традицией перевести "Единое"?). Эти положения предвосхищают один из тезисов Спинозы (см. гл. II, 2) и параллельный тезис А.Ф. Лосева (см. ниже). Но тот и другой развивают тезис Николая Кузанского в двух разных направлениях: Спиноза — по линии пантеизма и философии предиката, Лосев — по линии философии имени.

На этом основании Николай Кузанский излагает далее мысль, которую следует признать одной из самых актуальных для современной семантики, — идею "неконтрастной теории значения". Он говорит: "С другой стороны, единство есть имя бога не в том смысле, в каком мы обычно именуем или понимаем единство, потому что как бог превосходит всякое понимание, так тем более он превосходит всякое имя. Имена налагаются сообразно нашему различению вещей движением рассудка, который много ниже интеллектуального понимания; рассудок не в силах выйти за пределы противоположностей, и нет имени, которому в его движении не противопоставилось бы другое. Соответственно, единству в движении рассудка противоположно множество, или многочисленность. Богу подходит не это единство, а такое, которому не противоположны ни различие, ни множество, ни многочисленность. Такое единство и будет его максимальным именем, свертывающим все в простоте своего единства" [там же, с. 88—89].

В этом рассуждении Николая Кузанского очень важны три момента. Во-первых, источник. Основой всего рассуждения явно служит какая-то идея о "двух способах" именованя — земном (человеческом) и божественном. Нам кажется, источник ее надо видеть в древнейших мифах о происхождении языка. (Мы пользуемся здесь обзором, составленным Б.В. Якушиным [1984].) Согласно древнеиндийскому мифу, изложенному по частям в разных местах Ригведы, бог стал первым "установителем имен" (*namadhān-*, с этим термином можно сравнить др.-греч. *ὀνοματοθέτης*), но он ограничился тем, что дал имена младшим богам; начало же человеческой речи положили люди — первые великие мудрецы, которые занялись этим делом под покровительством Брхаспати, бога красноречия и поэзии. Но это отдаленная параллель.

Ближайшим источником послужила, вероятно, библейская традиция. Согласно Библии, "вначале было Слово" — акт созидания мира начинается божественным словом (ср. греческий *Λόγος*). Дальше библейский миф очень похож на древнеиндийский: создавая мир, бог выступает одновременно и как установитель имен. Но, опять-таки сходно с индийским мифом, он ограничил эту свою деятельность первыми тремя днями творения: в первый день был отделен свет от тьмы, и бог назвал свет днем, а тьму ночью; во второй день он создал твердь и назвал ее небом; в третий день — сушу и "собрание вод", назвав первое землей, а второе морем. Когда же творец перешел к созданию тварей — животных и растений, то он поручил именование Адаму, к которому привел всех животных полевых и птиц небесных (о растениях дальше не говорится),

”чтобы видеть, как он назовет их”, и ”нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым” (Библия, ст. 20).

Библейское предание приобретает новый вид у Ансельма Кентерберийского (1033—1109): божественное слово есть воплощение всепостигающего разума, создающее сущности вещей, но, поскольку это сущности, создаваемые вещи не похожи на создающие слова. Речь же самих созданных тварей, людей, — нечто иное, она лишена всех качеств божественного слова.

Примерно таков идейный контекст рассуждения и у Николая Кузанского. Далее, на этой основе философ различает два слова (имени) ”единство”: одно — слово обычного языка, можно даже сказать всякого языка, Языка вообще; как таковое оно противопоставлено другим словам — ”множество”, ”многое”. Здесь прежде всего Николай Кузанский формулирует принцип, согласно которому значения слов в языке мыслятся лишь в противопоставлении одно другому, оппозитивно. Это начало оппозитивной, или контрастной, теории значения, основной принцип которой (”в языке нет ничего, кроме различий”) был гипертрофирован Ф. де Соссюром и которая признавалась единственно возможной во всех направлениях структурализма.

Но мысль Николая Кузанского идет дальше: он рассматривает имя бога (второе имя ”единство”) как категорию, которая, как категория, не вступает ни в какие отношения оппозиции или контраста с другими сущностями и их именами. И вместе с тем это — семантическая категория. Таким образом, развертывая учение об имени бога, философ одновременно закладывает здесь основания иной, неконтрастной теории значения.

Эта теория стала ”черным животным” всех сторонников логического позитивизма, Рассела и философов ”лингвистического анализа” в середине нашего века. На борьбу с ней они затратили много теоретических усилий и много желчи. Неконтрастные термины, а следовательно, и категории, и понятия ”бытие вообще”, ”существование вообще” представители логического позитивизма отнесли к — по их мнению — ”запрещенным уровням абстракции”. Николай Кузанский, естественно, не признает никаких запретов на уровнях абстрагирования.

В другом месте он весьма тонко и лингвистически обоснованно продолжает деление двух уровней абстракции в форме диалога:

”Язычник. Не именуете ли вы бога — богом?

Христианин. Именуем.

Язычник. Истину вы при этом говорите или ложь?

Христианин. Ни то, ни другое, ни то и другое. Не истинно сказать, что это его имя, но и не ложно, потому что не ложно то, что есть его имя...

Язычник. Почему вы называете богом того, чье имя не знаете?

Христианин. Из-за подобия ему означаемого этим именем совершенства... Бог в нашей области — как видение в области цвета... От видения зависит всякое наименование в области цвета, но имя самого видения, от которого всякое имя, оказывается скорее никаким, чем каким-то. Вот, бог относится ко всему, как видение к видимым вещам" [Николай Кузанский 1979, 287] (см. аналогию со светом в гл. I, 5).

У этого рассуждения есть, кроме того, и социальное и лингвистическое основание — языковое табу, запрет именования. Во многих языках имена предков, начальников родов, душ умерших, зверей — предметов охоты и т.п. предполагаются как бы известными, но запрещенными к упоминанию; вместо запрещенного имени сущности следует произносить подставное — временное, случайное. "Подлинное" имя может быть с течением времени забыто, и тогда подставное имя навсегда остается в языке. Русское слово *медведь* букв. 'меду-ед, едящий мед' — такое подставное имя, табу, вместо какого-то иного, полностью забытого; возможно, что им было какое-то имя, родственное лат. *ursus*, др.-инд. *ṛkṣaḥ*, др.-греч. *ἄρκτος*, которые все восходят к одному и тому же индоевропейскому корню и обозначают одно и то же животное.

Нам кажется, у Николая Кузанского формируется, но не формулируется следующее общее положение философии имени (оно станет потом основанием символизма, в частности поэтики русского символизма): Имя — подлинное имя — всегда одно по отношению к сущности вещи; оно выражает сущность, оно — Имя Сущности; но в конкретных языках и в еще более частных случаях отдельных словоупотреблений в них вместо этого Имени является множество более или менее случайных наименований; задача философа (и поэта) имени — через случайность и множественность именовании проникнуть к Имени и тем самым к Сущности.

Наше толкование может показаться слишком уж определенным. Но приведем в доказательство следующее место ("Простец об уме", 58): "Если более тщательно рассматривать вопрос о значении этого наименования (*vocabuli*), то я полагаю, что таящаяся в нас способность заключать в понятиях первообразы всех вещей, называемая мною умом, вообще не может получить соответствующего имени (это к тому же идея метаязыка и метаимени, сходная с отношением видения к видимым цветам, о чем шла речь выше; метаима не может быть именем языка-объекта. — Ю.С.). Как человеческий рассудок не достигает сущности божиих творений, так не достигает ее и имя. Ведь наи-

менования даются в результате движения рассудка. Именно на определенном основании мы называем одну вещь одним именем и ту же вещь на другом основании — другим; и в одном языке есть наименования, соответствующие предмету, в другом — более грубые и более отдаленные. Отсюда я усматриваю, что если соответствие наименования предмету может быть большим и меньшим, *точного наименования мы не знаем*" (перевод А.Ф. Лосева; курсив наш. — Ю.С.).

Далее Простец (а это сам автор) продолжает: «Поэтому, если погибнет человечество, человечность в качестве видового понятия, подлежащего наименованию (обозначим ее „человечность₁“, как выше „единство₁“. — Ю.С.), и в качестве сущности только для рассудка, которую рассудок обретает на основании сходства людей, перестает существовать: ведь она зависела от человечества, которого нет. Однако из-за этого не перестанет быть человечность (обозначим ее как „человечность₂“, подобно тому как выше „единство₂“. — Ю.С.), через которую появилось само человечество. Эта человечность не подлежит наименованию как видовое понятие, то есть поскольку наименования даются в результате движения рассудка. Но она есть истина того, подлежащего наименованию, видового понятия. Поэтому, хотя отображение истины разрушено, истина остается у себя. И все, думающие так, отрицают, что вещь есть только то, что подлежит наименованию» [Николай Кузанский 1979, 393].

Мы уже отмечали (см. гл. I, 1) и увидим ниже (в связи с концепцией Рассела), как "философы предиката" настойчиво отрицают это положение философии имени: для них вещь есть лишь то, что подлежит именованию, то, что именуется языком как вещь или выступает в предложении как терм.

Напротив, эта мысль возрождается в современных семантических концепциях, связанных с интенциональной и модальной логикой, — таких, как "грамматика Монтегю" (о них будет речь ниже). Р. Монтегю идет даже так далеко, что утверждает: если грамматика, т.е. семантика и синтаксис, английского языка такова, как он, Монтегю, ее в своей концепции представляет, то ни один носитель английского языка в принципе не может знать значений слов английского языка (т.е., если воспользоваться предыдущим примером, слов типа "человечность₂") [см.: Холл Парти 1983, 285].

Подобная концепция языка (а она же, в соответствии с первым положением философии имени, — и концепция сущности, и концепция бога) естественно влечет Николая Кузанского к "отрицательному богословию", к апофатике, т.е. к богословию, не изрекаемому в определениях. Непосредственным образом Николай Кузанский воспринял идею отрицательного, или

апофатического, богословия от Экхарта. Но ее дальним источником является ранняя христианская патристика. Наиболее полное первое обоснование ее находят в анонимном трактате "Ареопагитики", написанном на греческом языке во второй половине V в. О боге там, в частности, сказано: "И вот, поняв это, богословы восхваляют его как безымянного и в то же время как носителя всякого имени" [Антология мировой философии 1969, I (2), 612].

Следующее высказывание "Ареопагитик" могло бы до некоторой степени разрешить спор между сторонниками и противниками "неконтрастной теории значения": "Теперь нам следует перейти к подлинной сущности богословского наименования действительно сущего... Имя сущего распространяется на все существующее, но и превосходит его; имя жизни — на все живое, превосходя его; имя же премудрости — на все мыслящее, словесное и чувствующее и вместе с тем превыше всего этого" [там же, с. 616]. У этого рассуждения "Ареопагитик" есть подлинное языковое основание: имя класса имен в некотором смысле не принадлежит к тому же языку, что имена, входящие в класс; это одно из неявных оснований "дерева Порфирия" [см.: Степанов 1981, 74, 336].

Апофатика в связи с символизмом стала краеугольным камнем к "философии имени" Лосева. Николай Кузанский в той же мере предшественник Лосева, в какой сам — наследник Платона и в определенном отношении Аристотеля. Поэтому резюме систем обоих великих греков, данное Николаем Кузанским, проясняет сущность его собственной системы и для нас служит введением к "философии имени" Лосева. Вот это резюме:

"Платон, взирая на образ создателя, наиболее совершенно присутствующий [именно] в способности умопостижения (в которой ум уподобляет себя божественной простоте), ее и положил начальным элементом и субстанцией ума, которая, по его утверждению, остается после смерти. Эта субстанция в порядке природы предшествует разумному познанию, но вырождается в последнее, когда отклоняется от божественной простоты, в которой все едино: и она хочет все созерцать в себе, как всякая вещь имеет бытие особенное и отличное от другого. Затем ум вырождается еще более, когда в движении рассудка он воспринимает вещи не в себе, но так, как форма существует в изменчивой материи, где ум не может достигать истины, но обращается к образу (учение об образе как символе — одно из оснований концепции Лосева. — Ю. С.). Напротив, Аристотель, который все рассматривал в качестве подпадающего именованию, как ковое налагается в результате движения рассудка, делает начальным эле-

ментом рассудок и, вероятно, утверждает, что рассудок через науку, возникающую при помощи слов, восходит к разумному познанию, а затем к наивысшей ступени — к умопостижению. Поэтому он и полагает рассудок начальным элементом при восхождении к интеллекту; Платон же полагает умопостижение начальным элементом ее нисхождения. Таким образом, между ними не оказывается разницы, разве что в способе рассмотрения" (Простец об уме, 152—3; перевод А.Ф. Лосева) [Николай Кузанский 1979, 439—440].

Мы видим также в этом рассуждении отдаленный прообраз диалектики Гегеля. К одному тезису Николая Кузанского мы еще вернемся в связи с А.Ф. Лосевым.

5. "ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ" А.Ф. ЛОСЕВА

Учение Алексея Федоровича Лосева (род. 1893 г.), если рассматривать его с точки зрения проблематики нашей книги, является семантическим учением об имени и охватывает все главные семантические назначения имени — от именованной вещи, через сигнификацию "эйдоса", "идеи" и "логоса" (понятия), вплоть до слова как формы символа и мифа. В этом смысле у Лосева идет речь о слове вообще, но, конечно, имеется в виду прежде всего имя ("слово" и "имя" в основной части его концепции — синонимы). Предикаты и эгоцентрические слова, тяготеющие совсем к другим типам философии языка, у Лосева специально не рассматриваются и даже не попадают в поле его зрения.

Нужно очень ясно представить себе положение концепции А.Ф. Лосева в контексте философских идей. Иногда считают, что А.Ф. Лосев создал одну из самых оригинальных философских концепций XX в., соединив некоторые положения феноменологии, близкие к концепции Гуссерля первого периода, с диалектикой. Вернее, однако, будет охарактеризовать концепцию А.Ф. Лосева словами современного советского историка философии: "Конечно, в 20-х гг. философия А.Ф. Лосева носила идеалистический характер. Но было бы несправедливо приписывать ему такой идеализм, который не имеет ровно никакого отношения к материализму. В этот ранний период своего философского творчества А.Ф. Лосев скорее колебался между материализмом и идеализмом... Идею как модель для чувственной материи и как руководство к практическому действию, и человеческому, и космическому, А.Ф. Лосев впервые позаимствовал из античной космологической диалектики и из общеантичной тенденции к стихийному материализму. Решающую роль здесь сыграло приобщение в конце 20-х — начале 30-х гг. к марк-

сизму-ленинизму, углубившее и расширившее диапазон материалистической трактовки идеи и поставившее А.Ф. Лосева на путь социально-исторического завершения философской системы” [Джохадзе 1983, 15—16]. Сам А.Ф. Лосев говорит: “Я хотел... дать очерк диалектической феноменологии мысли” [Лосев 1927а, 31; далее цитируются страницы этого издания].

Естественно, что “Философия имени” (первый вариант названия — “Диалектика имени”) — основной труд А.Ф. Лосева, заверченный в 1923 г. (издан в 1927 г.), — по самому существу дела стала и “философией сущности” и основной частью философии вообще. “Почему все это является логикой имени, учением об имени, философией имени? О сущности мы ведь говорим не менее, чем об имени. Почему наше исследование мы не назвали философией или логикой сущности? Далее, не менее мы говорим о материи, о меоне. Почему бы нам не назвать наш анализ философией меона?” (с. 178). (Меон — от др.-греч. μή ὄν букв. ‘не сущее’.)

Ответ на этот вопрос — резюме всей лосевской системы: “Возьмем диалектику сущности. Мы видели, что она имеет определенную диалектическую судьбу. Она сначала — *число*, и это есть первичное и наиболее общее определение сущности³. Можно, конечно, писать специально логику числа, но эта логика числа, разумеется, не может быть равносильна логике сущности вообще. Далее, сущность есть *эйдос*. И это определение — не полное. Только в символическом и магическом мифе, как мы видели, сущность достигает своего полного определения. Но это как раз и есть *имя*. Что же лучше теперь: сказать ли, что мы занимались логикой сущности или логикой имени? Второе определение, конечно, гораздо богаче и полнее... Диалектически вывести имя и значит вывести всю сущность со всеми ее подчиненными моментами. Но спросят: почему вы останавливаетесь на имени? Действительно, имя переходит дальше, становится инобытийным⁴... Имя есть высшая точка, до которой дорастает первая сущность — с тем, чтобы далее ринуться с этой высоты в бездну инобытия” (с. 180).

И естественно тогда, что «... философия имени есть самая центральная и основная часть философии вообще (и не только философии!), и настоящий труд с тем же успехом можно было бы назвать „введением в философию” или „очерком системы философии”. Я же скажу больше. Имя — как максимальное напряжение осмысленного бытия вообще — есть также и основание,

³“Сущность есть: 1) *одно*, единичность, стоящее выше определения и в этом смысле *сверхсущее*...” [Лосев 1927а, 107].

⁴“Этот термин Лосева понятен в связи с известным гегелевским термином “инобытие идеи”.

сила, цель, творчество и подвиг также и всей жизни, не только философии» (с. 181).

В первой части книги (I. Допредметная структура имени) Лосев рассматривает моменты сущности диалектически и динамически, как "порождение" (за 40 лет до "генеративизма" XX в.! Но сходно с "генеративизмом" Шеллинга 1800 г. и Гегеля): "Надо одну категорию объяснить другой категорией, так, чтобы видно было, как одна категория порождает другую и все вместе — друг друга, не натуралистически, конечно, порождает, но эйдетически, категориально, оставаясь в сфере смысла же" (с. 8). Это радикально разделяет его и Гуссерля.

Чтобы дальнейшее было понятным, надо иметь в виду, что для Лосева «только смысл есть бытие, а „иное“ — не бытие» (с. 96); "иное" — это "не-сущее", меон (греч. "не-сущее") или, "выражаясь более грубым, хотя и более обычным языком, — материя" (с. 59).

Вначале существует только "смысл" и больше ничего. Смысл, противопологаясь "иному", которое есть инобытие, граница и очертаение смысла, получает инобытие, которое проходит различные ступени, а меон, соответственно этим ступеням, получает осмысление и одновременно бытие. Этот процесс, знакомый нам по трудам Шеллинга и Гегеля, у Лосева есть не что иное, как иерархия смысла и бытия — обычная категория в учениях о сущности и в философии имени.

Все эти ступени иерархии, как у Платона от Единого, через Ум и Душу, к Космосу, — разные ступени слова, имени. На первой ступени оно — неживая вещь, на второй — органическое начало, растение, затем животное; далее — "умное имя" как сознание человека и, наконец, "сверхумное имя" как само себя сознающее. «Между началом и концом — „нормально-человеческое" слово, которое, будучи разумной идеей, обрастает своими собственными меональными качествами, заимствованными из разных диалектических стадий имени вообще, как, например, звуковым телом, значением *hic et nunc* (здесь и теперь. — Ю.С.) и теми или иными психологическими вариациями. Все эти стадии, или ступени, — образы взаимоопределения смысла, или сущности, и „иного"» (с. 96).

Но эти же ступени можно рассмотреть и статически, предметно, как "отложения" в смысловой структуре имени. Эта идея Лосева несколько напоминает понятие "осадка" (*sédimentation*) в системе М. Мерло-Понти (см. гл. V, 2), предвосхищает последнее. У Лосева этому вопросу посвящена вторая часть книги (Предметная структура имени). Здесь рассматриваются пять ступеней, или форм, "эйдетической предметности имени": 1) схема (ср. современное понятие "структура слова"), 2) топос, или морф

(ср. корень, аффиксы слова), 3) эйдос в узком смысле, 4) символ, 5) миф. Эйдос здесь — полное смысловое единство слова, рассматриваемое в нем самом. Символ — отражение инобытия смысла в эйдосе. О мифе ниже будет сказано особо.

В заключение вводится понятие логоса, в сравнении с эйдосом. Если эйдос — живая данность смысла, то логос — это сущность самого эйдоса, его абстракция, понятие, совокупность перечислимых признаков, структура и метод подхода к сущности. "Эйдос имеет свою собственную логику, а именно диалектику" (с. 124), а "логика логоса" — это просто логика.

Последняя часть книги (Имя и знание) посвящена логосам и логикам разных дисциплин — эстетике, грамматике, мифологии и др.

Отметим в "Философии имени" еще некоторые моменты, которые (кроме уже названного понятия иерархии) связывают ее с другими философскими системами или противопоставляют им.

Образ света как основная иллюстрация. Вообще, Лосев в "Философии имени" против иллюстраций и примеров; система, подчеркивает он, должна быть понятна из нее самой [ср. об. этом также: Степанов 1981, 24]. Но есть одно исключение — образ света. "Представим себе сущее как свет. Тогда меон будет тьмой. Это — основная интуиция, лежащая в глубине всех разумных определений. Она наглядно воспроизводит взаимоотношение ограничивающего меона и ограниченного сущего, о чем была речь выше. Ею необходимо руководствоваться во всех феноменолого-диалектических конструкциях сущего" (с. 60). Различные сочетания и градации света и тьмы и иллюстрируют разные ступени смысла.

Вообще нужно сказать, что соотношение света и тьмы является одним из наиболее показательных примеров языкового, семиотического в широком смысле, явления: связи "означаемого" и "означающего". В античности все представления об идеальном мире связаны с пониманием зрения, света, отражения в зеркале [подробно об этом см.: Степанов 1971, 129—133]. Да и сам термин "отражение", и далее "теория отражения", имеет в основе представление о простом явлении — отражении света от блестящей поверхности.

Но более непосредственно, и даже текстуально, эта мысль Лосева связана с "пирамидой света" Николая Кузанского (первым издателем его сочинений на русском языке был сам Лосев). «Вообрази пирамиду света проникшей во тьму, — пишет Николай Кузанский в сочинении „О предположениях“, — пирамиду же тьмы — вошедшей в свет и своди все, что можно исследовать, к этой фигуре, чтобы с помощью наглядного руководства ты смог обратить свое предположение на скрытое,

дабы, опираясь на пример, ты увидел Вселенную, сведенную к нижеследующей фигуре" [Николай Кузанский 1979, 206]. Здесь дается следующая фигура: два равнобедренных, вытянутых к вершине, треугольника вдвинуты один в другой, так что вершина одного касается изнутри основания другого; средняя часть получившейся фигуры, ромб, еще подчеркнута тем, что в каждом треугольнике, примерно на половине высоты, проведена линия, параллельная основанию. Один треугольник символизирует пирамиду света, в ее основании написано "Единство"; другой — пирамиду тьмы, и в ее основании написано "Инакость". По левому ребру от "Инакости" вверх к "Единству" располагаются термины: "Первое небо", примыкающее к "Инакости", "Второе небо" — посредине, "Третье небо", примыкающее к "Единству". По правому ребру, в том же порядке, — "Низший мир", "Средний мир", "Высший мир".

Затем Николай Кузанский продолжает: "Обрати внимание на то, что бог, будучи единством, представляет собой как бы основание [пирамиды] света, основание же [пирамиды] тьмы есть как бы ничто. Все сотворенное, как мы предполагаем, лежит между богом и ничто. Поэтому, как ты наглядно видишь, высший мир изобилует светом, но не лишен тьмы, хотя тьма кажется исчезнувшей в свете из-за его простоты. В низшем мире, напротив, царит тьма, хотя он не совсем без света; однако фигура обнаруживает, что этот свет во тьме скорее скрыт, чем проявлен. В среднем мире соответственно средние свойства, так что если ты исследуешь промежутки порядков и пространства, то делай это посредством подразделений" [там же, с. 207].

Теперь нужно обратить внимание на то, что у этой идеи, которую не впервые, конечно, но так четко выразил Николай Кузанский, имеется и другая линия развития — чисто логическая (линия же которую продолжает А.Ф. Лосев, является "эйдетической", и о противопоставлении "зйдоса" и "логоса", "логики" будет сказано ниже). Она представлена в русской философии В.Н. Карповым (1798—1867). Карпов трактует соотношение "пирамид" чисто логически, как соотношение "объема" и "содержания" понятия. Констатируя известный логический закон (чем больше объем понятия, тем меньше его содержание), Карпов пишет: «Если бы... объем мы положили равным нулю, то содержание превратилось бы либо в неделимое (т.е. индивид. — Ю.С.) — предмет чувства, либо в сущность — предмет ума. А когда, на высшей степени отвлечения, содержание стало бы нулем, — мыслимо сделалось бы понятием онтологическим. Как это может получиться, что при одном и том же направлении сужения объема, к нулю, содержание может измениться столь различными способами, остается у Карпова не вполне

ясным, но до некоторой степени, кажется, разъясняется его различием "материального" и "идеального" расширений. Здесь Карпов замечает: "Отсюда видно, что понятие развивается, во-первых, как бы сверху вниз, в виде пирамиды, — и это есть расширение материальное, производимое через ограничение понятия. Пирамидально также растет оно и тогда, когда идет путем отвлечения, снизу вверх; только тут бывает расширение идеальное, — пирамида основанием обращается вверх. В первом случае понятие приближается к неделимому (индивиду. — Ю. С.), а в последнем — к бытию онтологическому» [Карпов 1856, 97].

Здесь Карпов помещает схему пирамиды из двух пересекающихся треугольников, как у Николая Кузанского. В основании одного треугольника, где у Николая Кузанского "Единство", у Карпова — "онтологическое понятие", "содержание=0"; в основании другого треугольника, где у Николая Кузанского "Инакость", у Карпова — "неделимое (индивид)", "объем=0". Что Карпов понимает под "онтологическим", разъясняется им так: онтологические существа — простые существа в формах пространства и времени, "ничего не имея наконец" (т.е. в процессе отвлечения) в себе, все содержат под собою, как чистые объемы, подобные Фихтеву "Я" или Платоновой материи — по платоновскому выражению, "обратное принятие всех вещей".

Идея Карпова, по существу идея чисто семантическая, находит далее синтаксический аналог — в идее Витгенштейна о форме предложения: предложение располагается между тавтологией (что аналогично карповскому "онтологическому понятию") и противоречием (это аналог карповского "неделимого") [см. об этом подробнее: Степанов 1981, 231]. В поэтическом виде "пирамида света" отразилась, как нам кажется, в известном "цветном сонете" Рембо (см. ниже).

"Логика эйдоса" и "логика логоса". Первая, как уже было сказано, по Лосеву, есть диалектика, вторая — просто логика. Их сопоставление изложено в связи с понятиями "объем" и "содержание". В логике (т.е. в "логике логоса") действует принцип обратного соотношения объема и содержания (чем больше объем, тем меньше содержание — как количество признаков, и наоборот). В эйдосе этот принцип не действует: «В эйдосе — чем больше мы перечисляем его „признаков“, тем он становится сложнее, тем больше охватывает самого себя, тем большее количество моментов можно под него подвести... В эйдосе — чем предмет общее, тем индивидуальнее, ибо тем больше попадает в него различных признаков, тем сложнее и труднее находим получающийся образ. В логосе — чем предмет общее, тем формальнее, тем более прост, потому что тем более приходится выкидывать из него различных моментов и „содержания“...

Так, с точки зрения эйдоса эйдос „живое существо” богаче эйдоса „человек”, ибо в эйдосе „живое существо” содержатся, кроме эйдоса „человек”, и все другие виды живых существ. Содержание эйдоса „живое существо” *шире* „содержания” эйдоса „человек” — параллельно с увеличением „объема”... Только в формальной логике и может идти речь о разнице между „объемом” понятия и „содержанием” его; она возникает благодаря тому, что эйдос мыслится в модусе оформления и осмысления меона; то, что в эйдосе интуитивно мыслится как смысловое изваяние предмета, в логике дано как абстрактное перечисление признаков, как „содержание”, а то, что в эйдосе совсем не мыслится — абсолютно-меональное окружение, — то самое в логосе, поскольку последний — форма осмысления эйдосом меона, играет роль принципа, ограничивающего значимость эйдоса в пределах данной степени взаимоопределения эйдоса и меона, и дано как объем понятия, причем совершенно делается понятным, что с увеличением этого объема, т.е. с уменьшением меонизированности эйдоса, „содержание”, т.е. количество меональных моментов, уменьшается, а чем меньше объем, т.е. чем в большую тьму погружается эйдос, тем богаче „содержание” понятия, т.е. тем больше меоном захваченных элементов эйдоса. Понять все это сможет только тот, кто переживает конкретность и индивидуальность общего и для кого абстрактно то, что наиболее раздроблено и пестро. Для эйдетики — „живое существо” есть богатый эйдос, а „бытие” — эйдос еще более живой, более богатый и конкретный; вместе с этим „человек” для него гораздо более абстрактен, еще более абстрактен „европеец”, еще более „француз” и — наивысшая абстракция — „француз, живущий в Париже в такое-то время и в таком-то месте”. Обратное — для формальной логики» [Лосев 1927а, 127—129].

Логос не обосновывает сам себя. „Он есть лишь метод объединения”; он лишь метод объединения смыслов согласно узреваемому в эйдосе. „А эйдос обосновывает сам себя, он — смысловая и цельная картина живого предмета” [там же, с. 131].

Апофатика. Как уже было сказано (гл. I, 4), это понятие возникло первоначально в связи с так называемым отрицательным (по-гречески — апофатическим) богословием в патристике. Но уже у Николая Кузанского оно постепенно, через проблему отрицательного, апофатического определения бога и его имени, переходит в ту область, которую мы теперь назвали бы семантикой. Эта линия развивается и Лосевым. Апофатика Лосева связана, по-видимому, еще и с некоторыми идеями Вл. Соловьева. Но мы проследим ее именно по семантической линии в связи с учением о символе. „Апофатика, — указывает Лосев, —

предполагает символическую концепцию сущности" [Лосев 1927, 165]. Иными словами, речь идет о невыразимости сущности вполне через словесные определения и о символе как о максимально возможном в слове выявлении сущности.

В "Философии имени" Лосев использует символизм и апофатизм своей системы для противопоставления ее другим, прежде всего агностицизму и позитивизму. Он говорит: «Символизм есть апофатизм, и апофатизм есть символизм. Разорвав эти две сферы, мы получим или агностицизм с пресловутыми „вещами в себе“, которых не может коснуться ни один познавательный жест человеческого ума, так что все реально являющееся превращается или в беспросветное марево иллюзий, или в порождение человеческого субъективного разума, или получим уродливый позитивизм, для которого всякое явление и есть само по себе сущность⁵, так что придется абсолютизировать и обожествлять всю жизненную текучесть со всей случайностью и распространенностью ее проявлений. Только символизм спасает явление от субъективистского иллюзионизма и от слепого обожествления материи, утверждая тем не менее его онтологическую реальность, и только апофатизм спасает являющуюся сущность от агностического негативизма... Сущность есть, и явление есть. И вот явление проявляет сущность. Но не должны мы рассуждать так, что хотя сущность есть и явление есть, последнее не проявляет ее, и не так, что сущность есть, но нет никакого явления ее, от нее отличного, и не так, что явление есть, но нет никакой его сущности, от него отличной. Так символизм и апофатизм суть едино» [Лосев 1927а, 121—122].

Учение о символе перерастает в системе Лосева в учение о мифе. Перерастание это важно учитывать, потому что оно не исключительно лосевское, а в той или иной степени присуще всякой философии имени. Оно помогает понять, как символизм связан с современным мифом, и в частности то, почему символ в русском символизме и миф у Томаса Манна соприкасаются в рамках поэтики, несмотря на разные мировоззрения авторов.

⁵ Что мы в действительности и находим у Рассела, который изгоняет понятие "сущность" как *substantia*, чуть-чуть более терпимо относится к "сущности" как *essentia*, еще более терпимо — к "сущности" как *ens* (*entity*); представители логического позитивизма, тоже отрицая два первых, признают последнее как референт индивидуальных имен (*singular terms*).

6. ПОЭТИКА ИМЕНИ. СИМВОЛИЗМ

6.0. Вводные замечания.

Поэзия, поэтика, семиотика имени

Духом символа проникнута вся философия имени. Не только учения схоластов о символике, как, например, энциклопедия Рабана Мавра (ок. 780—856), о которой, впрочем, нужно сказать несколько слов. Рабан Мавр сыграл большую роль в немецкой культуре и получил титул *praeseptor Germaniae* (наставник Германии). Его энциклопедия, обычно называемая кратко "De universo" ("Обо всем мире"), в своем полном заголовке содержит по существу целую программу познания — "De rerum naturis et verborum proprietatibus et de mystica rerum significatione" ("О природах вещей и свойствах слов и о тайном значении вещей"). Этот длинный объясняющий заголовок и сам замысел произведения — как бы первые предвестия немецкого средневекового символизма и позднейшего романтизма. В энциклопедии включены имена всех известных автору вещей — от конской сбруи и печного горшка до высших ступеней духовной иерархии. "Природы вещей" — не что иное как значения имен вещей, и чтобы познать сущности вещей, достаточно знать этимологию имен. По этой же причине, зная имя существа, нет необходимости специально удостоверять его существование. Пожалуй, это первый прообраз будущей проблемы "определенных дескрипций" Б. Рассела. Согласно Рабану Мавру, имена вещей могут быть противоречивы, но сущности, которые стоят за ними, ясны и несомненны, и задача ученого суметь указать путь от имен к сущностям. Слово "лев", например, может означать, с одной стороны, дьявола, с другой — Иисуса Христа, тем важнее уметь правильно истолковать смысл.

Не только в таких прямых "лексиконах", но во всех учениях схоластики, по крайней мере во всех тех, которые признают категорию "сущность" и ее иерархию и, следовательно, учат восходить от видимого мира к его сущности, царит понятие символа (исключение составляют, естественно, только доктрины крайнего номинализма, как, например, Оккама; эта линия приведет в дальнейшем к идее самодовлеющей ценности языка, к "синтактической поэтике", "поэтике предиката", в частности к русскому формализму).

Признающие символизацию философские учения были не чужды эстетического любования своими символами. Эригена (ок. 810 — ок. 877) писал: "Видимые формы, созерцаемые либо в природе, либо в святейших таинствах божественного писания, не ради них самих созданы... но являются образами незримой красоты", они "открывают уму чистые формы умопостигаемых

вещей" [см.: Трахтенберг 1957, 42]. Последовательно развито учение о символе в "философии имени" Лосева.

Отвечающее философии имени искусство, не только средневековое, но и современное, видящее свою цель в поисках сущностей за видимыми формами явлений, можно назвать "поэзией имени". Это — "семантическая поэзия", в том смысле, в каком, по определению, семантика заключена в отношении знаков языка к объектам внешнего мира. Это — "семантическая поэзия", доведенная, если так можно выразиться, до предела и даже заглядывающая за предел: "поэты имени" стремятся пройти путь от слова к предмету и, как бы выполнив таким образом определение семантики, пойти еще дальше, проникнуть через предмет к сущности. Подобно Буратино в известной сказке, они рискуют проткнуть холст, пытаясь заглянуть по ту сторону явленной картины мира.

Поэзия — это практика, само творчество; поэтика — учение, доктрина, теория, но теория самих поэтов, осмысляющих свое творчество; семиотика поэзии — теория ученых. Поэтику и семиотику (искусства) можно рассматривать как две ступени абстракции, из которых семиотика — абстракция большая. Но и поэтика и семиотика лишь следуют за поэзией, за практикой. Искусство предшествует теории искусства.

"Поэзия имени", символизм, в разной мере развивалась во все времена, но ее поэтика была осознана лишь в определенном течении искусства — в символизме 1880—1900-х годов во Франции и десятилетием позже в России. "Да, я знаю, мы не изобрели символ, — писал французский символист Анри де Ренье ("Ответ на анкету", 1891 г.). — Но до сих пор символ лишь инстинктивно возникал у художника в произведении искусства, независимо ни от какого заранее обдуманного принципа, просто потому, что художник ощущал невозможность подлинного искусства без символа. Современное движение — иное: оно делает из символа основное условие искусства, из которого хотят изгнать все то, что называют, как мне кажется, проявлениями случайности (*les contingences*) — случайные черты среды, эпохи, отдельные события" (H. de Régnier, Réponse à une enquête [цит. по изд.: Michaud 1969, 747]). "Поэтику имени" надо теперь брать в ее наиболее развитой форме, как поэтику символизма, и по этому "пику" судить о ее возможностях и ее общих чертах.

"Поэты имени", как их можно называть, символисты, как они сами себя называли, это — Малларме, Мореас, Морис, Бажю, Кийар, Мерриль, Гиль, де Ренье, Дюжарден, Кан, Вьеле-Гриффен и др. во Франции; Мокель, Роденбах, Метерлинк, Верхарн — в Бельгии; Вяч. Иванов, Блок, Брюсов, Белый,

Мережковский, С. Соловьев, Бальмонт и др. — в России; отдельные, зачастую крупные, поэты — в других странах.

Теоретиков "поэтиков" символизма, меньше — Малларме, Мореас и некоторые другие во Франции; Блок, Брюсов, Иванов — в России.

Семиотик символизма — один, Андрей Белый ("Символизм", 1910; "Поэзия слова", 1922). Белый сделал попытку, исходя из поэзии символизма (практики) и его поэтики, произвести дальнейшее обобщение и создать общую теорию искусства (семиотику) (самого слова "семиотика" Белый не употреблял). В основе семиотики Белого — в полном соответствии с практикой символизма — лежит семантика; это попытка построить теорию искусства в одном измерении, опыт семантической теории искусства.

Точно так же в основе семиотики русского формализма, в соответствии с иной художественной практикой, главным образом футуризма и авангардизма, лежит синтактика; это также попытка построить теорию искусства в одном измерении — опыт синтактической теории искусства. И наконец, точно так же в основе работ французских семиотиков 1960—1970-х годов лежит, в соответствии с новой художественной практикой, одно измерение — прагматика (дектика); это опыт прагматической (дектической) теории искусства.

Полностью ни один опыт не удался; но все они взаимодополнительны. Может ли удался их синтез — новый опыт семиотической теории искусства? Это вопрос открытый. Но, видимо, и здесь прежде синтеза в теории должна быть новая художественная практика.

Кроме "участников символизма" есть еще и "наблюдатели символизма" — исследователи, авторы зачастую капитальных работ. Одного из них нужно упомянуть с самого начала: Ги Мишо выпустил в 1969 г. (написанный в 1947 г.) прекрасно документированный труд "Поэтическое достояние символизма" [Michaud 1969]. Вторую часть этой книги составил свод текстов — теоретические высказывания символистов и о символистах, вне этого свода уже труднодоступных; мы используем его ниже как источник, но со своей интерпретацией [везде далее: Michaud 1969].

Символизм как компонент искусства вечен (это справедливо отметил де Ренье). Но символизм как течение исторически ограничен и даже недолговечен. Он возник как реакция на другие, столь же ограниченные исторически течения, — натурализм в искусстве и позитивизм в философии. "Символисты, — писал Брюсов, — решительно отрицали такой метод творчества (натурализм. — Ю.С.), обращавший искусство в простое

отражение жизни, и настаивали, что в истинно художественном создании за внешним конкретным содержанием всегда должно скрываться иное, более глубокое. На место художественного образа, определенно выражающего одно явление, они поставили художественный символ, таящий в себе целый ряд значений” [Брюсов, 1913, т. 21, с. 227—228]. Символисты пытались подвести под свои воззрения на искусство и новое философское основание, используя для этого враждебные позитивизму философские течения 1890—1900-х годов, а иногда и теософию.

Как и следовало ожидать, этот фундамент оказался непрочным, да и символизм как целое — быстротечным. Возможно, потому, что никакой одномерный язык искусства не может быть устойчивым. Уже к концу 1890-х годов, после смерти Малларме, распадается французский символизм, а после 1910 г. — русский. В 1913 г. Блок (“Дневник”, 10 февраля) писал: “Никаких символизмов больше, — один, отвечаю за себя” [Блок 1963, т. 7, с. 216].

Рассматривая учения символистов о поэтическом слове, нужно иметь в виду их внутреннюю противоречивость, отчетливо показанную в нашем литературоведении. С одной стороны, как справедливо отмечает П.А. Николаев, “в символизме могли возникнуть содержательные литературоведческие положения, ибо для его теоретиков исключительное, самоценное значение имело искусство — центральное явление духовной жизни. Не удивительно, что культ искусства, порождавший внимательное изучение художественных творений, имел конструктивные результаты в сфере теоретико-литературной мысли. Важно также подчеркнуть, что чем дальше развивалось направление, представляемое символистами, тем большую широту суждений об искусстве они обнаруживали” [Николаев 1983, 262].

С другой стороны, по меткому наблюдению М.Б. Храпченко, узор и догматизм символистов проявлялись как раз в области “знаковых (семиотических) свойств” их искусства. Один из символистов, Эллис, еще в 1910 г. (в книге “Русские символисты”) писал, что творческий дух, “отрешенный окончательно от чувственных явлений и сферы опыта, должен испытать величайшую пытку от невозможности выразить на понятном для других языке свои прозрения и откровения, ибо никакое художественное творчество немислимо без формы, а форма — без чувственного материала. Тогда-то и является сатанинское искушение *догматизировать*, т.е. условно, аллегорически и безапелляционно фиксировать свои переживания, данные своего внутреннего опыта. Тогда символизм превращается в догматы положительной религии, в сектантство, в условно скомбиниро-

ванные, чуждые всякой свободной, художественной и даже творческой ценности катехизисы, которые одновременно вещают своим мертвым языком и слишком много, и слишком мало, все и ничего" (с. 228). Прочитывая это место, М.Б. Храпченко замечает, что такие противоречия знаковых процессов творчества в символизме не ограничиваются областью метафизических откровений, "они распространяются и на область тех претворений жизни в сказку, легенду, которые широко представлены в творчестве символистов" [Храпченко 1982, 276].

Наша цель в дальнейшем — кратко воссоздать здесь срединное звено, поэтику символизма, пунктирно прочертив от нее несколько линий в обе стороны — к семиотическим проблемам языка, особенно к философии имени, и к поэзии символизма. Мы кратко остановимся также на семиотике этого направления. Во множестве прямых высказываний и цитат нам хотелось бы, по возможности без посредников, заставить звучать голоса "участников символизма".

б.1. "Сущность" как предмет искусства.

Символ

Для поэтов, как и для "философов имени", мир состоит из сущностей и явлений — из доступных наблюдению явлений и из скрытых за ними сущностей. По меткому выражению Ламартина, человечество — это ткач, который тклет полотно истории, но видит его лишь с изнанки; настанет день — ткач перейдет на лицевую сторону полотна, и перед ним откроется грандиозная цельная картина, которую он своими руками творил на протяжении столетий, видя лишь хаос узелков и обрывков нитей.

Мир сущностей прекрасен, в нем господствуют красота, гармония и закономерность. Молодой Андре Жид (в те годы близкий к символизму) представлял этот мир, в "Трактате о Нарциссе" (1891), в виде рая: «Рай не велик, всякая форма, представленная в нем в своем совершенстве, цветет там только один раз, но в саду есть они все. Был он или не был, разве в этом дело? Если он был, он был таким. Все в нем кристаллизовалось с необходимостью, как раскрывается цветок, и все было в точности таким, каким должно быть. Все пребывало в неподвижности (вот, пожалуй, черта, которая способна отпугнуть от рая. — Ю.С.), потому что ничто не желало стать лучшим. Только спокойный закон тяготения медленно производил изменение во всем. И так как никакой импульс не исчезает, ни в Прошлом, ни в Будущем, то Рай не произошел, — он просто всегда был.

Непорочный Эдем! Сад Идей! В нем формы, ритмично и

неуклонно, без усилий, раскрывали свое число; в нем каждая вещь была тем, чем она выступала в явлении; в нем доказывать что-либо было излишним. (Заметим здесь поразительную интуицию А. Жида: в определенном состоянии „возможного мира“, например в нашей модели Язык-1, всякое предложение есть аналитическое суждение, его истина самоочевидна, доказывать что-либо нет необходимости, всякая вещь есть то, чем она выступает в явлении, ее сущность полностью выражается в явлении; „число“ здесь, конечно, в пифагорейском смысле, как сущность вещи, так же и у Лосева. — Ю.С.)

...Поэт — это тот, кто видит. И что он видит? — Рай. Потому что Рай — везде, не будем принимать на веру видимости. Видимости несовершенны, они только бормочут об истинах, которые скрываются за ними. Поэт должен понять их с полуслова и — высказать. А разве Ученый делает что-либо иное? Нет. Он тоже открывает архетипы вещей и законы их смен; он воссоздает мир, идеально простой, в котором все связывается одно с другим закономерно» [Gide 1912, 13—18].

Возникшая под пером А. Жида, тема Нарцисса, который созерцает отражения в воде и не оглядывается на их оригиналы, была подхвачена Вяч. Ивановым. Своему стихотворению он дал название. „Кочевники красоты“ (1904) — выражение из этого трактата Жида, а эпиграфом взял фразу из неоконченного романа Л.Д. Зиновьевой-Аннибал: „Кочевники красоты — вы, художники“. Иванов призывал художника верить явлениям и видимостям, но именно верить как символам:

| | |
|----------------------|---------------------|
| О, верьте далее чуду | Художники, пасите |
| И сказке всех завес, | Грез ваших табуны; |
| Всех весен изумруду, | Минуя, всколосите — |
| Всей широте небес. | И киньте — целины! |

В русской поэзии тех лет тема обновления искусства „кочевниками красоты“ слилась с темой обновления жизни и с темой поднимающейся Азии, гуннов, скифов и орд. Кочевники оказались реальностью. Иванов продолжал и заканчивал свое стихотворение так:

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| И с вашего раздолья | <i>Топчи их рай, Аттила, —</i> |
| Низриньтесь вихрем орд | И новью пустоты |
| На нивы подневоля, | Взойдут твои светила, |
| Где раб упрягом горд. | Твоих степей цветы! |

Выделенную нами строку Брюсов в свою очередь взял эпиграфом к стихотворению „Грядущие гунны“ (1904—1905), а в этом стихотворении, в обстановке революционного 1905 г., уже начиналась блоковская тема „Скифов“. И уже темой обновленной Азии звучали те же мотивы в послереволюционной поэзии

В. Хлебникова. Кочевники стали двойным символом — разрушителей-обновителей и в искусстве и в жизни.

Но таково свойство символа вообще, так понимали его и другие символисты [ср.: Долгополов 1980, 506]. В том же трактате о Нарциссе А. Жид писал: "Ученый разыскивает эти первичные формы путем медленной и робкой индукции, с помощью бесчисленных примеров, он останавливается на том, что дано в явлении, и, стремясь к полной уверенности, запрещает себе угадывать. Поэт же, зная, что он создает, угадывает за каждой вещью — и тут для него достаточно одного примера — символ, он знает, что данное в явлении — лишь повод для того, чтобы за этой завесой открыть истину". "Теперь понятно, — заключал А. Жид, — что я называю символом все, что дано в явлении".

Это основное положение было высказано несколькими годами раньше в "Литературном манифесте" символизма, составленном Ж. Мореасом (1886; он же, по-видимому, первый употребил термин "символизм" в новом значении): «Будучи враждебной всякому поучению, декларации, ложной чувствительности, объективному описанию, символическая поэзия стремится представить Идею в чувственной форме; последняя, однако, не самоцель, а средство для выявления Идеи, нечто подчиненное... Главная черта символического искусства в том, что оно никогда не идет до сгущения „Идеи в себе“. В этом искусстве картины природы, поступки людей, все конкретные явления выражаются не ради них самих, а рассматриваются как феномены, доступные восприятию наших чувств и предназначенные для того, чтобы указать на свои тайные, эзотерические связи с первичными Идеями» [цит. по: *Ecrits sur l'art...* 1981, 332].

Естественно, что понимаемое так искусство, мыслимое главным образом в одном измерении — семантики, без синтактики и без элемента "Я", есть прежде всего познание. Ему, быть может, недостает собственной красоты, красоты слова, но зато, будучи познанием, прежде всего познанием сущности и идеи, искусство символизма не может выражать случайное, его предмет — необходимое. Искусство не говорит о случайном.

В своем знаменитом определении ("Le Symbolisme", 1887 г.) Верхарн предостерегает от смешения современного символизма с языческим: «Современный символизм, в отличие от греческого, который шел от абстрактного к конкретному, идет от конкретного к абстрактному. В этом, как мы считаем, его высокое и современное оправдание. Некогда Юпитер, воплощенный в статуе, символизировал господство; Венера — любовь; Меркулес — силу; Минерва — мудрость. А теперь?»

Мы исходим из вещи — видимой, слышимой, чувствуемой,

осязаемой, обоняемой, и извлекаем из нее намек на сущность через идею. Поэт смотрит на Париж, кишаший ночными огнями, раздробленный на бесконечное множество светящихся точек и колоссальные массы теней и пространств. Если он прямо передаст этот вид, как поступил бы Золя, т.е. опишет его улицы, площади, памятники, линии газовых фонарей, чернильные моря темноты, его лихорадочную пульсацию под неподвижными звездами, он создаст, наверно, весьма художественное впечатление, но нет ничего более далекого от символизма. Если же, напротив, поэт косвенно вызовет вид этого города в воображении, сказав „это огромная алгебра, ключ к которой потерян“, то эта голая фраза, сама по себе, без всякого описания и перечисления фактов, воссоздает Париж — светящийся, темный, громадный» [Michaud 1969, 753].

Здесь надо сказать, что в “Краткой литературной энциклопедии” (М., 1971, т. 6, с. 833, статья “Символизм”) определение Верхарна цитируется таким образом, что получается, будто “алгебра без ключа” — это постоянное определение всякого символа, из чего делается вывод, будто символисты провозглашали непознаваемость мира. Между тем Верхарн продолжает: “Итак, символ всегда, через намек для воображения, очищается в идею; он — сублимация восприятий и ощущений; он ничего не доказывает, он порождает состояние сознания, *он разрушает всякую случайность* (курсив наш. — Ю.С.) (il guine toute contingence), он — наивысшее и самое духовное, какое только возможно, выражение искусства” [Michaud 1969, 753].

Можно сказать, что понятие о неслучайном в эстетике символизма — это аналог понятия типического в эстетике реализма.

Мысль о том, что искусство символизма противостоит случайности, много раз встречается у Блока. Так, в Прологе к поэме “Возмездие” (1910—1920):

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминуемый,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрашной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Случайность господствует в мире явлений, и лишь ее видят глаза непосвященного. Но взор поэта проникает в мир

сущностей, и там — случайности нет, там все — закономерность и гармония.

Малларме в период творческого расцвета разделял эту мысль, и тогда для него писание стихотворения было самым процессом победы над случаем: *le hasard vaincu mot par mot* — "случайность, побежденная слово за словом" ("*Le Mystère dans les Lettres*"). Но вот наступает творческий спад, и, разочарованный в возможностях новой поэзии, Малларме думает иначе: лучшее, что может сделать поэт — умолкнуть! И в его последней поэме (1897), написанной за год до смерти, в заголовке, — противоположная мысль: "*Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*" — "Как бы удачно ни выпали игральные кости, случая никогда не миновать". Этот заголовок построен на двойном смысле французского выражения *un coup de dés*: 1) то, как выпали игральные кости; 2) удача, везение, счастливый случай. И эта двусмысленность выражает самую суть последнего, уже не символистского, убеждения Малларме: даже удача — не закономерность, а всего лишь счастливый случай.

6.2. *Имя явления и имя сущности*

Поиски имени или отказ от именованя — одна из тем Блока:

Без слова мысль, волнение без названья,
Какой ты шлешь мне знак,
Вдруг взбороздив мгновенной молнией знанья
Глухой декабрьский мрак?

.....
Что б ни было, всю ложь, всю мудрость века,
Душа, забудь, оставь...
Снам бытия ты предпочла отвеса
Несбыточную явь...

Чтобы сквозь сны бытийственных мечтаний,
Сбивающих с пути,
Со знаньем несказанных очертаний,
Как с факелом, пройти.

Декабрь 1911

Явления, события, вещи — "сны бытия" именуется словами русского (или французского, английского — любого) языка. Но "яви", пусть "несбыточные", — сущности именуется иначе. Или не именуется вовсе. Поэт *н а е т о н и х*, но еще не *з н а е т и х*, выбирает свой путь по ним, как по звездам, идет, "как с факелом" или "в лазури Чьего-то лучезарного взора", — но они пребывают "знаньем несказанных очертаний". Если же поэт неустанно ищет их имя, как Блок в своих мирах, то это становится его поэтической судьбой.

В России эта тема была "предзадана" "предсимволистом" Владимиром Соловьевым. "На строгом языке моего учителя",

как называл его Блок, это звучало так:

Лишь забудешься днем, иль проснешься в полночи,
Кто-то здесь. Мы вдвоем, —
Прямо в душу глядят лучезарные очи
Темной ночью и днем.
Тает лед, утихают сердечные вьюги,
Расцветают цветы.
Только *Имя* одно *Лучезарной Подруги*
Угадаешь ли ты?

(прцитировано и выделено Блоком) [Блок 1962, т. 5, 427]. Андрей Белый после завершения издания трехтомника Блока (в изд-ве "Мусaget", 1912 г.) первый угадал и синтезировал его творческий путь в краткой формуле: *Имя и путь*.

«Десятилетие, — писал А. Белый, — медленно выявляло подлинный центр качания маятника поэзии Блока; вспышки света и тьмы, Дева неба и Маска сливались в выражении третьего лика... Этот лик — лик России». Но к открытию э т о г о имени Блок пришел лишь в третьей книге — «покрывало с „Имени” сорвано; названо Имя: Россия» [Белый 1922, 108, 121]. По существу все творчество Блока — грандиозный путь к этому одному Имени, через качания маятника, попеременно указывающего своими, все более сильными, размахами то на одну, то на другую сущность, зачастую противоположенные.

Но как именуются провиденные поэтом сущности, не только у Блока, но в более простых случаях, у символистов вообще?

Нам кажется, что здесь у символистов д в е тенденции. О д н а — семантическое обособление слова, но без нарушения синтаксических связей. Семантика отдельных слов, в особенности ключевых для данного стихотворения, изолируется и углубляется до сверхчувственной сущности, но связи слова в контексте, его синтактика, оставляются нетронутыми, они даже оберегаются. Это тенденция русских символистов, в особенности ярко выраженная у Вяч. Иванова.

Андрей Белый отметил: "Пейзаж Вячеслава Иванова есть мозаика из прозрачных и непрозрачных кристаллов: гранение, разграждение, преломление блестящих хладно-каменных граней встречает нас в ней" [Белый 1922, 25]. Эту мысль продолжает С.С. Аверинцев, говоря, что у Иванова «отдельные составные части мироздания — небо, земля и море, грани, горы и гладь долины, „синий бор” и „черная могила” — неизменно приобретают отчетливость геральдической эмблемы. Мир Иванова именно геральдичен: каждая вещь своим резко прочерченным контуром и своим беспримесно чистым цветом говорит о своем „значении” — об идеальной смысловой схеме самой себя» [Аверинцев 1976, 30]; "Для Иванова драгоценнее всего именно очертания слова как неделимой, целостной и отделенной от всего

иного единицы смысла” [там же, с. 26]. Характерно для него такое:

Сумеречно слепнут
Луг, и лес, и нива;
Облачные дива
Лунной силой крепнут.

Накренились горы
К голубым расколам.
Мгла владеет долом,
В небе реют взоры.

Крепнут силой лунной
Неба паутины,
И затоны — тины
Полны светорунной.

Крыльев лебединых
Взмахом Греза реет
Там, где вечереет
На летучих льдинах...

“Небо живет”

Или, например, такос:

Я вспрынул, наг, с подушек пира,
Наг, обошел пределы мира
И слышал — стон, и видел — кровь.

Из “Кормчих звезд”

В “Кормчих звездах”, как заметил А. Белый, Иванов — поэт существительных, количество их раз в десять превышает количество глаголов. Позднее Иванов развивает учение о глагольности всякого предиката, и соответственно этому его внимание переносится с существительного на глагол. «Мы присутствуем, — продолжает А. Белый, — при удивительном зрелище: при выступленьи глаголов... из своих узких русл для потопленья „существительных” континентов; глаголы тут — действуют; розы — „дышат”; и — „шепчется” бор; весна плетет „сеть улыбок”» и т.д. [Белый 1922, 43]. Но в конце концов, пройдя через динамику предиката, он от «примата динамики направляется к свету истины, ставшей статической („Res” религии, онтологический догмат)... градация колоритов пейзажа его убывает тут именно; пейзаж погружается во мрак» [там же, с. 49]. Иванов все же — “поэт существительных”.

Отсюда, по наблюдению Аверинцева, следующие особенности ивановского стиха: во-первых, обилие сверхсхемных ударений; во-вторых, скопление согласных на границах слов; в-третьих, выдвижение на ключевые места слов односложных — ср. упомянутое *наг, стон, кровь*. Все эти черты связаны между собой и все вместе допускают некоторое обобщение.

“Сверхсхемные” (по Аверинцеву) ударения можно трактовать иначе — как тенденцию к совпадению конца стопы и конца слова [об этой тенденции вообще в русском стихе см.: Jakobson 1979]. Почему эта формулировка представляется более обобщающей? Потому что в ней говорится не только о

"строении схемы" стиха, но и об отношении практической речи, в которой ритм связан с концами слов и их групп, к речи стихотворной, в которой ритм связан еще и со стопой и строкой. Эта формулировка говорит о способе преобразования практической речи в речь поэтическую, стихотворную. И тогда становится возможным сказать, что ритмическая тенденция ивановского стиха венчает три его семантические черты: 1) обилие коротких, чаще корневых, слов, иногда просто односложных, в чем Иванов видел, как уже было сказано, проявление семантической самоценности слова; 2) идея о том, что корнеслово выражает глубинную сущность бытия, — идея, близкая к позднему тезису футуристов (см. гл. IV, 5); 3) стремление к архаизации стиха. Остановимся на последней.

Ямбический стих Иванова на слух зачастую почти неотличим от стиха конца XVIII — нач. XIX в., ср.:

Иванов:

Но к праху прах был щедр и добр

Из "Кормчих звезд"

Алексей Мерзляков (1778—1830):

Куда бежать, тоску девать?
Пойду к лесам, тоску губить.
Пойду к рекам, печаль топить,
Пойду в поля, тоску терять.

"Ах, девица-красавица!", 1806

Архаизирующая близость ивановского стиха к стиху XVIII в. не поражает слушателя лишь потому, что у Иванова часты трехсложные размеры, не характерные для конца XVIII — нач. XIX в., но и в этих размерах у него та же тенденция к совмещению конца стопы с концом слова.

Вторая тенденция символистского стиха почти противоположна только что рассмотренной. Но, как и первая, она связана в конечном счете с семантикой. Здесь надо снова подчеркнуть, что "поиски имени" были темой символистов лишь в их стремлении к сущности, а вовсе не в стремлении точно поименовать конкретное — вещи, явления, факты. В этом, "вещном", смысле символисты, напротив, зачастую отказывались от слова-имени, и поэтому вторая, может быть главнейшая, линия символизма — другая, не ивановская. «Поэты-парнасцы, — писал Малларме, — берут вещь целиком и показывают ее; тем самым она лишается тайны; они отнимают у души читателя высшую радость — поверить, что они творят. Назвать предмет — значит на три четверти разрушить наслаждение от стихотворения, которое состоит в

счастье постепенного угадывания. *Внушить* (suggérer) — вот мечта и цель. Целиком воспользоваться этой тайной и позволяет символ: мало-помалу вызвать в воображении предмет, чтобы показать состояние души, или, напротив, указать на предмет и затем, расшифровывая его, высвободить нужное состояние духа» (Ответ на анкету [Michaud 1969, 774]).

Таким путем символисты приходят к новому пониманию именованья — когда целое стихотворение, поэма, упоминая отдельные имена вещей и явлений, становится всей длиной своего текста как бы одним новым именованьем — именованьем сущности. «Образы внешнего мира подобны словам того или иного языка. По отдельности неизвестно, на что они указывают; у них есть лишь какое-то латентное значение. Но как только они гармонично соединены во фразу, каждое из них становится, если так можно выразиться, ориентированным, а все составленное ими целое выражает некий полный смысл. Произведение искусства — это как бы одна фраза, формы которой — слова; идея возникает естественным путем из таких согласованных форм. Есть заманчивая аналогия между этим пониманием и тем, что Стефан Малларме так удачно сказал о стиховой строке — „она из нескольких слов создает единое слово“. Таким образом, все стихотворение — это одна фраза, а его строки — слова этой фразы» (А. Mockel, *Propos de littérature*, 1894 [Michaud 1969, 752]).

Отмеченное здесь символистами — это, конечно, то же, что „единство и теснота стихового ряда“ в терминах Ю.Н. Тынянова, — общее (теперь) понятие теории стихотворной речи.

Вторая тенденция в целом — путь главным образом французского, в отличие от русского, символизма. И этот путь был задан с самого начала „первым символистом“, или „предсимволистом“ (это проблема для литературоведов), — Артюром Рембо (1854—1891). Как и Вяч. Иванов, Рембо применил принцип „раскованной семантики“, но, в отличие от Иванова, он затронул и синтактику. Он назвал свой прием „слова, выпущенные на волю“ („les mots mis en liberté“).

В „Озарениях“ и в „Последних стихотворениях“ (1872—1873) — и на этом творчество Рембо закончилось — он, как считают, отказался от синтаксически организованного слова, а следовательно, и от его логических связей во фразе (это и означало, что „слова выпущены на волю“). Но зато магическая сила слова возросла. Что значит, однако, отказаться от логических связей? Это стоит рассмотреть подробнее.

Ср. в разных переводах одно место из „Озарений“ („Детство“, II):

„Это она, за розовыми кустами, маленькая покойница. —

Молодая умершая мать спускается тихо с крыльца. — Коляска кузена скрипит по песку. — Младший брат (он в Индии!) здесь, напротив заката, на гвоздичной лужайке. Старики, которых похоронили у земляного вала в левкоях” (перевод М.П. Кудина [Рембо 1982, 111]). Действительно, походе на бред. Почти такое же впечатление и при втором переводе:

”Это она, мертвая девочка в розовых кустах. — Недавно скончавшаяся молодая мать спускается по перрону. — Коляска двоюродного брата скрипит на песке. — Младший брат (он в Индии!) там, при закате, на лугу, среди гвоздик. — Старики лежат навтыжку, погребенные у вала с левкоями” (перевод Н.И. Балашова [там же, с. 275]).

Все же, думается, Рембо не так неясен, как кажется. Здесь он сам дает ключ, взяв в скобки то, что относится к другому временному плану: ”...младший брат (он в Индии!)”. Тогда:

”Это она, за розовыми кустами, маленькая девочка (умершая). — Молодая мать (покойница) спускается с террасы. — Коляска кузена скрипит по песку. — Младший брат (он в Индии!) подальше, на фоне заката, на лужайке среди гвоздик. — Дедушка и бабушка (они лежат, выпрямившись, похороненные у вала с левкоями).

Рой золотистых листьев окружает дом генерала...” (перевод наш. Для сравнения оригинал: *C'est elle, la petite morte, derrière les rosiers. — La jeune maman trépassée descend le perron. — La calèche du cousin crie sur le sable. — Le petit frère — (il est aux Indes!) là, devant le couchant, sur le pré d'oeillets. — Les vieux qu'on a enterrés tout droits dans le rempart aux giroflées. L'essaim des feuilles d'or entoure la maison du général.*)

Перед нами — один момент детства, запечатленный в памяти мальчика, который наблюдает всю картину из одной точки. Поэтому для него — девочка за кустами роз, брат в отдалении, и его силуэт виден на фоне заката, мать спускается с террасы, кузен подъезжает в коляске, тут же дедушка и бабушка, по-видимому сгорбленные. И на все это наложен второй временной план — те же люди, какими он знает их теперь, в момент писания: девочка — умерла, молодая мать — покойница, брат — в Индии, дедушка и бабушка — выпрямились (в гробу) и похоронены у вала с левкоями... — все ясно. Особенность только в том, что определения — атрибуты сущностей, относящиеся к разным моментам времени, даны рядом, без внешнего, синтаксического, разделения, подряд.

Впоследствии этой особенностью возможных миров займутся две новые философии языка (см. гл. IV, 5 и гл. VI, 4).

Но Рембо и символистов в "раскованности слов" привлекало другое — раскованность семантики и раскованность ритмов.

Но так ли уж прием Рембо противопоставлен реализму? Не думается. Мы ведь знаем теперь метафору Ю. Олеши — тоже наложение двух одновременных образов: о Л. Сейфуллиной он думал как о существе уже погибшем, замученном алкоголем и неразрешающимися страстями, а в гробу он увидел ее маленькой девочкой, которая споткнулась и упала навзничь в клумбу с цветами ("Ни дня без строчки". М.: Сов. Россия, 1965, с. 282).

6. 3. Ритмы

Ритмы мыслились символистами как нечто конкретное, как пульсация жизни, как связь поэзии с действительностью. Блок в июле 1919 г. писал: "Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был *ямб*. Вероятно, поэтому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого *ямба*, отдаться его упругой волне на более продолжительное время" (Предисловие к поэме "Возмездие"). Знаменитый цикл Блока называется "Ямбы", ямбами написаны "Скифы" и многое другое, самое динамическое; мощная струя *ямбов* ведет к "Двенадцати".

Но здесь приходится сделать отступление и сказать, что в теперешних (главным образом отрицательных) представлениях о символизме учение о ритме понимается абстрактно, ритмы связываются с расплывчатым понятием "музыкальности" стиха, музыкальность — с музыкой вообще, а музыка вообще — с учением о музыке у философа Шопенгауэра. Все вместе образует унылую ретроспективу.

Некоторые основания проследить ее есть: символистские представления о ритме начали создаваться в эпоху (1860—70-е годы), когда музыкальность стиха понималась, скорее, в духе романтической музыки — как нечто "красивое", "мелодическое", "гаинственное", "меланхолическое". Возразят, что это уже не так мало. Да, но для символистов это еще далеко не все. Действительно, поэма Верлена "Поэтическое искусство" (написана в 1874 г., опубликована в 1882 г.) говорит о такой музыкальности в первую очередь:

De la musique avant toute chose
.....
De la musique encore et toujours!
Que ton vers soit la chose envolée
Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
Vers d'autres cieux à d'autres amours...

О, музыки всегда и снова!
Стихи крылатые твои
Пусть ищут за чертой земного
Иных небес, иной любви.

(Пер. В. Брюсова)

Музыки прежде всего

Музыки еще и всегда!

Пусть твой стих станет летящим предметом,
Пусть чувствуют, как он отлетает от души в глубине аллеи,
Устремляясь к другим небесам, к другой любви...

(Буквальный перевод наш. — Ю.С.)

По мысли Шопенгауэра, все искусства представляют лишь отпечатки явлений, и только музыка несет непосредственный отпечаток вещи в себе, копию прообраза, который никогда не может быть непосредственно представлен. Шопенгауэр придавал музыке примерно такое же главенствующее положение в мире искусства, какое некоторые современные ученые придают математике в мире науки вообще. Считают, что эта идея Шопенгауэра оказала большое влияние на теоретика символизма Малларме. В какой-то мере это, несомненно, так, но эту меру нельзя преувеличивать. В теоретических рассуждениях Малларме "Тайна в произведениях слова" ("Le mystère dans les Lettres"), действительно, музыка выходит на первый план, "невыразимое", "тайна" провозглашаются целью поэзии. Но — забывают прибавить — Шопенгауэр оказал влияние на символистов не только и, может быть, не столько сам по себе, сколько тем, что его теория казалась воплощенной в гениальном творчестве Вагнера. Музыка Вагнера, а не теория Шопенгауэра была подлинным источником размышлений символистов о музыке и ритмах.

Забывают, что тот же Малларме писал десятью годами раньше о Вагнере как о великом обновителе искусства ("Richard Wagner. Rêverie d'un Poëte français", 1886 г.) и что он дал следующее "Определение поэзии": "Поэзия — это выражение посредством человеческого языка, сведенного к своему *основному ритму* (курсив наш. — Ю.С.), тайного смысла различных проявлений действительности: тем самым поэзия *наделяет* подлинностью наше пребывание [в действительности] и составляет единственную духовную задачу" ("Définition de la poésie", 1884 [Michaud 1969, 715]).

Верхарн, отвечая на "Международную анкету о свободном стихе" (1909), написал: «Ритм — это само движение мысли. Для поэта всякая мысль, всякая идея, даже самая абстрактная, является в виде образа. Ритм и есть не что иное, как жест, походка или телодвижение этого образа.

Слова передают цвет, аромат, звучность образа. Ритм — его динамику или его статику. (Заметим, что ритм отделяется от звучности, следовательно, и от "музыкальности". — Ю.С.)

В силу старых формул, которые учитывали только слоговую меру стиха, поэт был вынужден сковывать всякий жест, походку, всякую позу своей мысли... Бывали счастливые случаи, когда форма подходила к образу, как перчатка к руке, но чаще этого не получалось. В перчатку пытались запихнуть руку до локтя и даже голову.

Новая поэтика отменяет неизменные формы и дает идее-образу право создавать собственную форму, по мере своего собственного развития, как река создает свое русло» [там же, с. 789].

Создание раскованного свободного стиха, верлибра, было одним из наивысших достижений поэтики символизма, можно сказать, национальным достижением, как во Франции, так и в России (в России свободный стих начала XX в. был не только созданием новых форм, но и оживлением некоторых традиционных форм русского стиха). "Свободный стих — это моральное завоевание, важнейшее для всякой поэтической деятельности. Свободный стих — не только стиховая форма, это прежде всего, духовная позиция" (Ф. Вьеле-Гриффен "Моральное завоевание" [там же, с. 784]).

Вернемся теперь к Блоку. Мысли Блока о ритме, с которых мы начали этот параграф, развивались постепенно, по мере созревания его концепции культуры. Концепция "музыки и культуры" зародилась у поэта еще в юности, а в записной книжке под 29 июня 1909 г. находим уже вполне определенные положения: "Музыка потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего... Музыкальный атом есть самый совершенный — и единственный реально существующий, ибо — творческий. Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира — *мысль* (текучая) мира... Музыка — предшествует всему, что обуславливает" (Записные книжки. М., 1965, с. 150).

В дневнике Блок записывает: "Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах... Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм" [Блок 1963, т. 7, с. 360]. Еще более определенно — в речи "О назначении поэта" (1921): "Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; космос — устроенная гармония, культура; из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена культуры; из безначалия создается гармония.

Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород. Их баюкает безначальный хаос; их взра-

щивает, между ними производит отбор культура; гармония дает им образы и формы..." [Блок 1962, т. 6, 161].

Конечно, эти мысли близки и к идеям Ницше о силе стихийности и о духе музыки, и к идеям других символистов. Так, Поль Клодель (в то время близкий к символизму) в своем "Поэтическом искусстве" (1903) писал: «Нет науки, кроме как об общем; нет творения, кроме как единичного. Метафора (и ее транспозиции в других искусствах — „валеры" в живописи, „гармонии" в музыке, „пропорции" в архитектуре), базовый ямб (курсив наш. — Ю.С.), с его соотношением сильной и слабой долей, разыгрывается не только на страницах книг, которые мы пишем, — это врожденное искусство всего, что рождается к жизни. И не говорите об игре случая. То, что вот эти сосны раположились кучкой, то, что гора имеет эту форму, — не более игра случая, чем Парфенон или бриллиант с искусной огранкой: их план — из более богатой и более мудрой сокровищницы планов» [Michaud 1969, 738].

Оригинальность Блока состояла в том, что в устроенном космосе он различил кроме культуры еще "цивилизацию" и противопоставил ее культуре. К цивилизации относится у Блока то, что утратило импульс естественного развития, утратило "дух музыки", омертвело. В обстановке революции Блок связал цивилизацию с уходящим миром и культуру — со стихийным революционным порывом народных масс. В статье "Крушение гуманизма" (1919) он пишет: "Хранителем духа музыки оказывается та же стихия, в которую возвращается музыка... тот же народ, те же варварские массы. Поэтому не парадоксально будет сказать, что варварские массы оказываются хранителями культуры, не владея ничем, кроме духа музыки, в те эпохи, когда обескрылевшая и отзвучавшая цивилизация становится врагом культуры, несмотря на то, что в ее распоряжении находятся все факторы прогресса — наука, техника, право и т.д." [Блок 1962, т. 6, 111]; исход борьбы решен, продолжает Блок, новое движение, родившееся из духа музыки, "представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации; однако в этом движении уже намечается новая роль личности, новая человеческая порода" [там же, с. 115]. (За рядом интересных деталей отсылаем читателя к статье: [Примочкина 1978].)

В 1918 г. Блок пишет свой знаменитый цикл, пронизанный идеей — и воплощением идеи — музыки, ритмов и ямбов: поэму "Двенадцать", "Скифы" и статью "Интеллигенция и революция". Музыка и ритм здесь — воплощение силы и обновления жизни, ямбы — главный ритм, жизнеутверждающий ритм действительности (с хореем Блок связывал представление о гибели). В

том же году Блок пишет "Искусство и революцию (По поводу творения Рихарда Вагнера)" — имя Вагнера снова возникает в этом контексте идей. "Двенадцать" — триумф раскованного "свободного" стиха, торжество "духа музыки", а "Интеллигенция и революция" — торжество мысли об этом, мысли, противопоставленной концепции Шопенгауэра.

С исчезновением символизма как литературного течения идеи символистов о музыке-культуре, о стихии жизни, о ритмах эволюции, о сходстве и противостоянии гения Вагнера и мысли Шопенгауэра не исчезли. Они с новой силой были подняты в творчестве Томаса Манна — в его "Волшебной горе", "Смерти в Венеции", в его статьях о Вагнере и в очерке "Шопенгауэр". (Здесь мы отсылаем читателя к работам А.А. Федорова о концепции музыки Рихарда Вагнера у Томаса Манна [Федоров 1977; 1981, 68, 114 и след.])

6.4. "Соответствия-корреспонденции"

Среди всех символов особую роль символисты отводили "соответствиям", или "корреспонденциям", — одинаковым показаниям разных чувств. Обычно зрение свидетельствует о свете и цвете, слух — о звуке, осязание — о поверхности, обоняние — о запахе, вкус — о вкусе. Но бывают случаи, когда одно чувство свидетельствует о чем-то, что обычно находится в сфере другого чувства: восприятие цвета вызывает представление о звуке, восприятие звука — представление о шероховатости или гладкости и т.п. С психологической точки зрения это — явления так называемой синестезии. Но для символистов была важна не психология синестезии, а то, что при этом разные чувства свидетельствуют не только и не просто о вещи, как бывает обычно, когда показания разных чувств, комбинируясь, порождают восприятие и представление о вещи, а как бы о чем-то, лежащем за пределами воспринимаемой вещи, — о ее "сущности".

Интересно отметить, что это понятие символистов противопоставлено идее позитивистов о том, что вещи — не более как "пучки", или "комбинации", ощущений (ср., например, у Рассела, см. гл. IV, 3).

Идея "корреспонденций" в современном виде была высказана шведским философом-мистиком Сведенборгом (1688—1772), в литературе развита немецким романтиком Гофманом, а в теорию искусства ее ввел Бодлер. В очерке о выставке живописи "Салон 1846 года" Бодлер писал: «Не знаю, установил ли когда-нибудь какой-либо исследователь аналогий на прочном основании полную гамму цветов и чувств, но вспоминаю одно

место из Гофмана, которое точно выражает мою мысль и должно понравиться всем искренне любящим природу: „Не только во сне и в легком забытии, которое предшествует сну, но также и после пробуждения, когда я слышу музыку, я нахожу аналогию и глубинную связь между цветами, звуками и запахами. Мне кажется тогда, что все они рождены одним и тем же лучом света и необходимо должны соединиться в чудесном согласии. В особенности запах коричневых и красных ноготков производит магическое действие на мой организм: я погружаюсь в глубокие грезы, а вдалеке мне слышатся низкие и глубокие звуки гобоя» [Baudelaire 1954, 615] (Бодлер цитирует из "Крейслерианы" Гофмана, который говорит, скорее, не о ноготках (франц. soucis), а о гвоздиках).

Через несколько лет Бодлер сделал эту идею своей поэтической темой в сонете "Соответствия" ("Correspondances" в цикле "Цветы зла", 1861 г.):

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laisseront parfois sortir de confuses paroles;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

Природа — это храм, в котором живые колонны
Издают время от времени неясные слова;
Человек идет там через лес символов,
Которые следят за ним понимающим взглядом...

(Буквальный перевод наш. — Ю.С.)

В этом сонете есть дальше знаменитая строчка: *Les parfums, les couleurs et les sons se répondent* — "Запахи, цвета и звуки отвечают друг другу".

Еще через 10 лет эта же идея стала темой Рембо в сонете "Гласные":

A — чёрно, *E* — белó, *I* — красно, *U* — зелёно,
O — сине, тайну их открыл я в некий день.
A — бархатный корсет кишаших насекомых
На куче нечистот, *A* — глубина и тень.

E — белизна седин, палаток и тумана,
Нагорных ледников и девственных пелен.
I — сплюнутая кровь, сочащаяся рана,
И грешных алых губ проклятье или стон.

U — циклы и круги зеленых вод океана,
Покой лугов и трав, спокойная нирвана,
Раздумье мудреца над тихой водой.

O — трубный зов небес и скрежет мироздания,
Молчание миров и ангелов витанье,
Омега, ока луч лилово-голубой.

(Перевод наш. — Ю.С.)

На широком фоне поэтики Рембо сонет прокомментирован Н. И. Балашовым, который цитирует слова Верлена: «Я-то знал Рембо и понимаю, что ему было в высшей степени наплевать, красного или зеленого цвета А. Он его видел таким, и только в этом все дело». Получается, что «сила» сонета как раз в субъективной, т.е. с точки зрения символических соответствий ложной проекции идеи... Получается, что лучший хрестоматийный пример символистского стихотворения — это бессознательная („... поэту было в высшей степени наплевать...”) мистификация... Рембо, повсеместно прославляемый за символику сонета “Гласные”, не был в нем символистом» [Балашов 1982а, 259—260].

Между тем сходные и, следовательно, не абсолютно субъективные ассоциации отмечали и другие. Михаил Чехов писал: «Актер должен глубоко почувствовать разницу между гласными, выражающими различные состояния человека, и согласными, изображающими внешний мир и внешние события (в слове *гром*, например, „грм” имитируют гром, а „о” — выражает потрясение человека, его стремление понять, осознать стихию)» [Чехов 1928, 16]. Здесь даже и качество “о” совпадает с тем, что сказано у Рембо. А сине-лиловый луч при раздирающем звуке — только уже не трубы, а скрипок — такой же, как у Блока (см. ниже, 6.5).

Но дело даже не в мере субъективности. Дело в том, что символ — понятие не научное, это — понятие поэтики; он всякий раз значим лишь в рамках определенной поэтической системы, и в ней он истинен.

Система сонетá Рембо не была вскрыта, и даже вообще ее присутствие отрицалось. Между тем она есть, и выявляются ее опорные линии. Альфа, А — символ тьмы и материи, которая, грациями, уступает место свету и духу. В омеге, О — высший свет. И — срединное и красное, символ человека, равно причастного обоим мирам — материи и духа. От альфы до омеги — “пирамида света”, такая же, как у Николая Кузанского или у А.Ф. Лосева (см. гл. I, 4, 5). Символ “омега” впоследствии снова был использован (не обязательно взят у Рембо) Тейяром де Шарденом: “точка Омега” — цель духовной эволюции мира, точка, лежащая в будущем, она же — символ Христа Космического, или Христа Эволюции [Тейяр де Шарден 1965]. Таким образом, сонет Рембо читается теперь как сонет о мироздании [подробнее см.: Степанов 1984].

Кроме “корреспонденций” важнейший вид символов символисты находили в аналогиях. Как и символ, аналогия вообще — вечное средство художника, в особенности художника слова, она лежит в основе метафоры, эпитета, сравнения, параллелизма. Но

у символистов роль аналогии особая. И здесь опять Бодлер, "предсимволист", дал точную формулировку: "У больших поэтов не бывает метафоры, сравнения, эпитета, которые не вписывались бы математически точно в данные обстоятельства, потому что эти сравнения, метафоры, эпитеты черпаются из неисчерпаемого фонда *мировой аналогии* (l'universelle analogie) и больше их неоткуда почерпнуть" (Бодлер, "Виктор Гюго" [Michaud 1969, 722]). Символисты употребляли даже термин "закон аналогии", и сама их поэтика в целом в равной мере могла бы быть названа, — даже, пожалуй, вернее, чем "поэтика корреспонденций", — "поэтикой аналогий" [о чувстве мира как целого у символистов см.: Ермилова 1975].

Теория и практика "корреспонденций" одобрена и принята, например, в современном балете, в опере-балете, в цветомузыке, начало которой положил еще композитор А.Н. Скрябин, в некоторых жанрах цветного кино.

Менее известно, что "корреспонденции" принимал Михаил Чехов для всех аспектов драматического театра (не только для цветového и музыкального оформления спектакля). Он, например, взволнованно писал под впечатлением от работы хирурга: «Почему же мы — актеры, *творцы*, годами тренируемся в ловкости, легкости, пластике и не постигаем их даже в половину той силы, которая блещет в творчестве того, перед кем бьется жизнь? Потому что для нас, для актеров, все мертво в нашем искусстве, все холодными глыбами обступает нас: декорации, костюмы, гримы, кулисы, рампа, зрительный зал с его ложами — все! Кто же убил все это вокруг нас? Мы, мы сами! Мы не хотим понять, что от нас самих зависит, живет или умирает вокруг нас наш театральный мир. Краски... разве они не могут жить? Могут! Взгляните на красную краску: она кричит и радуется, она возбуждает волю, она звучит, в ней слышится „rrrrr”. Синяя краска, напротив, спокойна, она углубляет сознание, благоговейные чувства рождает в душе... Взгляните на желтую — она излучается в стороны, не знает границ, из центра сияет лучами и не позволяет обвести себя контурной линией. Зеленая краска, напротив, любит контур, границу и стремится к тому, чтобы ее ограничили. (Письменный, карточный стол ограничен краями и покрыт большей частью зеленым сукном. Это приятно для глаза, но попробуйте ломберный стол покрыть желтым сукном, ограничьте лучи желтой краски краями. Что увидит ваш глаз?) Краска живет, и актер должен знать ее жизнь...» [Чехов 1928, 133].

Не знаем, был ли знаком М. Чехов с теорией цвета и живописи В. Кандинского (книга Кандинского "О духовном в искусстве" вышла в свет на немецком языке в Германии

в 1911 г.), но их мысли здесь поразительно близки и в целом, и в деталях.

“Если нарисовать два круга одинаковой величины, — писал Кандинский в упомянутой книге, — и закрасить один желтым, а другой синим цветом, то уже при непродолжительном сосредоточивании на этих кругах можно заметить, что желтый цвет излучает, приобретает движение от центра и почти видимо приближается к человеку. Тогда как синий круг приобретает концентрическое движение (подобно улитке, заползающей в свою раковину) и удаляется от человека. Первый круг как бы пронзает глаза, в то время как во второй круг глаз как бы погружается”. (Обязательно нужно иметь в виду, что у Кандинского все такие наблюдения входят в систему, теорию, и здесь мы извлекаем одно из них из контекста только для беглого сравнения с чеховским.)

Чехов продолжает: «...Краска живет, и актер должен знать ее жизнь. Он играет на красочном фоне и не знает, не чувствует, какая кричащая дисгармония живет в зрительном зале, когда он, например, играет лирическую сцену на красном фоне, или философствует на желтом, или изображает гнев на синем... А формы на сцене? Их жизнь? Снова произвол художника (заметим ключевое понятие “произвол художника”, ниже мы вернемся к нему. — Ю. С.). Как часто мы видим на сцене острые ломаные линии, среди которых играют сцены, насыщенные волевыми импульсами, и это звучит уродливо. Воля требует круглой, кривой и волнистой линии, и только мысль гармонирует с острым углом и с прямой или ломаной линией. А линия человеческого профиля? Знает ли актер, какое действие производит на зрителя его профиль и фас?» [Чехов 1928, 133—134].

Сопоставив эти высказывания, мы видим, что не само по себе явление “соответствий” привлекало художников, а открывающаяся через него идея необходимости, противостоящая и случайности происходящего, “случаю”, и произволу художника. Необходимость — вот главная тема искусства, необходимость — вот что в “соответствиях” возникало перед символистами и художниками вообще и очерчивало для них контур новой поэтики.

6.5. *Интенциональный мир*

К понятию “интенциональный мир”, введенному нами на модели Язык-2 (гл. VII), добавим теперь ценнейшее свидетельство Блока — его представление о подобном мире. Термины “возможный мир” и тем более “интенциональный мир” у сим-

волистов, конечно, не встречаются, они появились значительно позже (см. гл. VI, 3). Но понятие о "мирах", по которым проходит поэт, у Блока есть. Он посвятил этой теме доклад-статью "О современном состоянии русского символизма" (по поводу доклада Вяч. Иванова, 1910 г.) [Блок 1962, т. 5; далее указываются страницы этого издания].

Блок рассматривает свой мир в динамике, и, чтобы предупредить смешение динамики внутреннего мира поэта с его "внешней историей" (предметом истории литературы), о чем речь не идет, он говорит: "Прежде чем приступить к описанию тезы и антитезы русского символизма, я должен сделать еще одну оговорку: дело идет, разумеется, не об истории символизма; нельзя установить точной хронологии там, где говорится о событиях, происходивших и происходящих в действительно реальных мирах" (с. 426).

Вначале мир поэта дан как "теза": «*Теза: „ты свободен в этом волшебном и полном соответствий (т.е. „корреспонденций“ — Ю.С.) мире“.* Твори, что хочешь, ибо *этот мир принадлежит тебе... Ты — одинокий обладатель клада; но рядом есть еще знающие об этом кладе... Отсюда — мы: немногие знающие, символисты»* (с. 426). (Динамика внутреннего мира художника — теперь один из предметов семиотики.)

За "тезой" наступает "антитеза": «Итак, свершилось: мой собственный волшебный мир стал ареной моих личных действий, моим „анатомическим театром“, или *балаганом*, где я сам играю роль наряду с моими изумительными куклами... Иначе говоря, я уже сделал собственную жизнь искусством (тенденция, проходящая очень ярко через все европейское *декадентство*). Жизнь стала искусством, я произвел заклинания, и передо мною возникло наконец то, что я (лично) называю „*Незнакомкой*“: красавица кукла, синий призрак, земное чудо.

Это — венец антитезы. И долго длится легкий, крылатый восторг перед своим созданием. Скрипки хвалят его на своем языке» (с. 430).

Далее Блок добавляет один штрих, который есть, может быть, главная черта всякого интенционального мира: "Созданное таким способом — заклинательной волей художника и помощью многих мелких демонов, которые у всякого художника находятся в услужении, — не имеет ни начала, ни конца; оно не живое, не мертвое" (с. 430).

Сущее в воображаемом мире — не живое и не мертвое; это некое срединное бытие между реальностью и беспочвенной фантазией. Такой взгляд на произведения искусства разделял Лермонтов:

Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой...

"Портрет"

Идея Лермонтова восходит, как полагают, к сходной идее Шиллера, взгляды которого отражают некоторые основные положения эстетики Канта, и, наконец, сама идея "среднего бытия" — бытия между реальностью и фантазией — восходит к понятию древнегреческой философии "метаксю" (τὸ μεταξύ; см. также гл. I, 2). Это — ретроспектива по эстетической линии.

По линии логики интенциональный мир — это логически возможный, но не обязательно реально существующий мир. Его существа, его "сущее", следует мыслить как то, логическое определение чего не содержит в себе противоречия; так, данный, нарисованный, скажем, мелом на доске квадрат принадлежит реальному, данному миру; "круглый квадрат" — есть чистая фантазия, соединение понятий "круглый" и "квадрат" несет в себе противоречие; понятие же "квадрат", имеющее известное логическое определение, и определение непротиворечивое, обладает существованием в интенциональном мире, даже когда никакой квадрат нигде не изображен, и, следовательно, не существует в данном реальном мире. Обозначение этих различных видов бытия составляет некоторую проблему. Если обозначить высшую степень обобщения по этой линии словом "бытие" (англ. being), тогда все, что обладает бытием, какого бы рода ни было это бытие, есть "сущее" (чему соответствует греческий термин τὰ ὄντα); то, что обладает бытием в интенциональном мире (в любом интенциональном мире), "субзистирует", а соответствующий вид бытия есть "субзистенция" (англ. to subsist, subsistence); то, что обладает бытием в реальном мире, "существует", или "экзистирует" (англ. to exist, existence), а соответствующий вид бытия есть "существование", "экзистенция" — это, следовательно, существование во времени, тогда как интенциональный вид существования — это существование вне времени. (Возможно, впрочем, что для некоторых целей модальных и интенциональных логик может потребоваться понятие существования в интенциональном смысле и притом во времени, тогда потребуются особый термин.) Изложенное здесь обозначение в основном соответствует терминологии раннего Рассела, как она изложена, например, в его работе "Проблемы философии" (гл. IX) [Рассел 1914].

Вернемся к интенциональному миру, или мирам, Блока.

Блок продолжает: «Ценность этих исканий состоит в том, что они-то и обнаруживают с очевидностью *объективность и реальность* „тех миров“; здесь утверждается положительно, что все миры, которые мы посещали, и все события, в них происходившие, вовсе не суть „наши представления“, то есть что „теза“ и „антитеза“ имеют далеко не одно личное значение. Так, например, в период этих исканий оценивается по существу *русская революция*... в противовес суждению вульгарной критики о том, будто „нас захватила революция“, мы противопоставляем обратное суждение: революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах; она и была одним из проявлений... тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах» (с. 431).

В рамках своего интенционального мира, даже многих миров, Блок оценивает „корреспонденции“. На этапе „тезы“: „Миры, предстающие взору в свете лучезарного меча, становятся все более зовущими; уже из глубины их несутся щемящие музыкальные звуки, призывы, шепоты, почти *слова*. Вместе с тем они начинают *окрашиваться* (здесь возникает первое глубокое знание о цветах); наконец, преобладающим является тот цвет, который мне всего легче назвать пурпурно-лиловым (хотя это название, может быть, не вполне точно). Золотой меч, пронизывающий пурпур лиловых миров, разгорается ослепительно — и пронзает сердце теурга. Уже начинает сквозить лицо среди небесных роз; различается голос...” (с. 427).

На этапе „антитезы“ все меняется: „Как бы ревнуя одинокого теурга к Заревой ясности, некто внезапно пересекает золотую нить зацветающих чудес; лезвие лучезарного меча меркнет и перестает чувствоваться в сердце. Миры, которые были пронизаны его золотым светом, теряют пурпурный оттенок; как сквозь прорванную плотину, врывается сине-лиловый мировой сумрак (лучшее изображение всех этих цветов — у Врубеля) при раздирающем аккомпанементе скрипок и напевов, подобных цыганским песням” (с. 428). „Для этого момента характерна необыкновенная острота, яркость и разнообразие переживаний. В лиловом сумраке нахлынувших миров уже все полно соответствий, хотя их законы совершенно иные, чем прежде...” (с. 429).

На фоне этих превращений миров развертывается составляющая их основное содержание любимая тема Блока: превращения Девы — Незнакомки — Мудрости-Софии, и в конце за всем этим встанет, как сказал Андрей Белый, один лик — Россия (см. гл. I, 2).

Творчество по законам логики в воображаемых мирах

(в интенциональных мирах) — одна из основ новой поэтики. Мысль Блока — если наблюдать процесс с нашей, теперешней точки зрения — нашла соответствие в искусстве театра. Михаил Чехов выразил это, как всегда, в предельно точных терминах: "Наконец, еще одна мысль, одно ощущение стало овладевать мной. Это — ощущение творчества внутри самого себя. Творчество в пределах своей личности. Смутно угадывал я разницу между человеком, творящим *вне себя*, и человеком, творящим *в себе самом*. Я не мог тогда понять этой разницы с ясностью, с какой она выступает передо мной теперь (в 1927 г. — Ю.С.). По опыту я знал только об одном виде творчества: вне себя. Мне представлялось, что творчество не подвластно воле человека и направление его зависит исключительно от так называемого „природного предрасположения“» [Чехов 1928, 119]. Показывая дальше, как ему удавалось мало-помалу овладевать творческой энергией, вызывать в себе волевой импульс, Чехов натолкнулся на тот же вопрос, который уже раньше возник перед французскими символистами, — о противостоянии творчества "случаю" (см. гл. I, 6.1). Пессимизм "все яснее ставил перед моим сознанием свои невыносимые вопросы о цели, о смысле и пугал меня неразрешимостью вопроса жизни без нахождения закона *справедливости*, которая одна только может бороться с жестокостью и бессмыслицей *случая*" [там же, с. 120].

"Справедливость" в терминах Михаила Чехова, или "законосообразность", "оптимистическая сущность жизни", противостоящая "случайности", "случаю" как в самой жизни, так и в искусстве, — общая черта новой поэтики, которую начал создавать символизм.

У ранних, в особенности у французских, символистов рядом с этим положением существовала концепция так называемой "пассивной записи": художник, как медиум, должен терпеливо ждать, пока скрытый мир не проявится через его сознание, — и тогда художнику останется только "записывать". Эта концепция справедливо критиковалась в наши дни с позиций противопоставленного творческого метода — реализма (см. Предисловие).

Концепция "пассивной записи" играет важнейшую роль в творчестве и в теории Михаила Чехова. Она связана, если перевести это понятие в термины Чехова, с "чувством целого", с "предощущением будущего художественного целого". «Как часто актеры, — пишет Чехов, — имея перед началом работы это предощущение будущего, не имеют при этом достаточной смелости для того, чтобы *довериться* ему и терпеливо ждать. Они выдумывают и вымучивают свои образы, изобретая харак-

терность и искусственно сплетая ее с текстом роли и с выдуманными жестами и нарочитой мимикой. Они называют это работой. Да, конечно, и это — работа, тяжелая, мучительная, ненужная. В то время как работа актера в значительной мере заключается в том, чтобы ждать и молчать не „работая» [там же, с 32].

Про себя Чехов говорит: „Я никогда не выдумывал деталей и всегда был только *наблюдателем* (курсив наш. — Ю. С.) по отношению к тому, что выявлялось само собой из ощущения целого» [там же, с. 31]; играя, например, Муромского (в „Деле” А. В. Сухова-Кобылина), „остаюсь до некоторой степени в стороне от него и как бы наблюдаю за ним, за *его игрой*, за *его жизнью*, и это стояние в стороне дает мне возможность приблизиться к тому состоянию, при котором художник очищает и облагораживает свои образы, не внося в них ненужный черт своего личного человеческого характера” [там же, с. 148].

Таким образом, назначение и „пассивной записи” символов, и „наблюдения со стороны” Чехова — одно и то же: освободить свое произведение от черт случайного. Кажется, что принцип Чехова выступает как своеобразный синтез подходов Станиславского и будущего, в то время еще не возникшего как реформатор театра, Брехта: Чехов не живет в образе, а изображает, как Брехт, но изображает не копию действительности, а явившийся ему образ.

Глава II

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В XVII В. (МЕЖПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

XVII в. не представляет единой парадигмы философии языка, это — период „нетипичный”. Но что такое „тип” вообще?

Когда, к примеру, лингвисты говорят, что имеется определенное количество языков, распределяющихся, скажем, по двум типам — „номинативному”, как индоевропейские, и „активно-му”, как масса индейских, и примерно такое же количество языков, в которых черты того и другого типа смешаны и которые поэтому не образуют никакого типа, а являются лишь „промежутком” между типами, то что дает нам право говорить о первых типах? Не является ли более типичным состоянием языка, „типом” как раз второе — состояние невы-

раженности, недоведенности до предела резких и определенных черт? И, может быть, XVII в. — как раз типичное состояние философии языка, состояние "суспензии", смеси противоречивых признаков и незавершенных поисков определенности?

Как бы то ни было, XVII в. должен быть охарактеризован именно так. Еще продолжала существовать, вместе с остатками схоластики, философия имени (и все к тому же предвещало ей долгую, быть может вечную, хотя и периферийную, жизнь), и наряду с ней, отрицая ее, возникала философия Декарта — начало философии нового времени, чреватая новой, и даже не одной, парадигмой философии языка.

Беря как опору философии «мое „Я“», Декарт — одновременно и тем же самым мощным жестом — обезличил внешний мир. Мир предстал теперь лишь как механическая система, наделенная определенным количеством движения. Сам человек, за пределами его внутреннего "Я", его мышцы, аффекты, поведение, выглядел теперь как механизм. В области философии языка этот толчок в двух направлениях привел к возникновению двух парадигм.

С одной стороны, механический объективный мир для своего описания требовал языка как системы отношений, освобожденного от двусмысленностей, а вместе с ними и от красот, языка точного, ясного, рационального, формализуемого. XVII в. — время работ по искусственным формальным языкам, начатых Декартом и продолженных Лейбницем с его замыслом универсального математически формализованного языка "*characteristica universalis*". Спиноза, со своей стороны, способствовал созданию фундамента этих представлений. Все это получает завершение в XX в. во второй (после философии имени) парадигме — в философии предиката.

С другой стороны, "мыслящая субстанция", "Я", не менее властно требовала языка для описания состояний духа; более того, она требовала искать в самом языке его скрытую основу — "Я". Здесь коренится исходный принцип третьей парадигмы, развитой также лишь в XX в. и называемой нами философией эгоцентрических слов. Из "ведикских XVII в." лишь один Паскаль мыслил в этом духе.

Духовную — философскую, научную, художественную — атмосферу этого века точно обрисовал Поль Валери, говоря о Декарте (его очерк возник из речи "Декарт", произнесенной на открытии IX Всемирного философского конгресса в Париже в 1937 г.; конгресс был приурочен к 300-летию выхода в свет декартовского "Рассуждения о методе"). Валери писал: «Вся его философия, осмелюсь сказать — вся его наука, геометрия и физика, невольно выдают, молчаливо предполагают, исполь-

зуют его понятие „Я”. Нельзя не почувствовать, что его основной текст, „Рассуждение о методе”, — это монолог, в котором страсти, идеи, жизненный опыт, честолюбивые устремления и умолчания продиктованы одним и тем же внутренним голосом. Погружая этот замечательный текст в духовную атмосферу его эпохи, нельзя не заметить, что этой эпохе предшествовало время Монтеня, что монологи последнего как бы известны принцу Гамлету, что дух сомнения витал в воздухе, насыщенном разногласиями, и что этот дух, отразившись в математически устроенной голове, скорее всего должен быть принят в ней вид системы и вылиться в конечную формулировку в том акте, который его же и выражает: „Я сомневаюсь, значит, я могу быть уверен по крайней мере в том, что сомневаюсь”» [Valéry 1957, 818].

1. ДЕКАРТ И ЛЕЙБНИЦ

Среди написанного Рене Декартом (1596—1650) только один документ имеет прямое отношение к языку — письмо к аббату Мерсенну от 20 ноября 1629 г. В нем содержится идея искусственного универсального формализованного языка.

Мерсенн прислал философу напечатанный по-латыни проспект неизвестного автора касательно всемирного, или универсального, языка. Декарт в своем ответе резко критикует этот проспект и, как обычно, в ходе разбора формулирует собственные идеи. Автор предложений считал, в частности, что такой язык должен интерпретироваться с помощью словаря. Декарт замечает на это, что тут не было бы еще никакого новшества, что так обычно поступают все образованные люди применительно к любому языку. Суть дела, пишет Декарт, в грамматике: если в грамматике такого языка не будет ни дефективных, ни неправильных склонений и спряжений, а все они будут установлены единообразно с помощью префиксов и суффиксов, записанных и определенных в словаре, то последний простолоудин сумеет пользоваться этим языком с помощью того самого словаря, о котором говорилось раньше.

Этот проект был почти буквально реализован Заменгофом (в 1887 г.) при создании им искусственного языка эсперанто.

Но Декарт невысоко оценивает такой утилитарный язык, он мечтает о философском языке и пишет: „Я считаю, что к этому можно было бы добавить одно изобретение для образования исходных слов такого языка и придания им соответствующих свойств, так что этому языку можно было бы обучиться за весьма короткое время благодаря порядку, т.е. установив порядок между всеми мыслями, какие могут быть

в человеческом уме, подобно тому как имеется порядок в числах. Как можно за один день выучиться называть на незнакомом языке все числа до бесконечности, а также записывать их, — а ведь это бесчисленное множество различных слов, — так же можно поступить и со всеми другими словами, необходимыми для выражения всего, что попадает в человеческий ум. Если это будет изобретено, я не сомневаюсь, что такой язык весьма скоро получит хождение во всем мире, ведь найдется масса людей, которые охотно затратят пять-шесть дней, чтобы взамен получить возможность быть понимаемыми всеми. Изобретение такого языка зависит от истинной философии, ибо иначе невозможно исчислить все мысли людей, расположить их в порядке или хотя бы только различить их, так чтобы они предстали ясными и простыми. Вот в чем, по моему мнению, самый большой секрет для того, чтобы овладеть нужной [для этого] наукой. Если бы кто-нибудь сумел объяснить, каковы те простые идеи, которые обретаются в мышлении людей и из которых складывается все, что люди думают, и если бы с этим согласились все, то, смею надеяться, тотчас же появился бы всеобщий (универсальный, *universelle*) язык, весьма легкий для овладения, произношения и письма, и, самое главное, язык, который помогал бы разуму, представляя ему все предметы в таком отчетливом виде, что ему было бы почти невозможно ошибаться. Теперь же, напротив, едва ли не все слова, которыми мы владеем, имеют столь запутанные значения, к которым, однако, ум людей давно привык, что по этой причине он почти ничего не понимает как следует. Так вот, я утверждаю, что такой язык возможен и что можно открыть Науку, от которой он зависит, и тогда посредством этого языка простые крестьяне могли бы лучше судить об истине вещей, чем теперь это делают философы” [Couturat, Leau 1907, 13].

Идея комбинаторики понятий, интересовавшая уже Луллия, в XVII в. расширяется до идеи искусственного языка вообще. Возникшее в 1662 г. Лондонское Королевское общество (английская академия наук) организовало целый кружок ученых, задачей которых было создание искусственного языка, приспособленного для систематизации и классификации знаний [см.: Кузнецов 1983, 30—31]. Девятнадцатилетний Ньютон отдал дань этой идее, придумав свой проект универсального языка (рукопись Ньютона 1661 г. была опубликована и обсуждена лишь в наши дни [см.: Elliott 1957]).

Изложенная выше картезианская идея всю жизнь занимала Лейбница (1646—1716). (Из-за этой главной линии связи мы и считаем возможным объединить здесь Декарта и Лейбница.)

Общие соображения Лейбница относительно основанного на Декартовой идее универсального языка (*characteristica universalis*) и связей этого проекта с логикой достаточно хорошо известны [см., например: Стяжкин 1967, 198—241]. Менее известны практические попытки Лейбница реализовать эту идею. Между тем он подверг семантическому анализу сотни обиходных слов и терминов философии на латыни, языке тогдашней науки. Анализ в понимании Лейбница — и это вполне современное понимание — означает, что термин должен быть сведен к уже определенным терминам и к некоторому, по возможности наименьшему, числу неопределяемых терминов. Свои семантические толкования Лейбниц сгруппировал в разделы, своего рода семантические поля, а всю работу в целом назвал по-французски: "Tables des définitions" ("Таблицы дефиниций"). (Впервые она была издана по рукописи в 1903 г. — "Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Par L. Couturat. P. 437—509 p., а ее большая часть переиздана с параллельным польским переводом в 1975 г. в Польше [Leibniz 1975].)

Приведем несколько примеров. В поле общих философских понятий, с которого начинаются таблицы, Лейбниц, разумеется в полном соответствии со своей философией, дает:

Ens, res quod distincte concipi potest — "Сущее — вещь — то, что может быть ясно понимаемо". (Мы думаем, что здесь допустимо также, ради большей естественности русского выражения, переводить *ens* как "сущность", имея, однако, в виду все сказанное о сущности в предыдущих разделах; здесь это, скорее, первая сущность.)

Existens quod distincte percipi potest — "Существующее — то, что может быть ясно воспринимаемо".

Abstracta sunt Entia, quae discriminant diversa praedicata ejusdem Entis — "Абстрактное — те сущие [сущности], которые раздельно представляют предикаты одного сущего". Пример Лейбница здесь: "Хотя случается, что один и тот же человек есть и ученый и благочестивый, однако нечто различное — ученость и благочестивость, которые называются абстрактными сущими [сущностями] и считаются присущими (*inhaerere*) человеку как субъекту [подлежащему, субстрату]". В квадратных скобках для уточнения добавляем термины, не содержащиеся в тексте Лейбница).

Concretum est cui Entia inhaerent, et quod non rursus inhaeret. Nam interdum fit, ut abstracta inhaereant aliis abstractis, v. gr. magnitudo calori, cum calor est magnus. Et abstracta abstractorum indicantur adverbii: v. gr. calet valde, vel est calidus valde, id est habens calorem magnum... — «Конкретное есть то, чему присущи сущие [сущности] и что само ничему не присуще.

Ибо иногда бывает так, что абстрактные сущие [сущности] присущи другим абстрактным, например „сила тепла” [букв. ‘великость тепла’], когда тепло сильное [большое]. А абстрактные абстрактных указываются наречиями: например, „греет сильно”, или „сильно нагретый [очень теплый]”, т.е. имеющий большое тепло». Здесь же Лейбниц делает примечание: «Следует различать *Ens concretum* — Сущее конкретное, то, о котором говорится, и конкретный термин *terminus concretus*. Когда мы говорим „сильное [большое] тепло”, то здесь это большое, *magnum hoc*, есть Сущее абстрактное, а именно тепло; но *magnum*, большое, есть конкретный термин».

Accidens est ens abstractum derivatum, et opponitur abstracto primitivo seu constitutivo, quod vulgo vocant formam substantialem, et voce Aristotelis dici posset... Entelechia... — “Акциденция есть сущее абстрактное производное, противопоставляется абстрактному первичному или конститутивному, обычно называемому субстанциальной формой, а по Аристотелю можно было бы сказать... энтелехией...”

Corpus est extensum resistens — “Тело есть протяженное, оказывающее сопротивление (т.е. то протяженное, которое оказывает сопротивление. — Ю.С.)” [там же, с. 8].

В поле, называемом “Модусы существования” (*“Modi existendi”*), Лейбниц дает, в частности:

“Независимый — такой, который по природе не требует ничего предшествующего себе и который не имеет чего-либо недостающего.

Зависимый — обратное предыдущему...

Иметь — говорится, что А имеет, а В имеется у А, если В существует так, что им может воспользоваться А” [с. 34].

В поле “Главные страсти” (*“Passiones principales”*) Лейбниц анализирует такие термины:

“Восхищение (любование, *admiratio*) есть внимание к необычному (т.е. сосредоточение внимания на чем-либо необычном. — Ю.С.).

Любить — находиться в состоянии удовольствия из-за счастья другого или, если мы говорим, что некто или нечто любимо без рассудочного основания (*irrationalia*), — из-за его совершенства.

Ненависть — состояние удовольствия от противоположного предыдущему” [там же, с. 62] и т.д.

Внимание, лежащее в основе определения восхищения, само определяется в другом разделе, “Акты, пограничные со Страстями”, как “размышление с желанием познания” [там же, с. 64].

Лейбницевские таблицы заслуживают детального анализа,

но здесь нам приходится ограничиться несколькими наблюдениями.

Лейбниц подметил, что термины, как и слова обиходного языка (латынь была все еще обиходным языком ученых), группируются в поля, в каждом из которых легче подметить общее. Так, в последнем примере общим является "удовольствие", которое входит в разные определения; этот термин, следовательно, оставаясь словом описываемого языка, латыни, одновременно выступает в качестве семантического компонента определений (Лейбниц использует здесь особое свойство естественного языка [о нем см.: Степанов 1981, 129—130]). Это прием компонентного анализа, детально развитый впоследствии в лингвистике XX в.

Многие термины определяются взаимно, как противоречительные, посредством термина "обратное" (*contra*, *contrarium*). Они могут быть осознаны как одно и то же, взятое в одном случае со знаком +, в другом — . Некоторые термины, однако, определяются хотя и взаимно и тоже через отрицание, но последнее носит иной характер. Это видно на следующем примере (из раздела "*Consentanea et Dissentanea*" — "Согласующееся и Несогласующееся"):

"То же самое — то, что может заменить само себя при сохранении истинности (*salva veritate*).

Различное — то, что иначе (*Diversa, quae secus*)" [Leibniz 1975, 38].

Здесь термин *secus* 'иначе, иным образом' означает тоже отрицание, но без подставления противоречительного члена — просто отсутствие положительного члена; такое отрицание может быть уподоблено нулю (в лингвистике оно широко используется как обозначение ничем не отмеченного, "немаркированного" члена оппозиции).

Нам кажется, что в связи с этой работой Лейбница, как непосредственное продолжение этих идей, находится сочинение Канта "Опыт введения в философию понятия отрицательных величин" (1763). Некоторые места в нем почти буквально напоминают Лейбница: "Отвращение можно назвать отрицательным желанием, ненависть — отрицательной любовью, безобразие — отрицательной красотой, порицание — отрицательной похвалой... Ошибка, в которую впадают многие философы, пренебрегая этим, очевидна. Известно, что в большинстве случаев они рассматривают зло как простое отрицание, между тем как из наших объяснений явствует, что существует зло как отсутствие (*mala defectus*) и зло как лишение (*mala privationis*), оно поэтому есть отрицательное благо. Не дать что-то — значит причинить зло тому, кто

нуждается в этом, но отнять, вынудить, украсть будет гораздо большим злом; изъятие есть отрицательное даяние. Нечто подобное можно указать и в логических отношениях. Ошибки суть отрицательные истины (не следует смешивать это с истинностью отрицательных суждений), опровержение есть отрицательное доказательство" [Кант 1964а, 97].

Основная проблема "Таблиц", только частично, вероятно, осознанная самим Лейбницем, связана с этими понятиями — "противоположное", т.е. "то же со знаком минус", и "иное", т.е. "не то же в смысле нуль". Сам термин "противоположное" (*opposita*) определяется как "то, что не может ни одновременно быть, ни одновременно не быть" [Leibniz 1975, 38] (в том же поле, что предыдущие примеры). Очевидно, что это определение как-то соответствует, в остальной части философии Лейбница, тому различию, которое он проводит между "истинами факта" (это то, противоположное чему возможно) и "истинами логическими" (это то, противоположное чему невозможно). Определение "противоположного" явно не относится к истинам факта, но, отодвигаясь тем самым в план логики, оно вместе с тем как бы изъято из логических отношений. Похоже, что Лейбниц нащупал здесь какое-то явление, относящееся к интенциональному миру и подобное декартовскому "Я мыслю, следовательно, я существую".

У Канта гораздо более определенно различаются логические противоположности и реальные противоположности. Работа Канта сыграла большую роль в выработке его понятия антиномий и тем самым во всей системе его философии.

Хотя предметом семантического анализа Лейбница являются слова латинского языка его времени, за ними стоят как их фон соответствующие слова живых европейских языков с их повседневными употреблениями. Не говоря уже о конкретных словах, таких, как "чернила", "кафедра", "сладкий" (определяемый через "вкус сахара") и т.п., явно связанных с реалиями лейбницевского века, все определения аффектов и страстей пронизаны моральными представлениями этого времени, а вовсе не ассоциациями латинских слов с понятиями римской эпохи. Латинский язык выступает здесь лишь как покров, как средство отвлечься от слишком индивидуальных контекстов живых европейских языков, прежде всего французского и немецкого.

Действительно, в отличие от Декарта и сходно со Спинозой, Лейбниц интересовался не только искусственным языком, но и живыми языками своего времени. Если Спиноза подверг философскому истолкованию древнееврейский язык, то Лейбниц проделал ту же работу с немецким. Задолго до Гумбольдта Лейбниц начал говорить о духе языка (кажется,

впрочем, не употребляя этого термина); он видел, например, "силу немецкого языка" в выражении конкретного и в сопоставлении "химерам нереальности", но в то же время, выступая теоретиком живого языка, видел и слабость немецкого языка — в отсутствии в нем, в его тогдашнем состоянии, слов для выражения абстрактных понятий логики, метафизики, этики, юриспруденции и, обращаясь к будущему, приглашал ученых создавать такие слова (отсылаем читателя к книге Сигрид фон дер Шуленбург, написанной в 1929—1939 гг. [Schulenburg 1973]).

Вернемся к Декарту. У него можно найти еще один, слабый, источник лейбницевской системы определений — в Декартовых опытах определения страстей. В трактате "Страсти души" (в его II части) Декарт говорит о том, "каково назначение страстей и как их можно исчислить" (п. 52; разрядка наша. — Ю.С.) [Декарт 1914, 153]. Для этого, по его мнению, следует только рассмотреть, сколькими разными способами наши чувства могут быть затрагиваемы их объектами. "Число простых и первоначальных страстей не особенно велико. Легко заметить, что их только шесть, а именно: удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль, а прочие либо составлены некоторыми из этих шести, либо суть их виды" (п. 69) [там же, с. 158]. Так, *удивление*, по Декарту, есть первоначальная страсть, оно не имеет противоположного и определяется очень сходно с тем, как это делает позднее Лейбниц: "Удивление есть внезапная неожиданность для души, побуждающая последнюю обсуждать внимательно предметы, которые кажутся ей редкими и выдающимися" (п. 70).

Но в целом "исчисление" страстей у Декарта только намечено; его задачей здесь было иное — установить взаимодействие души и тела и содержание "состояний души", страстей. Это наброски Декартовой психологии, а не логики.

Полтора или два десятилетия назад часть американских лингвистов, побуждаемая внутренними потребностями своего направления, генеративной грамматики, обратилась к Декарту. На этом эпизоде истории науки интересно остановиться. Выражая это устремление к истокам, Н. Хомский писал, что, по его мнению, существовала глубокая аналогия во взглядах на язык между картезианской наукой XVII в. и генеративной лингвистикой. Он видел эту аналогию в трех конкретных положениях, которые выдвигал он сам и, по его мнению, также Декарт: 1) использование языка во всяком акте его употребления человеком носит новаторский, творческий характер, который невозможно объяснить подражанием каким-либо

"моделям", существующим всегда в небольшом числе; 2) нормальное использование языка является не только новаторским и потенциально бесконечным по разнообразию, но и свободным от управления какими-либо внешними или внутренними стимулами, доступными наблюдению; 3) каждый акт нормального использования языка обладает связностью и соответствием ситуации [Хомский 1972, 23].

Конечно, прямо эти утверждения нельзя найти у Декарта, и, безусловно, они явно относились не к языку, а к мышлению; вместо слова "язык" в них всюду можно подставить слово "мышление" без того, чтобы изменилось их содержание. Это выяснилось очень скоро. Уже в третьей главе той же книги (представляющей самостоятельную лекцию) Хомский писал: "Мы должны постулировать врожденную структуру, которая достаточно содержательна, чтобы объяснить несоответствие между опытом и знанием, структуру, которая может объяснить построение эмпирически обоснованных порождающих грамматик (в сознании каждого ребенка, впервые овладевающего языком. — Ю.С.) при заданных ограничениях доступа к данным" [там же, с. 97]. Эта гипотеза явным образом связывалась с теорией врожденных идей Декарта, и в этом и заключалось действительное основание для аналогий с XVII в. Вполне понятно также, что постулируемая "врожденная структура" оказалась не чем иным, как генеративной грамматикой самого Хомского.

Но ко времени появления этой гипотезы Хомского в Европе уже существовала разработанная теория развития мышления (в онтогенезе), и в частности теория усвоения языка ребенком — "генетическая эпистемология" Ж. Пиаже. Естественно, что гипотеза Хомского должна была войти с ней в конфликт. Дискуссия между представителями того и другого направлений продолжалась ряд лет, пока наконец оба направления не встретились, в окружении сторонников, за "круглым столом" для выяснения отношений [материалы этой встречи см.: Théorie du langage 1979; Семиотика 1983]. Оба лидера признали, что между их теориями существует общее: обе постулируют "врожденное ядро" (*noyau fixe*). Но если Хомский видит его, как уже сказано, в своей генеративной грамматике, то Пиаже связывает его с функцией символизации, которая на определенном этапе развития индивида от ребенка до взрослого превращается в пропозициональную функцию. Этим указанный эпизод истории науки можно считать исчерпанным. (Его дальнейшие последствия, вполне актуальные, относятся уже к специальным областям психологии. Что касается языка, то нам представляются верными положения

Пиже, и мы старались исследовать понятие пропозициональной функции в языке и искусстве слова [Степанов 1981; 1983].)

Подлинное значение для философии языка и современной теоретической лингвистики имеют не "врожденные идеи" Декарта, а его концепция "Я".

Развивая свое положение "Я мыслю, следовательно, я существую" (*Je pense, donc je suis*), во *Втором* из "Метафизических размышлений" Декарт писал: "Mais qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est une chose qui doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent" [Descartes 1960, 128] — "Но что я такое? Вещь, которая мыслит. Что такое вещь, которая мыслит? Это вещь, которая сомневается, которая понимает, которая представляет, которая утверждает, которая отрицает, которая хочет, которая не хочет, которая еще воображает и ощущает".

С одной стороны, эта декартовская "энумерация", "полное перечисление", как он любил говорить, почти целиком отвечает типам "интенциональных актов, интенциональностей" у Гуссерля (см. ниже, гл. V, 2). Таким образом, опередив свой век, Декартово учение о "Я" стало первым камнем в фундаменте новой философии языка, "философии эгоцентрических слов" XX в.

С другой стороны, этот перечень предикатов довольно хорошо соответствует "субстанции" в "дереве Порфирия" (см. гл. I, 2) [см. также: Степанов 1981, 74], начиная с его ветви "Тело", с тем коренным различием, что у Декарта это — субстанция как раз непротяженная, т.е. не тело. Декарт располагает субстанции в иерархию в соответствии с мерой их объективной реальности, их бытия. Таким образом, для Декарта (как он сам говорит об этом, в частности в "Третьих возражениях", п. 9) бытие имеет степени, они же — степени совершенства, идущие вниз от высшей, от бога. И, поскольку это иерархия сущностей, это все еще философия имени. Она оставляет странное впечатление — человеческого тепла и космического холода одновременно. Как хорошо подметил Валери, "это прогрессия от нуля в позитивную бесконечность. Каждый термин этой упорядоченной последовательности получает свою долю объективной реальности от высшего термина, который передает ему часть своего совершенства, подобно тому как более теплое тело отдает часть своего тепла менее теплому, которое прикасается к нему" [Valéry 1957, 830].

2. СПИНОЗА

Языковая философия Бенедикта Спинозы (1632—1677) предстала теперь достаточно полно благодаря открытию заново его "Очерка грамматики еврейского языка" ("Compendium Grammatices linguae hebraeae"), т.е. грамматики классического еврейского, в частности языка библейских текстов. Впервые очерк был опубликован в 1677 г. в посмертном собрании сочинений философа. Но, написанный по-латыни, с массой древнееврейских примеров и терминов и к тому же неоконченный, он оставался в существе своем непрочитанным. Положение изменилось, когда в 1968 г. очерк был переведен на французский язык и издан с комментариями [Spinoza 1968; ниже указываются страницы этого издания].

В некотором отношении Спиноза предстает в своем труде как "философ имени" и даже доводит постулат этой философии до крайности, рассматривая все части речи (кроме междометий и союзов) как имена. Однако одновременно в другом отношении он подрывает основы этой философии и выступает, как теперь видно в ретроспективе, первой крупной фигурой новой философии языка — философии предиката.

В гл. V ("Об имени") он пишет: "В латинском языке речь делят на восемь частей, но применительно к еврейскому в этом можно усомниться. В самом деле, если исключить междометия, союзы и одну или две частицы, все слова еврейского языка имеют значение и свойства имени" (с. 65). Но уже определение имени у Спинозы весьма своеобразно. "Объясню теперь, что я понимаю под *именем*. Под именем я разумею слово, которым мы означиваем или указываем что-либо, подпадающее под наше понимание. А поскольку под понимание подпадают или вещи, их атрибуты, их модусы и их отношения, или действия, а также их модусы и их отношения, то нетрудно собрать виды имен... Есть шесть видов имен: 1) имя существительное, разделяемое на имя собственное и имя нарицательное, 2) прилагательное, 3) релятив или предлог, 4) причастие, 5) инфинитив, 6) наречие. Следует добавить также местоимение, которое замещает имя существительное" (с. 66—67).

Уже в связи с этим ключевым пунктом возникает вопрос (который затем можно отнести ко всем основным пунктам "Грамматики"): является ли "Грамматика" Спинозы еще одной сферой приложения принципов спинозизма — после метафизики, этики, политики еще и язык? Несомненно да, и это показывает в своем предисловии к ней Ф. Алькье. Но речь должна идти о чем-то большем.

Думается, что грамматика еврейского языка явилась для Спинозы и источником некоторых его философских идей.

Прежде всего еврейский язык, конечно, интересовал Спинозу в связи с толкованием библейских текстов. Об этом говорят прямые соответствия между "Грамматикой" и некоторыми частями "Богословско-политического трактата". В последнем Спиноза писал: "Не зная метода, мы ничего не можем определенно знать, чему хочет учить Писание, или святой дух. А этот метод истолкования Писания, коротко говоря, не отличается, по-моему, от метода истолкования природы, но согласуется с ним совершенно. Ибо как метод истолкования природы состоит главным образом в том, что мы излагаем собственно историю природы, из которой, как из известных данных, мы выводим определения естественных вещей, так равно и для истолкования Писания необходимо начертать его правдивую историю и из нее, как из известных данных и принципов, заключать при помощи законных выводов о мысли авторов Писания... Следовательно, общее правило толкования Писания таково: не приписывать Писанию в качестве его учения ничего, чего мы не усмотрели бы самым ясным образом из его истории... Она должна содержать *природу и свойства языка* (курсив наш. — Ю.С.), на котором книги Писания были написаны и на котором их авторы обыкновенно говорили..." [Спиноза 1957, т. 2, 106—107]. Это положение может рассматриваться как одно из первых по времени установлений герменевтики.

Спиноза сумел увидеть в языке вообще элементы картины мира и в еврейском языке — элементы особой картины мира, которая, по-видимому, представлялась ему наиболее адекватной картине мира, создаваемой его собственной философией. По нашему мнению, в этих положениях Спинозы впервые появляются весьма определенные элементы той гипотезы, которая получила развитие в XX в. в двух вариантах — как гипотеза "промежуточного мира" (Zwischenwelt), каковым представляется язык, как бы стоящий между действительностью и сознанием, созданная Л. Вейсгербером в Германии, и как "гипотеза языковой относительности", или гипотеза Сепира—Уорфа, в США. В связи с той либо другой Спиноза никогда не упоминался. Основной тезис обеих концепций, как известно, гласит, что тот или иной этнический язык активно, хотя и неосознанно для его носителей, формирует их представления об объективном мире вплоть до основных категорий времени и пространства; так что, например, эйнштейновская картина мира была бы иной, если бы она создавалась на основе, скажем,

языка индейцев хопи [о первой гипотезе см.: Гухман 1961, о второй: Новое в лингвистике 1960].

Вернемся к основному положению Спинозовской "Грамматики" — об имени. Обнаружив (или считая, что он обнаружил) в еврейском языке особое качество слов — их именной характер, возможность трактовать все их как имена, Спиноза воспользовался этим для далеко идущей реформы грамматики: для снятия исключений. "Так как грамматисты не поняли этого свойства еврейского языка, они сочли исключениями из правил множество вполне регулярных положений грамматики" (с. 65). Описание грамматики как вполне правильной системы, системы без исключений, Спиноза считает основной задачей своего очерка. И это вполне определенный аналог к основному положению Спинозизма: к полному детерминизму мира. Если мир не знает исключений, то тем более не должно их быть в грамматике — отражении мира.

Интересен, конечно, вопрос: в какой степени мнение Спинозы об именном характере слов еврейского языка обосновано лингвистически? В известной мере обосновано. Действительно, в семитских языках корень слова — носитель вещественного значения — составляют обычно три согласных (редко два), а вхождения и исключения гласных соответствуют изменениям грамматических значений, трактуемых у Спинозы как атрибуты субстанций.

Комментаторы указывают, что трактовка Спинозой имени бога, данная, правда, не в "Грамматике", а в "Богословско-политическом трактате", проливает свет на его общее грамматическое положение и, добавим, показывает, что Спиноза действует в этом случае вполне в духе философии имени. Более того, он буквально близок к Николаю Кузанскому (см. гл. II, 4). «...Бог говорит Моисею (Исход, гл. 6, ст. 2), чтобы показать особенную милость, ему оказанную: „и открылся Аврааму, Исааку и Иакову богом Шадай, но под именем моим, Иегова, я не был известен им"... Затем должно заметить, что в Писании не встречается никакого имени, кроме Иеговы, которое указывало бы на абсолютную сущность бога, без отношения к сотворенным вещам. Поэтому евреи и утверждают, что только это имя бога есть собственное, остальные же суть нарицательные; и действительно, остальные имена бога, будут ли они существительные или прилагательные, суть атрибуты, которые богу приличествуют, поскольку он рассматривается в отношении к сотворенным вещам или становится известным через них... Теперь, так как бог говорит Моисею, что он под именем Иеговы не был известен отцам, то следует, что они не знали ни одного атрибута бога, который изъясняет

его абсолютную сущность, но знали только его действия и обещания, т.е. его могущество, поскольку оно проявляется через видимые вещи» [Спиноза 1957, т. 2, 181—182; ср.: Николай Кузанский 1979, 88—89].

К этому месту текста Спинозы комментаторы добавляют, что в библейском тексте имя бога Иегова (Yehowah) обозначается только согласными YHWH; что касается гласных, то хотя раввиновская традиция добавила их в приведенном варианте, однако это именно добавление; отсутствие первоначальной вокализации означает, что полное имя бога, т.е. его согласные вместе с гласными, остается скрытым от человека. Эту лингвистическую особенность по существу и интерпретирует Спиноза [Spinoza 1968, 26].

Соответствия между "Грамматикой" и философией можно установить не только в пункте, касающемся имени, но и во многих других. Ф. Алькье указывает следующие. Предлоги, поскольку они трактуются у Спинозы как имена, могут иметь грамматическое множественное число; тем самым, по Спинозе, предлог означает не отношение одной индивидуальной вещи к другой, а "интервалы", временные или пространственные, между вещами (гл. X). Грамматическое время (гл. XIII "О сопряжении") охватывает, по Спинозе, только прошедшее и будущее, тогда как настоящее рассматривается лишь как невыделимая граница между тем и другим. В связи с инфинитивом как именем (гл. XII) и каузативными глаголами (типа рус. *поить* от *пить*, т.е. 'заставлять пить; делать так, что кто-либо пьет') встает вопрос о причинности в мире. В связи с возвратными активными глаголами типа рус. *мыть-ся* (гл. XX) поднимается вопрос о непосредственной причине и т.д. — одним словом, многие вопросы доктрины спинозизма оказываются параллелью также и к вопросам грамматики еврейского языка.

Остановимся, для иллюстрации, на одном из них. В гл. XIV, касаясь спряжения глаголов, Спиноза говорит: "Я поместил повелительное наклонение, императив, прежде будущего, потому что будущее образуется по императиву. Кроме того, очень часто будущее употребляется вместо императива" (с. 142). Сама по себе связь этих двух грамматических форм не исключительная особенность еврейского языка; она встречается, например, в древнеиндийском языке вед, так называемом ведийском. Но комментаторы Спинозы склонны придавать этой черте особое значение, поскольку, согласно Спинозе, божественный порядок в мире имеет смысл как извещение о том, что произойдет, если человек совершит тот или иной поступок. Действительно, в гл. IV "Богословско-политического

трактата” мы находим такое рассуждение о первородном грехе: бог открыл Адаму то зло, которое последует, если Адам вкусит от древа, но не открыл необходимости этого следствия. В результате Адам воспринял это откровение не как необходимую истину, а лишь как постановление, закон. Отсюда далее нетрудно проложить путь к тезису Спинозы: свобода достигается сознанием необходимости (что, как известно, удовлетворяет лишь первой части марксистского определения свободы по Энгельсу [Маркс, Энгельс, т. 20, с. 116; ср. в кн.: Спиноза 1957, т. 1, с. 57].

Таковы некоторые положения, связывающие рассмотрение философских проблем языка у Спинозы с традициями “философии имени”. Впрочем, намечается уже и отход от нее: в утверждениях, что “все слова — имена”, и в др. Ряд же тезисов Спинозы представляет собой положения уже совсем другой парадигмы — “философии предиката”.

Они группируются вокруг спинозистского понимания сущности. Возьмем определения, данные в “Этике”: “Под *субстанцией* я разумею то, что существует само в себе и представляется само через себя, т.е. то, представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которой оно должно было бы образоваться” [Спиноза 1957, т. 1, 361]. Это определение субстанции похоже на определение сущности, как оно дается в “Категориях”, с той существенной разницей, что определяемое здесь сразу связывается с представлением в сознании. Далее: “Под *атрибутом* я разумею то, что ум представляет в субстанции как составляющее ее сущность”. Здесь сущность понимается, скорее, в духе “Метафизики”. Поэтому для Спинозы вполне естественно выражение “сущность субстанции”; оно было бы абсурдом для философии имени, развиваемой в традиции “Категорий”. Сущность здесь не что иное, как “пучок атрибутов”.

И несколько выше: “*Конечною в своем роде* называется такая вещь, которая может быть ограничена другой вещью той же природы”. Рассел по этому поводу замечает, что для Спинозы конечные вещи определяются своими физическими и логическими границами — иными словами, тем, чем они не являются. “Всякое ограничение есть отрицание” [Рассел 1959, 590]. В этом пункте Спинозы видится, на мой взгляд, прообраз будущей центральной идеи структурализма, выраженной — на примере языка — Ф. де Соссюром: сущности языка определяются не своим положительным содержанием, а лишь негативно — тем, чем они отличаются друг от друга; сущность — не что иное, как пучок негативных отличительных признаков (так называемых дифференциальных признаков).

3. ПАРАДИГМА "ДВУХ ЯЗЫКОВ" И УЧЕНИЯ ПОР-РОЯЛЯ

Своеобразие грамматических учений (а возможно, и логики) Пор-Рояля в настоящее время кажется сильно преувеличенным. Скорее, мы должны рассматривать их как блестящий этап в долгой предшествующей традиции. Особенность этой традиции (см. гл. I, 0) заключается в том, что человеческий язык, язык вообще, рассматривается как состоящий из двух слоев, или языков: один — точный, ясный, упорядоченный, закономерный, близкий к логике, общий для всех людей; другой, или, точнее, другие, ибо их много, — своеобразный у каждого народа, изменчивый, непоследовательный, полный причудливых правил на разные случаи употребления.

Собственно говоря, истоки этой традиции в неявной форме можно проследить уже в схоластике эпохи расцвета. В той мере, в какой схоласты говорят о суппозициях терминов, они говорят по существу о языке в первом смысле — о языке, близком к логике или даже о языке самой логики. Но ведь одновременно это какой-то отдельный язык — чаще всего латинский (хотя схоласты не исключали, по-видимому, что то же самое может быть выражено и на их родных языках — английском, французском, испанском и др.) .

Еще яснее эта мысль проходит у так называемых модистов XIII—XIV вв. Под этим названием объединяют группу грамматистов схоластического периода, разрабатывавших учение о "модусах значения" ("modi significandi"), откуда и название. По-видимому, одним их самых крупных среди них был Боэций Датчанин (Boethius Dacus; из-за двусмысленности латинского слова *Dacus* его имя иногда ошибочно переводят как 'Боэций из Дакии, или Дакийский', но Дакия — это современная Румыния). Он автор по крайней мере двух трактатов — "Modi significandi" и "Topica" ("Топика"). Около 1270—1275 гг. Боэций, как и другие "модисты", стал рассматривать грамматику как науку (scientia), применяя к ней критерий "одна для всех языков". Естественно, что такая грамматика могла быть только логической. Тот же тезис выразил и Роджер Бэкон, который присовокуплял, что в языках мы имеем дело с проблемами двух родов (идея "двух языков"), но только проблемы первого рода, общие для всех языков, являются предметом грамматики. По-видимому, Р. Бэкон первый употребил термин "универсальная грамматика". Будучи логической, грамматика является не только универсальной, но и дедуктивной наукой. Боэций дал этому тезису точное определение: грамматика — это наука о речи, трактующая о правильных сочетаниях слов в предложениях посредством модусов означивания [см.: Bur-

sill-Hall 1976, 172, см. также: Signification... 1982]. Тем самым идея двух языков уже незримо присутствовала, и оставалось ждать только благоприятных исторических условий, чтобы она проявилась в полном виде.

Эти условия возникли в XVI в., когда в Европе сложилась уникальная языковая ситуация: в одно и то же время и зачастую одними и теми же людьми, в первую очередь учеными, употребляются гуманистическая, т.е. близкая к классической, латынь, народная латынь довольно широкого обихода, национальные языки, причем в романских странах, чем ситуация еще более усложняется, эти языки, как ясно даже непросвещенному человеку, обнаруживают свое происхождение от латыни. На этом фоне возникает оригинальная языковая концепция испанского гуманиста Франсиско Санчеса "де лас Бросас" (1523—1601), т.е. из города Бросы (по-латыни он именовал себя Sanctius Brosensis). Свой главный труд, грамматику латинского языка, он назвал "Минерва" ("Minerva seu de causis linguae latinae" — "Минерва, или о причинах латинского языка").

Из априорно постулируемой разумности человека Санчес выводит принцип рациональности мышления и языка — ratio ("разум, разумное основание, рациональная сущность"). Он считает, что посредством анализа предложения и частей речи можно выявить рациональные и поэтому универсальные основы языка вообще, универсального языка [см.: Малявина 1982, 145]. Универсально понятое предложение трехчленно: оно состоит из имени, глагола и частиц. Эта классификация Санчеса совпадает с аристотелевской (Санчес вообще находится под большим влиянием Аристотеля), в последней было тоже три члена: имя, глагол, союз ("артрон"). Под "частицей" у Санчеса, как и под "членом" у Аристотеля, понимается целый класс разнообразных по грамматической роли слов — союзы, предлоги, артикли, союзные слова типа рус. *что* и т.д.

Реально наблюдаемые предложения в любом языке (в грамматике Санчеса приводятся примеры из испанского, итальянского, немецкого, голландского и других языков) требуют раскрытия универсальных компонентов: три универсальных члена реализуются в шести частях речи: имя, глагол, причастие, предлог, наречие и союз (последний здесь понимается уже в собственном смысле, более близком к современному пониманию этого термина).

Хотя в анализе конкретных предложений употребляется больше элементов, чем их имеется в универсальном, логическом предложении (шесть вместо трех), это лишь инструмент анализа; это не значит, что предложения конкретных языков

более расчленены и, следовательно, более ясно построены, чем универсальное, логическое предложение. Как раз наоборот. Предложения конкретных языков зачастую туманны, неопределенны, двусмысленны. Это объясняется главным образом двумя их особенностями: добавлением чего-то излишнего, ненужного для ясного выражения мысли и, напротив, сжатием и опущением чего-то, что в логически составленном предложении выражено в полном виде. Последнюю особенность живых языков Санчес называет эллипсисом (Л.А. Малявина считает учение об эллипсисе ядром всей концепции Санчеса). К этому надо добавить, что эллипсис у Санчеса является, по-видимому, приложением более общего учения схоластов об "экспонибиях" (см. гл. I, 3). В свою очередь это понятие Санчеса предвосхищает понятие "глубинной структуры" в лингвистике наших дней. Санчес, например, считает, что все предложения с непереходными глаголами должны разлагаться, т.е. представляться в полном логическом виде, как предложения с переходными глаголами и объектом: *Мальчик спит = Мальчик спит сон, Собака бежит = Собака бежит бег*. Этот способ анализа находит реальную основу в языках разного типа — в русском и других индоевропейских имеется такой тип предложений, как *Горе горевать, Прожить жизнь, Петь песню*, где объект, как в анализе Санчеса, лишь повторяет смысл глагола (это еще и риторическая фигура, *figura etymologica*); в арабском языке способ Санчеса является довольно обычным приемом и т.д. Смысл всех этих приемов Санчеса заключается в том, чтобы восстановить логическую полноту выражения мысли.

Универсальный, логически правильный язык, восстанавливаемый через предложения реальных языков, сам по себе не выражен, его выражение и есть грамматика, которая понимается вслед за "модистами" как наука и называется у Санчеса "разумное основание грамматики" (*grammaticae ratio*), "грамматическая необходимость" (*grammatica necessitas*) (заметьте это употребление модального логического термина, которое впоследствии стало частым при определении законов науки) и, наконец, "законная конструкция" (*legitima constructio*). Но Санчес делает новый шаг в создании, как мы теперь видим в ретроспективе, парадигмы "двух языков": один из естественных языков стоит ближе всего к универсальному логическому, этот язык — латинский (для Спинозы таким языком был древнееврейский).

Если же вспомнить, что латинский язык, каким описывал его в своей грамматике Санчес, это не "кухонная латынь", а язык отшлифованный и тонкий, близкий к классической

латыни Рима, то станет ясно, что для Санчеса латинский язык есть, насколько это вообще возможно, воплощение универсального логического языка, призванного служить прежде всего целям науки. Конкретные разнообразные живые языки — испанский, французский, итальянский, немецкий и т.д. — в противоположность этому будут языками быта, практической жизни, повседневного обихода и искусства.

Мы увидим далее, что опосредованным путем эта парадигма "двух языков", из которых один призван служить целям науки, а другой, или другие, — целям практического общения в обиходе, а также целям искусства, сохраняется вплоть до концепции Р. Карнапа и философов — представителей логического позитивизма XX в. и после неудачи их проектов снова возникнет в концепции "ноуменального" и "феноменального" языков в наши дни.

Но ее ближайшим по времени к эпохе Санчеса воплощением стали учения Пор-Рояля во Франции. Мы говорим "учения" во множественном числе, потому что "Граматику" Пор-Рояля (полное название — "Грамматика универсальная и рациональная", 1660 г.) и "Логик" Пор-Рояля (1662) надо рассматривать как две ветви по существу единой лингво-логической концепции. Авторами первого труда были А. Арно (Arnauld) и К. Лансело (Lancelot), второго — тот же А. Арно и П. Николь (Nicole).

Санчес упоминается в "Грамматике" как предшественник, но, конечно, труд ученых Пор-Рояля стоит на высшем уровне, во многих отношениях — на уровне нашего времени. Главная идея "Грамматики", основанной на учении Декарта, заключается в том, что грамматика имеет подлинным предметом прежде всего универсальные закономерности выражения мысли в слове, в частности в предложении, и как таковая она является наукой. Грамматики отдельных языков по отношению к первой — это частные случаи, различия между которыми обусловлены конкретными особенностями каждого языка и его "обычая" (l'usage), и поэтому являются, скорее, "искусством" [подробнее о грамматическом учении Пор-Рояля см., например: Бокадорова 1982; изложение логики Пор-Рояля см.: Маковельский 1967]. Идеи универсальной грамматики XVII в. были продолжены в грамматиках французских просветителей XVIII в.

В общем, концепция "двух языков" представляется нам "малой парадигмой" философии языка, она прозябает на протяжении веков рядом с основной парадигмой каждого века, и в то время как основные парадигмы сменяют одна другую, "малая" лишь меняет фаворитов в роли своего "пер-

вого", универсального логического, языка: у Санчеса им был латинский, у просветителей его место займет сама логика в формах любого конкретного языка, у Карнала — "язык науки", у некоторых современных американских философов — "ноуменальный язык".

Среди языковых концепций XVII в. нужно упомянуть еще очень интересную теорию русского словесника А.Х. Белобочко, по происхождению поляка, работавшего во второй половине века (точные даты рождения и смерти неизвестны). В реконструкции В.П. Вомперского [1979] эта теория выглядит следующим образом. Белобочкий разделяет литературный язык, или язык литературы — у него это, естественно, еще не различается, — на стили, каждый из которых связан с определенным жанром литературы. (Связь стиля языка, а иногда и особого языка с жанром литературы — обычное явление в старых литературных языках: в Древней Греции, как известно, был особый язык комедии, близкий к греческому языку Сицилии; особый язык трагедии; особый — лирики и самый особенный среди всех — язык гомеровского эпоса, не связанный ни с одним территориальным диалектом. Аналогичное явление имело место в Древней Индии середины III тысячелетия до н.э.: ведийский язык был языком священных текстов и обрядов, санскрит — языком эпоса и драмы, а также языком высших слоев общества, пракриты — языками низов.) Каждый такой стиль-жанр Белобочкий называет "сенсом" (иногда также "энсом", от лат. *ens* 'сущность'). Над "сенсами" доминируют два "разума" — "литеральный разум", или "сенс", и "таинственный разум"; и тот и другой проявляется в письменных текстах, так что одновременно это и классификация текстов. Тексты "литерального разума, или сенса", — это произведения, адекватные действительности (конечно, как это понимает Белобочкий; но как бы он это ни понимал, само их выделение представляется нам чрезвычайно актуальным: здесь, пожалуй впервые, возникает прообраз современного понятия интенционального мира). Иными словами, языковые выражения в таких произведениях надо понимать буквально, "литерально". (По-видимому, "разум" и "сенс" в сочетании с "литеральный" — одно и то же, потому что в этом разуме нет других сенсов.)

Что касается "таинственного разума", то он охватывает три "сенса" — "аллегоричный", "тропологичный" и "анагогичный", объединенные тем, что ни в одном из них основные выражения не понимаются буквально. "Аллегоричный сенс" представляет собой иносказание: "иносказание, еще есть таинство или подобие, когда в преобразовании глаголем где иное

есть в глаголе, а иное в разумении. Зане едино глаголется, а иное подразумевается" [цит. по: Вомперский 1979, 23]. "Тропологичный сенс" — это текст нравоучительный, морализирующий. "Анагогичный сенс" (от греч. ἀνάγω 'вести вверх') — это "высокий разум, к вышним есть ведущее глаголение, еже о воздании будущем и о тех, яко на небесе суть" [там же].

В настоящее время, когда язык художественной литературы семиотически изучается как язык особого рода, в котором термины и выражения имеют интенционал (смысл), но не влекут ни к каким внеязыковым реальным объектам (денотатам или референтам), как язык "возможных миров", концепция Белобоцкого представляется едва ли не самым интересным для истории взглядов на язык учением XVII в.

Глава III

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (МЕЖПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

В области философии языка XVIII в. — тоже межпарадигматический период, как и XVII в., но в ином роде. В XVII в. вообще отсутствует какая-либо парадигма философии языка, и взгляды Декарта, Лейбница, Спинозы, ученых Пор-Рояля вряд ли можно свести в этом отношении к какому-либо общему знаменателю, если, конечно, не считать этим общим совсем уже общую идею о наличии или по крайней мере о возможности некоего наилучшего рационального универсального языка. В XVIII в., несмотря на большое разнообразие взглядов на язык, все же можно установить две-три доминирующие линии, и между ними начинает складываться определенное, поддающееся довольно точной формулировке отношение.

С одной стороны, вырабатывается исторический взгляд на язык и существующие языки начинают рассматриваться как продукт развития языков, предшествовавших им в прошлом; этот взгляд вполне оформляется в самом конце века с открытием — разумеется, европейцами для себя — литературного языка Древней Индии, санскрита, и с попытками возвести большинство новых европейских языков к нему как к предку; зарождается сравнительно-историческое языкознание. Но с точки зрения философии языка все это — изучение лишь внешней формы языка, как раз поэтому малоинтересное. С другой стороны, развиваются абстрактные логико-философские сис-

темы Фихте, Шеллинга и Канта, и некоторые черты языка в них предстают, в отрыве от внешней формы, как логические константы содержания — мышления.

Именно поэтому первую и вторую линии следует рассматривать как две стороны одного и того же, как начало двух подходов к языку — сравнительно-исторического (чисто языковедческого) и логического, которым в силу самой природы языка и логики предстояло в будущем слиться. Но это будущее — логико-философская парадигма естественных, обычных языков — еще далеко впереди, в середине XX в.

Однако уже в XVIII в., в философии шотландской школы, у Томаса Рида (1710—1796), и у знаменитого экономиста Адама Смита (1723—1790) возникают первые идеи анализа повседневного языка с позиций "здравого смысла" [см., например: Грязнов 1979, 39].

Тот же подход — принцип историзма в его противопоставлении принципу рационализма и логицизма Декарта — провозгласил, возможно с наибольшей силой, не языковед и не логик итальянец Джамбаттиста Вико (1668—1744). Его главный труд "Основания новой науки об общей природе наций" (1725) был первым философским сочинением на народном, итальянском, языке. Вико выдвинул взгляд на историю человеческого общества как на закономерный процесс, имеющий к тому же четко выраженные стадии. Он рассматривал их как круговорот, как движение по спирали, состоящей из трех витков, соответствующих детству, юности и зрелости отдельного человека: 1) божественная эпоха (безгосударственность, подчинение жрецам), 2) героическая (аристократическое государство), 3) человеческая (демократическая республика или представительная монархия с буржуазно-демократическими свободами). Этим трем стадиям общества соответствуют три стадии языка: 1) иероглифический (священный, божественный, тайный) язык, язык немой, воплощаемый в жестах рук, мимике лица и движениях тела, имеющих естественную связь с сущностями вещей — идеями; 2) символический (героический) язык, реализующийся посредством сравнений, метафор, аналогий; 3) человеческий (письменный, народный, разговорный) язык — язык звуков, слов и высказываний. В выделении "тайного" и "символического" языков слышатся отголоски библейского предания (см. гл. I, 4) и заметно сходство с идеями XVII в., например с различными "сенсами" А.Х. Белобоцкого.

Своеобразие мысли Вико состоит в том, что эти стадии (сама по себе идея стадий выдвигалась разными мыслителями в разной форме), по-видимому, являются для него одновременно всевременными, панхроническими типами языка, или, точнее,

типами знаковых систем. Если брать не отдельные высказывания Вико, которые часто кажутся поразительно современными, а этот его главный и общий лингво-философский тезис, то следует считать, что «„основания новой науки” подготавливают создание “истории форм” разработкой философии различных форм символической деятельности человека, среди которых языку отводится центральное место» [Степанова 1978, 452].

При таком взгляде можно, как нам кажется, сопоставить типологию Вико с первыми попытками применения марксистской философии к обоснованию семиотики как науки о знаковых системах, выражающих идеологии, как это мыслил В.Н.Волошинов в 1929 г.: «Объективная социальная закономерность идеологического творчества, ложно истолкованная как закономерность индивидуального сознания, неизбежно должна утратить свое действительное место в бытии... Его действительное место в бытии — в особом социальном, человеком созданном *знаковом материале*... Наука об идеологиях ни в какой степени не зависит от психологии и на нее не опирается... Действительность идеологических явлений — объективная действительность социальных знаков» [Волошинов 1929, 19—20]; «Вопрос о конкретных формах имеет первостепенное значение. Дело здесь идет, конечно, не об источниках нашего знания общественной психологии в ту или иную эпоху (например, мемуары, письма, литературные произведения), не об источниках понимания „духа эпохи”, — дело идет именно о самих формах конкретного осуществления этого духа, т.е. о формах жизненного, знакового общения. *Типология этих форм* — одна из насущнейших задач марксизма» [там же, с. 28]. Но, конечно, в учении Вико мы имеем лишь самые общие черты будущей семиотики, и то их можно распознать только ретроспективно, от семиотики уже созданной, наших дней.

В целом XVIII в. в философии языка — век противоречивый. С одной стороны, в это время Вико выступает против рационализма Декарта за гуманитарное знание как средство познания человека, объявляя пагубным следствием картезианства то, что “ныне преследуется только одна цель — познание истины. Изучается природа вещей, потому что такое изучение *кажется точным* (курсив наш. — Ю.С.), не изучается природа человека, потому что, будучи свободною, она не поддается точному изучению” [Михайловский 1909, 79]. И Вико выступает здесь предшественником романтика Гердера (1744—1803) с его романтической философией языка. С другой стороны, французские просветители в своей “Энцик-

лопедии” с блеском продолжают идеи рационализма и грамматики и логики Пор-Рояля, хотя и не могут избежать некоторых противоречий (в частности тех, которые отмечал Вико), но в то же время сами осознают их и стремятся превратить из слабости в силу в своей двойной теории языка. Логико-философская линия — просветители — Кант — Гегель, основная в перспективе будущего, — будет здесь в центре нашего внимания.

1. ПАРАДИГМА “ДВУХ ЯЗЫКОВ” В ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

Нам кажется, что в философии языка просветителей самое интересное для той истории науки, которая пишется теперь, — их идея “двух языков” и ее конкретное воплощение. Как мы видели (гл. II, 3), уже ученые Пор-Рояля вполне осознали ту мысль, что наряду с логическим слоем языка, доступным научному познанию, существует какой-то иной слой, своеобразный в каждом национальном языке, — предмет риторического искусства. В большой французской “Энциклопедии” (1751—1780) и в связанной с ней “Методической энциклопедии”, которая начала издаваться по завершении большой, эта мысль проведена уже вполне строго: «Грамматика может изучать два вида принципов строения языков. Первые присущи всем языкам, и их истинность неизменна; они относятся к природе самой мысли, служат анализу мысли и вытекают из самой мысли. Истинность вторых лишь гипотетична и зависит от соглашений, свободно принятых и изменчивых. Последние принципы имеют силу лишь у тех людей, которые их приняли, но при этом не потеряли права менять их или совсем отказываться следовать им в том случае, если обычай (l'usage) предпочтет модифицировать эти принципы или вовсе их отменить. В соответствии с этим могут существовать „общая” и „частная” грамматики. Общая грамматика есть основанная на законах разума наука об общих и неизменных принципах устной и письменной речи во всех языках» [Encyclopédie 1789, 190].

Автором цитированной и большинства других филологических статей в обеих энциклопедиях был Н. Бозе (N. Beauzée). К концу века общая грамматика начинает осознаваться как грамматика преимущественно синтаксическая, как сказали бы впоследствии и Карнап и другие — как “логический синтаксис”, или “синтактика” [см.: Бокадорова 1982, 120].

Что касается “частной грамматики”, то она “является искусством подведения под общие и неизменные принципы

устной или письменной речи произвольно установленных обычаем форм отдельных языков" (в цитированной статье Н. Бозе). Грамматическая наука предшествует любому языку, так как ее законы вечны и универсальны, они определяют область возможного и лишь предполагают возможность появления конкретных языков. Здесь следует заметить, что это понимание языковых законов как возможностей на полтора столетия предвосхитило концепцию закона в современной лингвистике [Гипотеза в современной лингвистике 1980, 95]. Грамматическое искусство, напротив, вторично по отношению ко всем языкам, потому что "обычай" (*l'usage*) каждого языка должен существовать прежде, чем грамматисты будут соотносить их с законами общей грамматики.

Как показала Н.Ю. Бокадорова [1982, 120], понятия "искусство" и "наука" в этом контексте вполне соответствуют общей концепции Д. Дидро: "Если объект производится или воспроизводится, то собрание и техническое расположение правил, согласно которым это делается, называется искусством (*l'art*). Если же объект лишь рассматривается с различных сторон, то собрание и техническое расположение наблюдений, относящихся к этому объекту, называется наукой (*la science*)" [цит. по: *Encyclopédie* 1976, 50]. Однако сам термин "искусство" здесь еще довольно близок к средневековому термину "*ars*", как он понимался в различных "*ars combinatoria*", "*ars magna*", например у Луллия. Следовательно, и противопоставление "науки" этому понятию "искусства" не вполне то же, что современное.

Кроме того, при всей кажущейся ясности логико-философских определений и разграничений "Энциклопедии" в них имеются противоречия, связанные, как показала М.Г. Якушкина, с наличием двух ведущих тенденций: 1) линии, следующей универсалистской концепции грамматики и логики Пор-Рояля, 2) линии, воплощающей эмпирико-материалистические тенденции философии Просвещения [Якушкина 1982, 154].

На наш взгляд, наиболее интересно, с далеко идущими последствиями, это столкновение двух линий проявилось в сфере определений, относящихся к "частной грамматике" как "искусству". С одной стороны, они определяются аналитически — как умение соотнести разнообразие "фраз" конкретных языков с единой логико-синтаксической формой, "позицией"; здесь нет и речи о каких-либо "свободно принятых соглашениях", напротив, такое "искусство" подчиняется не менее жестким правилам, чем "наука"; "искусством" его можно назвать лишь в том смысле, что его предмет — единичное, индивидуальное, которое надо уметь свести к всеобщему.

С другой стороны, аналогичные правила и определения подаются синтетически — как способ оформления речи, аранжировки ее частей, это уже, очевидно, зависит от воли отдельного человека и от "обычая", который можно изменять. В этом смысле в приведенном выше определении Н. Бозе идет до конца, утверждая, что люди могут "вовсе отказаться от того или иного обычая", — революционные идеи энциклопедистов здесь выражены вполне, применительно к языку.

Именно эта вторая линия оказалась впоследствии доминирующей в учениях французских семиологов (семиотиков) 1960-х годов М. Фуко, Р. Барта и др., согласно которым каждый относительно замкнутый язык литературного направления — классицизма, романтизма, классического реализма (и их подразделений) обладает своей "моралью", своим "этосом" (здесь был использован термин классической риторики, "этос текста", означающий представление о моральной личности автора данного текста). Этос может быть изменен, старый этос (ср. старый "обычай" у энциклопедистов) может быть вообще упразднен, и это будет означать революцию в языке литературы. Учение о языках художественной литературы становится учением об идеологиях и об их смене, учением о "семиотических революциях" (ср. также упомянутые выше идеи В.Н. Волюшинова 1920-х годов).

Как бы то ни было, концепция универсального языка, в его отношении ко "второму" языку, оказалась проведенной очень последовательно, и благодаря этому в "Энциклопедии" (особенно в "Методической энциклопедии") мы имеем первый опыт двухярусной терминологии — один ярус, или уровень, терминов относится к логическому всеобщему уровню языка, а второй — к его этническому уровню, особенному в каждом этническом языке, и, следовательно, к речи (термин "этнический" принадлежит нам). Итак, на логическом уровне имеется: 1) синтаксис — 2) пропозиция — 3) терм (syntaxe — proposition — terme), а на этническом уровне: 1) конструкция — 2) фраза — 3) слово (construction — phrase — mot). Единицы языка, взятые как "слово", могут быть короткими и длинными, легкими и трудными для произношения, гармонично звучащими и звучащими грубо, изменяемыми и неизменяемыми, исконными и заимствованными; существительными и глаголами и т.д.; взятые как "терм", они должны характеризоваться значением и могут быть низменными или "высокими", точными и двусмысленными, адекватными и неадекватными и т.д. Во всем этом, кроме того, видно большое сходство с идеями XVII в., например с различием "сенсов" в теории Белобоккого (см. гл. II, 3).

2. НЕКОТОРЫЕ ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ КАНТА И ГЕГЕЛЯ

С именем И. Канта (1724—1804) связаны два положения, играющие важнейшую роль в современном комплексе философских проблем языка: 1) окончательная формулировка связи между функциями мышления (категориями) и формами суждений; 2) релятивизация введенного еще Лейбницем понятия "возможного мира". Первое из этих положений завершает классическую парадигму — "философию имени", придавая окончательную форму понятию сущности, или субстанции, играющему, как мы видели выше, столь важную роль в этой парадигме. Второе предвосхищает новую парадигму, образуя фундамент для нового понимания модальности, которое органически входит в создаваемые в середине XX в. философские концепции языка. Поэтому целесообразно рассмотреть их в историческом контексте.

Категории в отношении к формам суждений. Б. Рассел, выделяя основные линии истории западноевропейской философии, считал, что понятия "сущность" или "субстанция" вообще возникают в ней как производные от языка. Понятие субстанции, являющееся основополагающим в философии Декарта, Спинозы и Лейбница, — производное от логических категорий субъекта и предиката, в конечном счете субстанции суть то, что может быть подлежащим предложению. Правда, к этому языковому определению (которое он называет логическим) Рассел добавляет: "в дополнение к этой логической характеристике, субстанции существуют постоянно, если только их не разрушит божественное всемогущество (что, как каждый заключает, никогда не случится)" [Рассел 1959, 610].

Здесь Рассел излагает положения предшествующей парадигмы, "философии имени", с точки зрения своей собственной философии и своих взглядов на язык, в центре которых — понятие предиката; отношения между понятиями первой подчеркнуты им точно, но как бы в обратном направлении. (Что касается термина, то Рассел использует здесь слово "субстанция" — общепринятый в западной философии латинский перевод греч. *οὐσία*, "усия", соответствующий русскому "сущность"; однако "субстанция" и "сущность—усия" в некоторых отношениях вовсе не синонимы, см. гл. I, 2.)

В философии имени, как мы видели, принимается такой тезис: первично существуют сущности (субстанции), сущности именуется (сигнифицируются) именами, вследствие этого могут быть также именованы вещи. Понятие сущности связано с понятиями существенных и несущественных свойств (ср. выше у

Аристотеля). Естественно, что, излагая историю западной философии с позиций своей собственной философии, Рассел должен был прийти к выводу о том, что прогресс философии связан с преодолением этого тезиса: «Эта проблема должна пройти через разные ступени разработки, прежде чем мы сможем изложить ее в терминах современной философии. Первый шаг, предпринятый Лейбницем, заключался в том, чтобы отделаться от различия между существенными и второстепенными свойствами, которое, как и многое из того, что схоласты заимствовали от Аристотеля, при первой же попытке точной его формулировки оказывается нереальным. Таким образом, вместо „сущности” мы получаем „все предложения, которые будут верны относительно данной вещи” (в общем и целом, положение данной вещи в пространстве и времени по-прежнему исключается)» [Рассел 1959, 486]. С той же точки зрения, своей философии, Рассел считал, что необходимо сделать «еще один шаг, а именно — нужно отделаться также и от концепции „субстанции”. Когда это будет сделано, „вещь” должна будет превратиться в совокупность качеств, ибо исчезает всякое ядро чистой вещественности» [там же, 487]. (Что Рассел и делал в своих работах, см. гл. IV, 3.)

Здесь, как и в некоторых других случаях (см. Предисловие), необходимо отделить от собственно философской проблемы проблему семиотическую, которая и является далее предметом нашего рассмотрения. Интересно, что в этой связи Рассел нигде, кажется, не упоминает источник своей идеи — открытие Канта. В „Трансцендентальной логике” (§ 9, 10) (часть „Критики чистого разума”, 1781 г.) Кант впервые определенно связал функции мышления с формами суждений и, следовательно, проложил путь, не рассуждая об этом специально, от форм суждений к формам языка. Кант писал: „Если мы отвлечемся от всякого содержания суждений вообще и обратим внимание на одну лишь рассудочную форму суждений, то мы найдем, что функции мышления в них можно разделить на четыре группы, из которых каждая содержит три момента. Их можно хорошо представить в следующей таблице” (далее следует знаменитая кантовская таблица деления суждений) [Кант 1964а, 168 и след.]. Кант делит суждения так: 1. Количество суждений — общие, частные, единичные. 2. Качество — отрицательные, утвердительные, бесконечные. 3. Отношение — категорические (эта рубрика потребует нам специально), гипотетические, разделительные. 4. Модальность — проблематические, ассерторические, аподиктические (§ 9).

Кант продолжает (§ 10): „Та же самая функция, которая

сообщает единство различным представлениям в одном суждении, сообщает единство также и чистому синтезу различных представлений в одной созерцании; это единство, выраженное в общей форме, называется чистым рассудочным понятием... Этим путем возникает ровно столько чистых рассудочных понятий, а priori относящихся к предметам созерцания вообще, сколько в предыдущей таблице было перечислено логических функций во всех возможных суждениях: рассудок совершенно исчерпывается этими функциями, и его способность вполне измеряется ими. Мы назовем эти понятия, по примеру Аристотеля, *категориями*, так как наша задача вполне совпадает с его задачей, хотя в решении ее мы далеко расходимся с ним" [там же, с. 174].

Надо заметить, что в этом замечательном рассуждении Канта впервые в истории и логики и лингвистики определенно указывается на связь между "длинным семантическим компонентом суждения" (как мы его называем), или "формой суждения" (по Канту, и категорией. Таким образом устанавливается связь между наивысшим обобщением синтактики ("длинным компонентом", "формой суждения") и таковым семантики ("категорией") [см. также: Степанов 1981, гл. IX]. Далее следует не менее знаменитая таблица кантовских категорий. Интересно, однако, что в целом кантовская классификация категорий оказалась в отличие от его классификации суждений искусственной, противоречивой в деталях и малоэффективной на практике: она почти не применяется.

Но один ее пункт очень важен: мы говорим о 1-м пункте раздела "3. Отношение." В нем указаны категории: Присущность и самостоятельное существование; последней соответствует указанная тут же *substantia* (субстанция), а первой — *accidens* (присущность к чему-то). Таким образом, Кант прямо поставил в соответствие категорию Субстанция (второй таблицы) и форму суждения, а именно Категорического суждения Отношения (первой таблицы). Это положение и является источником указанной выше идеи Рассела о том, что понятие "субстанция" — производное от языка (хотя еще у Аристотеля Сущность и Субъект поставлены в связь, но ведь до Канта идея этой "производности" еще окончательно не оформилась), и о том, что от этого понятия можно избавиться (ведь избавиться от него можно, только критически преодолев наиболее точную формулировку, в которой это понятие утверждается, т.е. формулировку Канта). Следует, пожалуй, напомнить, что избавиться от понятия субстанции Рассела, как и логическим позитивистам, не удалось.

Релятивизация понятия "возможность". До Канта

существовало одно понимание возможности в отношении к действительности — лейбнищевское. Лейбниц рассматривал возможность как фундаментальное понятие, определяя ее следующим образом: необходимо только то, обратное чему содержит противоречие; возможно все то, что само по себе непротиворечиво. Действительность в отношении к необходимости и возможности Лейбниц рассматривал как частный случай из полного набора возможностей. Актуальный, существующий действительный мир Лейбниц к тому же считал наилучшей из всех возможностей (эти взгляды Лейбница играют большую роль в философии языка расселовского и витгенштейновского типа. Они рассмотрены нами раньше [Степанов 1981, 225 и след.], и здесь мы не будем к этому возвращаться). Возможность, возможные миры при понимании по Лейбницу есть некое абсолютное понятие, по существу совпадающее с логической возможностью.

Кант рассматривает возможное не как абсолютное, а как относительно (релятивизированное) понятие, как возможность относительно чего-то. При этом, по Канту, наиболее важным случаем этого "чего-то" является действительный мир. Новая концепция изложена им в сочинении "Единственно возможное основание для доказательства бытия бога" (1763). Здесь Кант формулирует такие положения: "Всякая возможность дана в чем-то действительном или как некоторое определение в нем, или через него как следствие" [Кант 1963, 410]; "Безусловно необходимо то, противоположное чему само по себе противоречие. Это, несомненно, правильное номинальное определение. Но когда я спрашиваю, от чего же, собственно, зависит то, что небытие какой-нибудь вещи совершенно невозможно, я ищущу реальное определение, которое одно только может быть полезно для нашей цели" [там же, с. 412].

Как указывают В.Н. Садовский и В.А. Смирнов [см. в кн.: Хинтикка 1980, 26], в общем при построении семантики для современных стандартных и классических логик принимаются лейбнищевский взгляд, но кантовский подход развивается в таком важном течении неклассических логик, как концепция "возможных миров" Я. Хинтикки.

Когда мы, в самой обыденной ситуации, рассуждаем о том, что может произойти завтра или через неделю, или о том, что уже произошло, но чего мы пока не знаем, и говорим: "Я думаю, что произошло то-то и то-то", мы рассуждаем о возможности относительно той минуты и того места (того "мира"), где мы живем, и имеем дело с кантовским (и хинтиковским) понятием возможности (см. гл. VI, 3).

Еще две идеи Канта, имеющие отношение к философии

языка, рассматриваются ниже — идея антонимии (гл. II, 1) и проект прагматики (гл. VI, 0.1).

Значение Гегеля (1770—1831) для освещения философских проблем языка определяется тем же, чем и его значение для философии вообще, и прежде всего одной из основных идей его диалектики: диалектически изложенная система логики совпадает во всем существенном с историческим путем философии.

”Я утверждаю, — писал Гегель, — что если мы освободим основные понятия, выступающие в истории философских систем, от всего того, что относится к их внешней форме, к их применению к частным случаям и т.д., если мы возьмем их в чистом виде, то мы получим различные ступени определения самой идеи в ее логическом понятии. Если, наоборот, мы возьмем поступательное движение само по себе, мы найдем в нем поступательное движение исторических явлений в их главных моментах; нужно только, конечно, уметь распознать эти чистые понятия в содержании исторической формы. Можно было бы думать, что порядок философии в ступенях идеи отличен от того порядка, в котором эти понятия произошли во времени. Однако в общем и целом этот порядок одинаков” [Гегель, 1932, 34].

Это положение получило, как известно, полное одобрение В.И. Ленина. В своем «Конспекте книги Гегеля „Лекции по истории философии”», записав мысль Гегеля: «сравнение истории философии с *кругом* — „у этого круга по краям большое множество кругов”...», В.И. Ленин на полях замечает: ”Очень глубокое верное сравнение!! Каждый оттенок мысли = круг на великом круге (спирали) развития человеческой мысли вообще” [Ленин, т. 29, с. 221]. В сущности, этот принцип лежит в основе и настоящей книги.

Кроме того, значение Гегеля для понимания философских проблем языка заключается в том, что его собственное диалектическое изложение логики может быть прочитано как некоторая система порождения логических и в определенной степени лингвистических категорий (о фундаментальной связи диалектики с категориями языка и их развитием также, как известно, говорил В.И. Ленин).

Однако такое прочтение Гегеля — труднейшая задача, в настоящее время выполненная лишь в небольших фрагментах. Одним из таких новых фрагментарных прочтений центральной части гегелевской системы является ”диалектика имени” А.Ф. Лосева (см. гл. II, 5). Но этот подход, скорее, завершает ссылкой на Гегеля старую парадигму ”философии имени”.

Нужно упомянуть об отношении Гегеля к проблемам языка и языковедения помимо его системы, которые, надо сказать, Гегеля мало интересовали. Но все же между основным тезисом Гегеля о саморазвитии Абсолютной идеи и основным тезисом В. Гумбольдта (1767—1835) о языке как деятельности есть несомненный параллелизм, и, вероятно, здесь имело место взаимовлияние. Все это остается, однако, еще очень мало изученным [см.: Постоалова 1982, 47; Рамишвили 1978].

Глава IV

СИНТАКТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ("ФИЛОСОФИЯ ПРЕДИКАТА" КАК ВЫРАЖЕНИЕ СИНТАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЯЗЫКУ)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

К концу XIX в. картина языка, созданная в предыдущий период в философии имени, воспринималась уже, скорее, как холст, не столько изображающий, сколько скрывающий действительность. Подобно Буратино, философы языка могли видеть на холсте очаг, огонь в нем и котелок с похлебкой, но уже знали, что холст занавешивает настоящий очаг, в котором нет ни котелка, ни похлебки. Мир перестал восприниматься как пустое пространство, в котором размещены солидные хорошо определимые вещи, каждая из которых, вместе с ее неизменной сущностью, называется каким-либо именем.

В своей первой работе, "Опыт о непосредственных данных сознания" (1889), молодой А. Бергсон, философ, которому было суждено отметить своей мыслью новую эпоху, писал: "Каждый день я смотрю на одни и те же дома и, зная, что это те же самые объекты, постоянно называю их тем же именем. Но если через некоторое время я сравню свое первоначальное впечатление от них с теперешним, то поражаюсь, насколько неповторимое, необъяснимое и, самое главное, невыразимое изменение совершилось в них" [Bergson 1938, 8].

Художник Клод Моне три года спустя, ничего не зная о размышлении Бергсона, отказывается употреблять имя "Руанский собор" в единственном числе. Он пишет свою знаменитую серию картин "Руанские соборы", изображая единственный Руанский собор в разные часы дня, при разном освещении как совершенно различные "вещи".

Открытие художников-импрессионистов, новый предмет жи-

вописи не объективная вещь, не игра воздуха и света на ее поверхности, не субъективное впечатление от нее, а единство одного, другого и третьего, "вещь — свето-воздух — впечатление", оказалось художественным аналогом понятия предиката.

Еще несколько лет спустя, подводя итог новым логико-лингвистическим исследованиям, Б. Рассел сказал, что теперь нельзя представлять себе мир состоящим из вещей, мир состоит не из вещей, а из событий, или фактов. «Факты могут быть утверждаемы или отрицаемы, но не могут быть именуемы. (Когда я говорю „факты не могут быть именуемы“, — это, строго рассуждая, бессмыслица. Не впадая в бессмыслицу, можно сказать только так: „Языковой символ для факта не является именем“)» [Russell 1959, 43]. Языковой формой для выражения факта является предложение (пропозиция), и предикат — его центр.

В течение 20—30 лет, на рубеже веков, создалась новая картина языка, соответствующая новой картине мира и ее философским константам. Прежде всего она отвечала, несколько отставая от них, новым физическим представлениям о мире. Согласно теории относительности Эйнштейна ("частная теория относительности" 1905 г.), пространство и время объединяются в единую форму существования материи — пространство-время. Каждое событие определяется, иными словами — отличается от других, четырьмя координатами, тремя пространственными и одной временной, т.е. множество всех событий четырехмерно. Пространственные и временные отношения, "и в этом смысле само пространство и время, зависят от системы отсчета, по отношению к которой они определяются" [Философская энциклопедия 1967, 178].

В новой картине языка, в самом существе понятия предиката как ядра пропозиции о факте, кроются те же четыре координаты, а значит, и зависимость от системы отсчета. Но координата точки отсчета, сам говорящий, в этот период не осознается как отдельная, она присутствует в скрытом виде, как усредненная координата "всякого говорящего", носителя языка вообще. Она будет выделена особо и положена в основу всей картины лишь в следующей парадигме, в философии эгоцентрических слов.

Влияние математики и физики на глубинные представления о языке не прошло мимо внимания самих представителей новой лингвистической парадигмы. Рассел и Карнап, например, сами в той или иной мере были математиками или интересовались физикой. Рассел отметил, что математический подход к анализу таких, например, равенств, как $2 + 2 = 4$, был

по существу лингвистическим, так как при анализе констатируется лишь, что 4 означает просто иным знаком то же, что 2 + 2. «Физика, — продолжает Рассел, — как и чистая математика, тоже дала материал для философии логического (или, что в этом смысле то же самое, лингвистического. — Ю.С.) анализа... Обычный здравый смысл считает, что мир состоит из „вещей“, которые сохраняются в течение некоторого периода времени и движутся в пространстве. Философия и физика развили понятие „вещь“ в понятие „материальная субстанция“ и считают, что материальная субстанция состоит из очень малых частиц. Эйнштейн заменил частицы событиями» [Рассел 1959, 189].

Естественно, что вслед за этим переворотом во взглядах скоро возник вопрос: что же такое „факт“ или „событие“ в логическом смысле слова? Нельзя сказать, что и в наши дни, по прошествии нескольких десятилетий, он решен или хотя бы до конца ясно поставлен. В определенный период своей деятельности (позднее того, который мы упоминали в начале этого раздела) Рассел писал: «„Факт“, в моем понимании этого термина, может быть определен только наглядно. Все, что имеется во Вселенной, я называю „фактом“. Солнце — факт; переход Цезаря через Рубикон был фактом; если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт. Если я что-нибудь утверждаю, то акт моего утверждения есть *факт* (курсив наш; мы сейчас остановимся на этом сопоставлении или противопоставлении. — Ю.С.), и если одно утверждение истинно, то имеется факт, в силу которого оно является истинным, однако этого факта нет, если оно ложно... Факты есть то, что делает утверждения истинными или ложными» [Рассел 1957, 177].

Понятие „событие“ в этой связи предстает, скорее, как одна разновидность „фактов“ (мы коснемся этого вопроса ниже). Но вот различие между „актом“ и „фактом“ здесь совсем неясно. А между тем оно играло важную роль в предшествующей философской традиции, связанной с философией имени. Термином „акт“ (actus) схоласты переводили два термина Аристотеля — „энергеия“ (ἐνέργεια) как изменение в самый момент, в процессе его совершения, и „энтелехия“ (ἐντελέχεια) как совершившееся изменение и его совершенность, а следовательно, и как некое совершенство. Оба понятия Аристотеля связаны с понятием „сущность“: отличая „акт в потенции“ от акта осуществленного, Аристотель сближает первый с сущностью; и энтелехия тоже связана с сущностью. Испытывая неприязнь к „сущности“ как к понятию метафизическому, Рассел постарался не заметить и этого отличия „факта“ от „акта“.

Уже Фома Аквинский различал два вида предикации соответственно ее „принудительной силе“ (термин в кавычках взят на-

ми у Ч. Пирса): а) предикация, направленная на очевидное положение дел в мире — на то именно, что Рассел впоследствии будет называть "фактом"; б) предикация, направленная на неочевидное положение дел — на то, например, которое выражено пропозицией после союза "что": "X считает, что..." Предикация первого вида принуждает сознание принять ее в максимальной степени, она, как стал выражаться Пирс, "обладает максимальной принудительной силой" [Семиотика 1983, 165 и след.]. Предикация второго вида принуждает сознание в гораздо меньшей степени, причем в различной (ср., например, "полагает", "считает", "сомневается", "хочет, чтобы" и т.д.) [Nuchelmans 1983, 48]. Предикация второго вида породила уже во времена Фомы Аквинского и особенно впоследствии большую логику-лингвистическую проблему, которой не обошел и сам Рассел в связи с пропозициональными установками. Именно с предикацией этого вида и связано прежде всего явление "акта", поскольку оно проявляется в языке. Но отражение этой проблемы в теории языка оставалось в эпоху Рассела и в значительной степени все еще остается и теперь делом будущего.

Итак, в новой картине мира и языка мир состоит не из "вещей", размещенных в его пустом пространстве; мир состоит из "фактов", или "событий"; каждое событие описывается "атомарным" предложением; это описание является объективным, независимым от модальностей, вероятностей, мнений и т.п. — вообще от позиции наблюдателя-говорящего. Позиция человека-наблюдателя в мире фактов либо не учитывается, либо признается несущественной и усредняется. Предложение-пропозиция, описание "факта", создается предикатом и именами (термами), занимающими места, предусмотренные в предикате. Предикаты соответствуют не "вещам", а "отношениям" между вещами, и вместе с тем предикаты не именуют этих отношений.

Одновременно претерпевает изменение центральное понятие философии имени, "сущность", — самая семантическая и, еще вернее, единственная семантическая из всех Категорий, установленных Аристотелем. Только сущности, а следовательно вещи, могут именоваться словами языка, и только к отношениям между сущностями (вещами) и словами может хорошо подходить определение семантики как отношений между знаками языка и объектами внешнего мира. Если сущность (по крайней мере в смысле Аристотеля и "философов имени") — самая семантическая из философских категорий, то имя — самая семантическая из категорий языка. Можно сказать, что философия имени изучает все остальные категории лишь в той мере и в

том разрезе, в каких они соотносятся с категориями сущности и имени. И тем самым эта философия изучает главным образом семантику, притом семантику, определенную указанным выше, узким, образом.

Все "философы предиката" испытывают непреодолимое отвращение к понятию сущности и вместе с этим определенное недоверие к семантике. Действительно, предикат — самая несемантическая из категорий в этом смысле. Предикаты не именуют чего-то вне языка (хотя несомненно имеют отношение к чему-то вне языка). Нельзя, например, сказать, что в русском предложении *Я — здесь* (или в английском *I am here*) слово *здесь*, *here* или весь предикат в целом: — *здесь*, — *am here*, является "именем места", хотя предикат в этом предложении — это предикат места. Предикаты и сами не именуются словами языка: столь же невозможно, как и в предыдущем случае, сказать, что слово *здесь* или *here* именует предикат — некую мыслительную сущность, которая имеет место в предложении. "Семантический треугольник", характерный для имени, "вещь — ее имя (слово) — понятие о ней", применительно к предикату, с одной стороны, остается — ведь налицо три его элемента: нечто во внеязыковом объективном мире (что является отношением между вещами), нечто в языке (что является языковым выражением объективного отношения) и некая мыслительная сущность, соответствующая первому и второму одновременно. Но, с другой стороны, треугольник как бы распадается — ведь это "первое" не "вещь", "второе" не "слово", а "третье" не "понятие" (эти рассуждения будут подробнее продолжены в следующем разделе).

Отношения между предикатами как особыми мыслительными единицами, их внеязыковыми объективными коррелятами во внешнем мире и их языковыми выражениями — отношения принципиально иного порядка, они вовлекают в свою сферу не только и даже не столько семантику, сколько синтаксис. С понятием предиката мы входим в сферу синтактики.

Почему это так, в общих чертах, "неформально" ясно уже из вышесказанного. Но можно поставить вопрос и более "строго". И тогда на него как бы прямо дает ответ А. Черч в своем "Введении в математическую логику" (1956): "Положение станет яснее, если вспомнить, что для всякой логической системы можно предполагать существование многих правильных интерпретаций, при которых правильно построенным формулам (т.е. выражениям формализованного языка. — Ю.С.) приписываются различные денотаты и значения. Эти приписывания денотатов и значений могут быть осуществлены пу-

тем установления абстрактного соответствия, так что исследование этих приписываний относится к теоретическому синтаксису. Семантика начинается тогда, когда мы решаем вопрос о содержании правильно построенных формул путем фиксации какой-то конкретной интерпретации системы. Отличие семантики и синтаксиса обнаруживается в особенном значении, приданном одной конкретной интерпретации и устанавливаемом этой интерпретацией приписывании денотатов и значений правильно построенным формулам. Однако в пределах формальной логики, включающей чистый синтаксис и чистую семантику, об этом особенном значении нельзя сказать ничего, кроме того, что оно постулируется как особое" [Черч 1960, 383].

До тех пор пока логика занималась языковыми вопросами в общей форме, ее отношение к семантике характеризовалось последней фразой в приведенном высказывании Черча. Но как только в новой парадигме философии языка обратились от логики к естественному языку, произошла фиксация "одной конкретной интерпретации системы", а именно естественного языка, и тогда семантика стала сочетаться с синтактикой, с "чистым синтаксисом", так, как об этом говорит Черч. Так обстоит дело, если рассматривать этот вопрос в перспективе движения от логики к языку. Если же рассматривать вопрос в иной перспективе — от изучения языка к логике, то происшедшее равносильно тому, что от семантики перешли к синтактике.

Можно, пожалуй, сказать даже так: разработка синтактики (в том числе и формального синтаксиса в духе, например, Р. Карнапа) была связана с открытием в недрах семантики не вполне семантической категории — Предиката.

Тем не менее в первое время после открытия предиката его исследование, как это часто бывает в науке, производилось все еще по старым канонам — семантически и изолированно. т.е. пословно. Еще не было осознано, что само понятие предиката влечет идею всеобщей связи "фактов" в мире и связи "выражений" в языке, и этот первый период, пока это не было осознано, был периодом "логического атомизма". Под этим названием имеют в виду идеи раннего Рассела 1910—20-х годов и Витгенштейна времени "Логико-философского трактата", но к ним близки с семиотической точки зрения и работы Карнапа, в особенности до начала разработки им модальной логики и прагматики (т.е. до 1950-х годов). Предикат в контексте этих идей трактуется в "минимуме отношений", "атомарно", и такая трактовка обрисовывает его в особом ракурсе (см. раздел 3).

Второй период характеризуется учетом всеобщей связи, "системности", в противопоставлении "атомизму" — это время "Философских исследований" Витгенштейна и "лингвистической философии" Айера, Остина и др., время введения понятия "общая дистрибуция" в американской и советской лингвистике и попыток описания всего языка и каждого его элемента лишь в сетке "внутриязыковых отношений" (см. раздел 4).

Всему этому предшествовали — полузаброшенные к этому времени и видимые, скорее, лишь как руины — античные традиции стоиков (см. гл. IV, 2).

В отличие от философии имени, которая достаточно едина и, разделяясь на такие течения, как реализм, номинализм, символизм и т.д., разделяется лишь сообразно разным ответам на одни и те же вопросы, философия предиката более разнообразна и многолика, на разных ее этапах в ней ставятся все новые вопросы. И тем не менее она нечто достаточно единое.

Параллельно с философией предиката, как мы будем условно именовать названные выше концепции, происходит оформление феноменологии, в частности феноменологии языка, некоторые идеи которой близки к идеям философии предиката, а некоторые открывают следующую научную парадигму — философию эгоцентрических слов (о феноменологии как философии языка, но уже в рамках другой парадигмы, см. гл V).

В сфере поэтики названным течениям (исключая, разумеется, стоиков), или по крайней мере основным идеям этих течений, отвечают различные поэтики — поэтика футуризма, поэтика русского формализма, поэтика В.Я. Проппа, в настоящее время наиболее актуальная. Все они, однако, могут рассматриваться как "синтаксические поэтики", или "поэтики предиката", образуя "класс синтаксических поэтик"; двум из них посвящены особые разделы.

1. ПОНЯТИЕ ПРЕДИКАТА

Мы опишем здесь некоторые существенные черты предиката с современной, и притом семиотической, точки зрения.

Другая точка зрения (ее можно назвать "словарной"), согласно которой типичные предикаты — это глаголы, а глаголы в сущности ничем не отличаются от имен, кроме того что именуют не предметы, а действия, должна была представляться устаревшей уже в период "логического атомизма". Уже классическая логика прекрасно знала тот факт, что предикаты по своей семантической сущности — явления иного порядка, чем имена: "Субъект есть по своему смыслу прежде всего

единичное, а предикат — всеобщее” (Гегель, Наука логики, § 169. Но всеобщее, или общее, не именуется, а означается — на этом стояли уже схоласты, см. гл. I, 1); ”Способность суждения вообще есть способность мыслить особенное как подведенное под общее” (Кант, Критика способности суждения. Введение, IV). Даже когда одно и то же имя занимает то позицию субъекта (*Учителя много работают*) (1), то позицию предиката (*Мои родители — учителя*) (2), оно представляет совершенно разные семантические сущности — денотат, референт, экстенционал в первом случае, сигнификат, интенционал во втором. К тому же приведенные примеры, в которых, как кажется на первый взгляд, предикат — имя существительное, это лишь частные случаи предиката. После рассмотрения общего случая мы убедимся в том, что такие выражения, как ”данный предикат — имя существительное” или ”данный предикат — глагол”, неточны.

Предикат в общем случае — это пропозициональная функция (иногда, но редко употребляют также термин ”высказывательная функция”). Например, выражение ”— есть учитель” является предикатом, т.е. пропозициональной функцией — в данном случае от одной переменной. Переменная (аргумент, терм, или имя) обозначена здесь прочерком. Приведенное определение действительно как в логике, так и в лингвистике. Из него, между прочим, сразу видно, почему неточно выражение ”данный предикат — имя существительное”.

Предикаты классифицируются в соответствии с количеством переменных (иначе — термов, актантов), входящих в каждый из них:

одноместные: ” x — желтый”, ” x бежит” (*Лимон — желтый; Ваня бежит*);

двухместные: ” x читает y ” (*Ваня читает книгу*);

трехместные: ” x дает y z -у” (*Ваня дает книгу Маше*);

четыrehместные: ” x дает y z -у за w ” (*Ваня дает деньги Маше за книгу*) — и т.д.

В общем случае в формализованном языке предикат есть n -местное отношение. Обычно если уж предикаты определяются таким образом и количество n достаточно велико (в естественных языках оно редко превосходит 4—5), то содержание предиката теряет какую-либо явную связь с семантикой естественных предикатов; предикат в таком случае просто ” n -ка” (”энка”, как ”двойка”, ”тройка”) предметов (термов), взятых в определенной последовательности. С таким абстрактным понятием предиката приходится иметь дело в модальных и интенциональных логиках (см. гл. VI, 3).

Напротив, одноместный предикат иногда выделяется как

нечто совсем особенное, и поскольку в него входит лишь терм-субъект, то такой предикат иногда называют "нуль-местным". В естественном языке ему соответствуют качества и состояния (так, например, у Рассела, см. гл. IV, 3).

В лингвистике более обычным способом обозначения переменной является не латинская буква и не черта, а краткое описание переменной: например, "{Имя, обозначающее лицо} есть учитель". Получающееся при этом лингвистическое описание пропозициональной функции (или предиката) есть не что иное, как "тип предложения", "модель предложения", "структурная схема предложения" (предпочтительнее всего последний термин ввиду его однозначности). Замена переменной на постоянную (на имя) превращает пропозициональную функцию в предложение (например, *Мой брат — учитель*) (3).

Таким образом, предикат и пропозициональная функция (опять-таки как в логике, так и в лингвистике) — одно и то же, но как бы определенное с разной степенью детализации. Предикат определяется обычно в самом общем виде, без характеристики его переменных, а пропозициональная функция определяется как предикат и некоторая характеристика переменных — их "область определения".

Основания этого совпадения заключены в самом языке — в явлении "семантического согласования" между предикатом и субъектом предложения: так, в приведенных примерах (1), (2), (3) очевидно, что термом-субъектом может быть лишь объект, относящийся к классу "человек, лицо". Если это условие сформулировать явным образом, например сказав, что «термом данной пропозициональной функции может быть только объект, относящийся к классу „человек, люди“», то мы получим область определения этой функции. Последнее опять-таки будет действительно как для логики, так и для лингвистики. Однако, подчеркнем еще раз, и без такого явного определения пропозициональные функции, или предикаты, в естественном языке несут в самих себе указание на связь с теми или иными субъектами. Можно было бы подумать, что имеются предикаты, не несущие никакого указания на возможный субъект, например рус. *находиться ближе, чем* или просто *находиться*. Однако такое заключение было бы некорректным; вернее сказать, что такие предикаты несут указание на все возможные субъекты данного языка. В любом случае предикат в естественном языке должен оцениваться по соотношению с таксономией имен-субъектов, вообще — термов.

Таким образом, предикат отделяется от имени, даже ког-

да имя занимает позицию предиката ("справа от связки": Он — учитель).

Более трудной задачей оказалось отделение предикатов от глаголов в смысле умения не смешивать предикаты с глаголами. Ее выполнили в 1950-х годах лингвисты Л. Ельмслев и Э. Бенвенист. Существо их решения состояло в следующем. Положим, даны два русских глагола, образующих пару: *защититься* — *защищаться* в смысле 'обороняться' и в новом смысле — 'защищать свою диссертацию'; пока мы имеем возможность спрягать оба глагола параллельно, мы имеем дело действительно с глагольными единицами, но вот перед нами иной случай — *Защитается диссертация*, к которому не может служить параллелью выражение **Защитилась диссертация* (но только: *Была защищена диссертация*); здесь, следовательно, соединение глагола *защитить* и частицы *-ся* не образует единого глагольного слова; частица *-ся* в этом случае принадлежит предложению; что касается слова *защититься*, то оно соединяет в виде глагола две языковые сущности — глагол *защитить* и нечто, принадлежащее предложению, — морфему *-ся*.

Л. Ельмслев осознал такие частные случаи как общий случай: факт спряжения всегда (не только в примере, подобном русскому *-ся*) принадлежит предложению, или, сказали бы мы теперь, предикату; глагольное же слово указывает только на семантический признак предиката, на то, что этот признак, будучи отвлеченным от предиката и от предложения, представляется в виде отдельного слова — глагола [Hjelmslev 1948]. Таким образом, если продолжить мысль Ельмслева, глаголы, перечисляемые в словарях (в индоевропейских языках обычно в форме инфинитива), — это не "имена действий", а абстракции, созданные лингвистами [Бенвенист 1974, 289; см. также с. 167 и след.]. Глагол есть слово, совмещающее значение предиката и некоторое количество других признаков, вытекающих из семантики субъекта, объектов, трансформаций и перифраз данного предиката. Таким образом, предикаты — это особые семантические сущности языка, и они типизируются языком не в форме словарных единиц, глаголов, а в форме пропозициональных функций и соответствующих им "структурных схем предложений".

Проблема именованя. Предикаты не именуют. Или, во всяком случае, говорить, что "предикаты именуют", — значит употреблять глагол "именовать" в необычном смысле. В позиции предиката имя, даже то же самое имя, что и в позиции субъекта (это мы видели выше на примере со словом

учителя), означает не предмет, а некоторое понятие. Поэтому если оно и "именует" нечто, то "именует понятие". Это действительно необычное употребление глагола "именовать". Правда, кажется, Оккам употребляет его (т.е. соответствующий латинский эквивалент) в таком смысле, но лишь там, где требуется подчеркнуть именование словом как материальным знаком его собственного содержания. Но в таком случае достаточно термина "сигнифицирует", уже введенного выше (см. гл. I, 1).

Базисные, или базовые, предикаты. Они могут пониматься чисто семантически. В таком случае базисный предикат — это всегда "одноактантный", "нуль-местный" предикат, обозначающий свойство или состояние. В поверхностной форме индоевропейского предложения ему обычно соответствует непереходный глагол (*Иван спит*), прилагательное (*Иван высок*), причастие (*Окно разбито*) или "предикатив" типа *болен* (*Иван болен*). Все остальные предикаты при таком взгляде должны сводиться к базисным, и эта редукция, как, например, в семантическом языке А. Вежбицкой, приобретает зачастую причудливые формы (*Иван разбил окно молотком* = "Окно разбито + потому что + молоток пришел в соприкосновение с окном + ..." и т.д. [Wierzbicka 1972]).

Базисный предикат может пониматься и синтактико-семантически, т.е. формально: как предикат, не содержащий среди своих термов, или актантов, целого предложения [см.: Демьянков 1980]. Так, определяемый базисный предикат будет частным случаем по отношению к определению Вежбицкой (по Вежбицкой, базисный предикат вообще не должен содержать никаких термов, кроме субъекта).

Мы, как уже было сказано, вводим в качестве базисных предикатов 10 категорий Аристотеля, отмечая особый статус категории Сущность, т.е., собственно, 9 следующих за ней категорий (см. гл. I, 2).

Категории Сущность, Качество, Отношение, поставленные во главе списка, являются с логической точки зрения основными. В известном смысле можно сказать, что каждая из них выступает основой одного из разделов формальной логики. "Сущность" (как "класс") — основой "логики классов" с рассматриваемым ею основным видом суждения " S есть P ", где S и P — классы (экстенционалы). "Качество" — основа "логики свойств" (так мы условно называем логические системы, принимающие отождествление свойства и класса, как, например, у Р. Карнапа), которая рассматривает в качестве основного вида суждение $P(x)$, " x обладает

свойством (качеством) P ". "Отношение" является основой "логики отношений", которая в качестве основного рассматривает суждение вида aRb "а стоит в отношении R к b ".

Базисные предикаты вступают между собой — в тексте — в линейные семантико-синтаксические отношения. Их в свою очередь можно типизировать, введя, например, понятие "суперпредикат". Если базисные предикаты действуют в пределах простого предложения (и поэтому в известном смысле верно определение Х.Б. Карри — "предикаты превращают имена в предложения"), то "суперпредикаты" действуют в пределах сложного предложения. "Сложное" понимается при этом как "составленное из простых". Поэтому можно сказать, что суперпредикаты превращают простые предложения в сложные.

К суперпредикатам естественно отнести прежде всего союзы типа *если, потому что, вследствие того что* и т.п. Но список суперпредикатов продолжает пополняться, так как открываются все новые языковые явления, которые оказываются при глубинном семантическом и синтаксическом анализе подходящими под этот разряд (см. также гл. IV, 2).

В американской лингвистике последнего десятилетия детально исследуются текстовые связи предикатов: как ориентировано предложение с данным предикатом, как оно связано с предшествующим дискурсом, с фоном всего дискурса, какова референция субъекта при данном предикате и т.п. [см.: Демьянков 1982, 2047—2048]. В советских работах детально обследуется семантика [см.: Семантические типы предикатов 1982].

Нелинейные, внетекстовые отношения между предикатами базисного списка. Вообще говоря, между предикатами базисного списка не должно быть никаких отношений. Это утверждение оказывается просто следствием того, что предикаты этого списка являются или категориями (как в нашем списке, по Аристотелю), или "примитивами" (как, скажем, в списке А. Вежбицкой), следовательно, элементами и, следовательно, неопределимыми. Быть неопределимым — и значит быть неразложимым. Будучи неразложимыми, предикаты этого списка не сводимы ни к каким другим элементам и, значит, не сводимы друг к другу. Предикаты базового списка нельзя удовлетворительно описать чем-либо, подобным "компонентному анализу". Нельзя, например, утверждать, что как "мужчина" может быть семантически сведен к компонентам "человек" + "мужского пола" + "взрослый", так же и базовый предикат может быть каким-нибудь подобным образом сведен к компонентам, состоящим из других базовых предикатов: "место" не может быть сведено к "времени" и т.п. Однако в практике даже строгого логического анализа нечто, на первый

взгляд похожее на эту операцию, постоянно проделывается, по крайней мере с тремя первыми предикатами аристотелевского списка. "Класс" (т.е. "Сущность"), "Свойство" и "Отношение" нередко выражаются одно через другое. В некоторых формализованных системах, "языках", действует так называемый принцип объемности, т.е. отождествления свойства с классом. Р. Карнап, как известно, видел даже в устранении "удвоения имен" (в устранении различия "имен свойств" и "имен классов") основную заслугу своего метода.

Однако операция, которая имеет при этом место (не всегда в явно выраженном виде), довольно своеобразна. На наш взгляд, наиболее удачно ее формулирует Р. Столл: "Любая форма $P(x)$ определяет некоторое множество A посредством условия, согласно которому элементами множества A являются в точности такие предметы a , что $P(a)$ есть истинное высказывание... Можно сказать, что решение вопроса, является ли данный предмет a элементом множества $\{x|P(x)\}$, есть решение вопроса, обладает ли a некоторым определенным свойством (качеством)... В таком случае... каждое свойство определяет некоторое множество" [Столл 1968, 16]. Иными словами, при переходе от предиката "Качества" к предикату "Сущности (Класса)" или наоборот исследователь выходит за пределы языка и устанавливает эквивалентность предикатов на основании эквивалентности объективных, внеязыковых ситуаций. В сущности то же самое обычно производят говорящие, когда заменяют выражение времени выражением места, например: *Мы позавтракаем в поезде* вместо *Мы позавтракаем в 12 часов* (если известно, что "Мы будем в поезде в 12 часов").

Из всего сказанного выше напрашивается вывод, что предикаты, будучи категориями и будучи связанными со строением предложения в целом (а не с какой-либо его частью), не должны поддаваться контрастному компонентному анализу. Семантический анализ предикатов влечет радикальные изменения в семантической теории — он требует не контрастной теории значения.

Как известно, идеи иной, "контрастной теории значения" были обобщены в рамках лингвистического позитивизма, в частности А. Айером. Согласно этой теории, элемент языка, например слово, обладает значением лишь в силу контрастирования с другими словами (ср. идею "чистых оппозитивных сущностей языка" де Соссюра). Что касается категорий, то они, согласно этим воззрениям, принадлежат к "запрещенным уровням абстракции", на которых принцип контраста утрачивает силу. Поэтому, в частности, категориальные термины, находящиеся на "неконтрастном уровне семантики", не

контрастирующие один с другим, такие, как "бытие вообще", "существование вообще", а также "прогресс", "материя" и др., рассматривались как лишенные смысла.

Построение универсальной классификации предикатов влечет за собой иные выводы. Заставляя признать "неконтрастный уровень семантики" (каковым и является семантика основных предикатов), оно вместе с тем заставляет признать осмысленность категорий предикатов и обобщение в них объективных явлений бытия.

Наконец, последняя проблема. Выше мы все время рассуждали о предикатах как о базисных предикатах, извлеченных из простого предложения. Однако не видно, кажется, никаких особенных логических оснований к тому, чтобы устанавливать категории (т.е. базисные предикаты) именно таким путем — извлекая их из простых предложений, как и поступал Аристотель. Можно попытаться извлекать их из сложных предложений, рассматривая как базисные предикаты "суперпредикаты", связывающие простые предложения в тексте. Такая возможность отвечала бы самому духу новейшей парадигмы — философии эгоцентрических слов, которая в то же время принимает за основную языковую данность текст. Но осознали эту возможность еще стоики (см. гл. IV, 2).

Итак, подобно имени, предикат достаточно хорошо обследован логически и формализован. Но что он представляет собой по существу? В чем сущность акта предикации, столь неотъемлемого от мышления вообще? Этот вопрос всегда существовал рядом с логическим анализом языка как философский вопрос языка, иногда третируемый как "метафизический".

Даже Рассел (а именно он вместе с другими представителями логического позитивизма употреблял это нелестное имя "метафизика") не мог избежать этого вопроса. В поздних работах Рассел стал называть ту разновидность фактов, которая выражается пропозициональной функцией и предикатом, событием. «Мое мнение сводится к тому, что „событие“ может быть определено как законченная совокупность сосуществующих качеств, имеющая два свойства: (1) все качества совокупности сосуществуют и (2) ничто вне совокупности не сосуществует с каждым членом совокупности. Я считаю эмпирическим фактом, что никакое событие не повторяется» [Рассел 1957, 117].

В настоящее время для адекватного описания семантики высказываний признается необходимой тройная категоризация (различение): "вещь" — "факт" — "событие". Факт определяется как нечто лишенное пространственно-временной актуализации и в этом смысле близкое к вещи; обычным языковым способом выражения факта является номинализация предложе-

ния (рус. *Тот факт, что мы с вами встретились; Наша с вами встреча*). Событие понимается как неповторимое пространственно-временное сочетание явлений; обычной языковой формой выражения события является полное предложение (*Мы с вами встретились наконец сегодня*). Однако с логической точки зрения вопрос до конца не решен. Понятие элементарного события, очень важное для многих пунктов теории языка (например, для описания русских глагольных видов), очень трудно определимо. Первые определения [Reichenbach 1948; Davidson 1967] вызвали большую дискуссию. Имеются как противники различения факта и события [Horgan 1978; Hornsby 1980], так и его сторонники [Арутюнова 1980; Hacker 1982].

В поздних работах Рассел склоняется к мысли, что структура синтаксиса в общем и целом отражает структуру мира [Russell 1980, 374]. Но это лишь общее утверждение. По-видимому, Рассел чем дальше, тем больше отказывался от рассмотрения предиката по существу, и если мы хотим узнать об этом что-нибудь из его работ, то должны обратиться к ранним произведениям.

В период, предшествующий оформлению его понятия "событие", о котором мы упомянули, в "Логическом атомизме" 1924 г., он писал: «Атрибуты и отношения, хотя они, *может быть, и не поддаются анализу* (курсив наш. — Ю.С.), отличаются от субстанций, и именно тем, что они подразумевают некую структуру, и тем, что не может быть сигнифицирующего символа, который символизировал бы их отдельно от предложения. Так, символ для „желтый“ (если для иллюстрации допустить, что „желтый“ — это атрибут) — это не отдельное слово „желтый“, а пропозициональная функция „*x* есть желтый“, где структура символа показывает позицию, которую слово „желтый“ должно занимать в предложении, если оно будет что-нибудь сигнифицировать. Аналогично этому отношению „предшествует“ выражается как „*x* предшествует *у-ку*“. Символ для простейшего возможного типа факта также имеет форму „*x* есть желтый“ или „*x* предшествует *у-ку*“, но только „*x*“ и „*у*“ уже не неопределенные переменные, как в первом случае, а имена» [Russell 1959, 44]. Это, может быть, и не вполне "сущностный", но все же анализ.

В еще более ранних работах Рассел делал попытки идти дальше и довольно четко обозначил контуры понятия "предикат", не проникнув, однако, в его сущность. Он писал: «Все наше знание а priori касается чего-то такого, что, говоря точно, не может существовать ни в духовном, ни в

физическом мире. Это нечто может быть обозначено лишь теми частями речи, которые не являются существительными, это — качества и отношения. Предположим, например, что я в своей комнате. Я существую, и моя комната существует, но существует ли „в”? С другой стороны, очевидно, что слово „в” имеет смысл; оно обозначает отношение, в котором нахожусь я и моя комната. Это отношение, про которое мы не можем сказать, что оно существует в том же смысле, в котором существуют я и моя комната... Эти отношения... должны быть помещены в мир, который не есть ни духовный мир, ни физический. Этот мир очень важен для философии, а особенно для проблемы априорного познания» [Рассел 1914, 66].

В этом смысле Рассел был не так далек от Маха (от которого, впрочем, он, Айер, и другие сторонники логического позитивизма достаточно решительно отмежевывались). Действительно, всегда, начиная с открытия заново этой категории в начале XX в., предикат сущностно всегда понимался как некое совпадение „внешних”, объективных отношений, существующих в мире, и „внутренних” отношений, существующих в акте предикации в нашем сознании.

Э. Мах еще в 1905 г. в книге „Познание и заблуждение” (гл. I) писал, соединяя „внешние” и „внутренние” элементы: «Все физическое, находимое мною, я могу разложить на элементы, в настоящее время дальнейшему разложению не поддающиеся: цвета, тоны, давления, теплоту, запахи, пространства, времена и т.д. Эти элементы оказываются в зависимости от условий, лежащих вне и внутри U (U — „пространственные границы нашего тела”. — Ю.С.). Постольку, и только постольку, поскольку эти элементы зависят от условий, лежащих внутри U, мы называем их также ощущениями. Так как ощущения моих соседей столь же мало даны мне непосредственно, как и им мои, то я вправе те же элементы, на которые я разложил все физическое, рассматривать и как элементы психического. Таким образом, физическое и психическое содержат общие элементы, и, следовательно, между ними вовсе нет той резкой противоположности, которую обыкновенно принимают. Это становится еще яснее, когда оказывается, что воспоминания, представления, чувствования, воля, понятия строятся из оставшихся следов ощущений и с этими последними, следовательно, вовсе не несравнимы. Если я теперь называю всю совокупность моего психического, не исключая и ощущений, моим „Я” в самом широком смысле этого слова (в противоположность более тесному „Я”, см. выше), то в этом смысле я могу сказать,

что в моем „Я” заключен мир (как ощущение и как представление)» [Мах 1912, 104].

Если выделить в этом идеалистическом рассуждении Маха об „элементах” рациональное зерно, то оно заключено в том, что физическое и психическое, объективное и субъективное в определенных моменты должны содержать нечто общее. Предикат и предикация как раз и осознавались всегда как момент этой общности.

Так понимался акт предикации уже в системах объективного идеализма. Шеллинг в „Системе трансцендентального идеализма” (1800) утверждал: „Самое разделение на субъект и предикат вообще возможно лишь благодаря тому, что первое выступает в качестве созерцания, второе же — в качестве понятия. Таким образом, в суждении понятие и объект первоначально должны быть противопоставлены, затем вновь соотносены и положены в качестве равноценных. Но такое соотношение возможно лишь благодаря созерцанию... Это созерцание должно примыкать, с одной стороны, к понятию, с другой же — к объекту” [Шеллинг 1936, 230].

Гуссерль, в рамках феноменологии, включил понятие предикации в систему понятий „жизненного мира” человека, мира „непредвзятых, непосредственных мнений” — *Doxa* [докса] и выразил это так: бытие есть предмет доксы, а обладание бытием — предмет предикации (*Das Sein ist Sache der Doxa und das Haben des Seins ist Sache der Prädikation*); язык предстает как свидетельство бытия на основе восприятия, поэтому предикация не что иное, как переход к подлинному бытию (*Die Prädikation ist somit nichts als der Übergang zum wahren Selbst*) [Hülsmann 1964, 186, 189].

В этой не очень ясной, особенно без контекста, формулировке отчетливо ощущается одно — стремление схватить сущность предикации непосредственно, феноменологически, без логических абстракций.

И, пожалуй, наиболее ярко это стремление, уже оттолкнувшись от феноменологии, выразил Ж.-П. Сартр, правда на мрачном фоне экзистенциальной философии, какой она была в 1938 г. Герой сартровского романа „Тошнота” Антуан Рокантен, молодой человек, подавленный одиночеством, отчуждением от всех, даже от случайных прохожих, внезапно ощущает „существование”, „экзистенцию” — идет знаменитый эпизод с корнями дерева, изложение основной категории этой философии.

«У меня перехватило дыхание. Никогда раньше, вплоть до последних дней, я не мог даже отдаленно предчувствовать, что значит „существовать” [„экзистировать”]. Я был как все, как те, кто прогуливается по берегу моря в весенних костюмах. Как

они, я говорил "Море *есть* зеленое. Белая точка, вон там — это *есть* чайка". Но я не ощущал, что оно существует, что чайка — "существующая ["экзистирующая"] чайка". Обычно экзистенция прячется. Она здесь, вокруг нас, она — это мы, мы не можем сказать двух слов, не говоря о ней, и все-таки не в силах дотронуться до нее. Когда я считал, что думаю о ней, видимо, я не думал ничего, голова была пуста, или, самое большее, в ней витало слово "быть". Или, может быть, вот что... как бы это сказать... — я мыслил *принадлежать*. Я мыслил так: море принадлежит к классу зеленых объектов. Или так: зеленый цвет принадлежит к качествам моря. Даже разглядывая вещи, я был на сто километров от мысли о том, что они существуют. Стоят себе, как декорация. Я брал их в руки, они служили мне инструментом, я знал, как они будут сопротивляться моим рукам, но все это происходило на поверхности. Если бы меня спросили, что значит "существовать", что такое "экзистенция", я бы искренне ответил: ничего, так, пустая форма, которая прибавляется к вещам снаружи, ничего не меняя в их природе. И вдруг на тебе! Вдруг разом, как на ладони, — вот она, "экзистенция", вот оно — "существовать"! Экзистенция открылась, отбросила свои невинные манеры абстрактной категории: вот она, само тесто вещей... Вот этот корень, он вылеплен из экзистенции... Или, вернее, вот что: этот корень, эта решетка сада, скамейка, газон — все это исчезло... Различия вещей, их индивидуальность — все это была видимость, наружная покраска... Покраска спала, и остались жуткие тестообразные массы, хаос масс — голых, да голых! — в чудовищной, бесстыдной наготе...» (Sartre P. *La nausée*. P.: Gallimard, 1958, p. 179—180).

Не нужно, впрочем, принимать и описание Сартра как нечто новое и свежее для тех дней. Возможность такого ощущения бытия была предвидена в философии имени. А.Ф. Лосев, как бы прямо отвечая Сартру, уже в 1927 г. в "Философии имени" писал: «Когда мы говорим, что предмет требует для своего определения как сущего предмета некое окружение "иного", дающего ему границу и очертание, то легко представить себе, что "иное" есть в этом случае некая бесформенная материя, вроде воды или глины, "из" которой, "в" которой и "на" которой отпечатываются те или иные формы. Основной предпосылкой такого толкования "иного" является представление его в виде самостоятельной вещи, хотя и бесформенной, но обладающей своими силами и своим собственным бытием. Это — *натуралистическая метафизика* (курсив наш. — Ю.С.), оперирующая в основе вещными аналогиями. Наперекор этому натурализму мы должны выдвинуть антиметафизическую диалектику, кото-

рая не отделяет меона от сущего по бытию, но включает меон как момент определения самого сущего» [Лосев 1927, 52] (о меоне и других понятиях философии имени Лосева см. гл. I, 5).

Вызывая тем не менее столь неприятное "ощущение предиката", эта категория покинула философию предиката и вошла в последнюю парадигму — наших дней. Но это не значит, что в ней она не испытала изменений.

2. ЭЛЕМЕНТЫ "ФИЛОСОФИИ ПРЕДИКАТА" В УЧЕНИИ АНТИЧНЫХ СТОИКОВ

Традиция стоиков развивалась на протяжении веков. Часто ее делят на периоды: Стоя-1 — Зенон (334—262 гг. до н.э.), он считается основателем Стои, и Клеант (331—232 гг. до н.э.); Стоя-2 — Хрисипп (II в. до н.э.); Стоя-3 — Антипатр из Тира (I в. до н.э.), а также их менее известные ученики и последователи. Учение стоиков до сих пор в целом недостаточно реконструировано и во многих пунктах предстает перед нами в виде фрагментов, которые к тому же интерпретируются по-разному.

Чтобы вписать концепцию стоиков в контекст философии языка, необходимо, на наш взгляд, подчеркнуть следующие ее линии: лингво-логическая доктрина стоиков отличается от концепции Аристотеля, ведущей к средневековому концептуализму, и от платонизма, ведущего к средневековому крайнему реализму; от концепции стоиков пролегает путь к номинализму типа номинализма Оккама и, через его посредство, к англосаксонской "лингвистической философии" нового времени; опорной линией стоической концепции являются категории, совершенно отличные от Категорий Аристотеля; учение стоиков о категориях теснейшим образом связано с учением о высказываниях и, точнее, с синтаксикой высказываний; в этом контексте у стоиков особое значение имеет ими же введенное понятие "лектон", прообраз современного понятия интенционала. На этих вопросах мы последовательно остановимся.

Категории. Против 10 Категорий Аристотеля стоики выставляют четыре категории совершенно иного характера (на первом месте — термин стоиков, на втором — буквальный перевод, на третьем — приблизительно соответствующий современный термин):

- | | | |
|----------------|--|------------------------|
| 1. ὑποκείμενον | — "субстрат (качественно не определенный)" | — субстрат; подлежащее |
| 2. ποῖόν | — "какое" (подразумевается "какой субстрат") | — качество |
| 3. πῶς ἔχον | — "в каком состоянии находящееся" (также подразумевается субстрат) | — состояние |

4. πρὸς τί πῶς — "в каком состоянии на- — отношение
 ἔχων ходящееся по отноше-
 нию к чему" (все так же
 подразумевается суб-
 страт, тем самым все да-
 лее определяемый)

Над четырьмя категориями господствует еще одна, высшая — "неопределенное нечто" (τὸ τί), качественно не определенная материя (ἄλοιοσ ὕλη). Что касается четырех категорий, то уже из самого перечня видно, что они стоят в определенном отношении одна к другой. Но как истолковать это отношение?

Иногда считают, что "высшим родовым понятием для всех четырех стоических категорий является субстрат" [Караулаков 1964, 86]. С этим можно согласиться только с очень большими оговорками: родо-видовое соотнесение здесь надо понимать не в аристотелевском смысле — категории стоек — это не "роды бытия", — а чисто понятийно, как соотнесение понятий. Но тогда это мало что дает, и требуется какое-то дальнейшее уточнение. В качестве такого уточнения можно, казалось бы, принять мнение Б. Мэйтса: каждая предшествующая категория содержится в следующей и более полно определяется ею [Mates 1961, 18]. Тогда получается такая картина: от первой категории к четвертой увеличивается содержание признаков (с чем можно согласиться) и уменьшается объем (с чем согласиться вряд ли можно). Иными словами, получается так, что четвертая категория — это какая-то категория меньшего объема, чем первая, т.е. "субстрат, находящийся в каком-то состоянии по отношению к чему-то" (4-я категория), — это нечто иное, чем "субстрат" просто. Но это явный парадокс, так как стойки во всех четырех категориях имеют в виду одно и то же — все тот же "субстрат" и говорят лишь о его последовательном определении, точнее, о нарастании его определенности каким-то образом. Но каким именно образом, при упомянутых толкованиях остается неясным.

На наш взгляд, дело здесь в том, что отношения между категориями стоек нельзя толковать как соотношения объема и содержания, их вообще нельзя толковать семантически, но только синтаксически.

Высшая категория "неопределенное нечто", подлежащее-субстрат, качественно неопределенная материя, — это нечто, существующее до и вне всякого высказывания, до соотнесения с высказыванием. Из четырех остальных категорий первая — это подлежащее-субстрат, но уже взятое в отношении к высказыванию, однако еще до того, как оно совершилось; это "подле-

жащее возможного высказывания". Вторая категория, "качество", — это подлежащее-субстрат с его существенным признаком, с его предикатом (взятые, как мы увидим ниже, на коротком пространстве простого предложения *Сократ пишет*). Третья категория, "состояние", — это подлежащее-субстрат и признак-предикат, взятые в отношении к определенному состоянию, к моменту, к протеканию во времени и в определенных данных обстоятельствах, т.е. простое предложение, развернутое обстоятельствами и определениями. Четвертая категория, "отношение", — это отношение данного развернутого предложения к другим предложениям, окружающим данное в связном тексте.

Именно при этом толковании будет наиболее естественно и просто понять постоянно упоминаемую комментаторами (зачастую с недоумением) связь между категориями и "частями предложения", называемыми "частями речи", и притом понять ее системно и однозначно. (Указывались лишь фрагменты такого понимания. Так, В.В. Караулаков, высказывая сходное с данным здесь толкование второй и третьей категорий, выражает недоумение: по поводу четвертой: "союзы" (в античном понимании, т.е. σύνδεσμοι — предлоги и логические союзы) "вряд ли могут быть соотнесены с той или иной категорией" [Караулаков 1964, 86]. А.Ф. Лосев, напротив, считает, что четвертая категория определенно соответствует "союзам, предлогам, артиклям, а также, очевидно, всем морфологическим показателям склонения и спряжения, лежащим в основе всякой связной речи" [Лосев 1982, 181]. Морфологические показатели, на наш взгляд, к делу не относятся, потому что они есть везде: в выражении подлежащего самом по себе, в выражении подлежащего с простым сказуемым и т.д., тогда как у стоиков перечень категорий развертывается именно по нарастанию определенного синтаксического качества.)

Понятие отношения. Понятие "отношение" увенчивает всю систему стоиков; "всякое знание и мышление, по стоикам, получают свою последнюю конкретность в системе отношений" [там же]. В свете изложенного ясно, что эту "систему отношений" стоиков надо понимать синтаксически, как систему отношений, в которую отдельное слово-понятие включается посредством вхождения в простое предложение, простое предложение — посредством вхождения в развернутое, или в сложное, предложение, а последнее — в связный текст.

Параллельно этому развертывается у стоиков понятие "смысла речи", своеобразное понятие "лектон".

П о н я т и е " л е к т о н ". Слово "лектон" (λεκτόν — отглагольное прилагательное от глагола, означающего 'говорить') обозначает у стоиков не сам процесс говорения, а, по тонкому

замечанию А.Ф. Лосева, процесс "имения в виду". Под этим термином стоики понимали некоторого рода самостоятельную инстанцию, посредствующую между говорящим субъектом и называемой им, "имеющейся в виду" в процессе говорения вещью. Сообразно указанной выше системе отношений лектон может обладать разной степенью полноты: "неполный, или недостаточный, лектон" в одном отдельно взятом слове, например в глаголе без субъекта — *пишет*; "законченный, полный лектон" в сочетании предиката с субъектом — *Сократ пишет*. Полнота лектона нарастает по мере усложнения высказывания, развертывания простого предложения в сложное и его включения посредством логических связей в текст.

А.Ф. Лосев комментирует это понятие следующим образом: «Абстрактное и всегда однозначное "лектон" отличается еще и от всякого рода психических или моральных состояний того субъекта, который что-нибудь высказывает. Предмет его высказываний хотя и порожден теми или другими психофизиологическими усилиями человека, тем не менее взятый сам по себе не имеет никакого отношения к ним. Не нужно думать, что здесь мы находим какое-то логическое чудачество. Наоборот, мы же сами пользуемся таблицей умножения, которая хотя и дана всегда только в результате наших психофизиологических усилий, тем не менее по смыслу своему вовсе не имеет к ним никакого отношения и может применяться когда угодно, кем угодно, где угодно и в отношении к любым предметам — как существующим, так и несуществующим. У стоиков это не было чудачеством, а было только уверенностью в очевидности и явленности обозначенного предмета» [Лосев 1982, 175]; «Стоическое "лектон" формулируется так, чтобы именно отразить все мельчайшие оттенки языка и речи в виде определенной смысловой структуры. В этом огромная и небывалая заслуга стоического языкознания» [там же, с. 180].

Стоическое понятие лектона — прообраз современного понятия интенционала, о котором много раз идет речь в настоящей работе (см. гл. VI, 2; гл. VII, 2 и др.). Подобно интенционалу предложения в современном понимании, лектон стоит над истиной и ложью — является более общим, чем истина или ложь, тем, что стоики называли "безразличным".

Понятие лектона находит определенную параллель и в древнеиндийской логике, в особенности в понятии "знание" — "джнанани" (jñānāni) школы навья-ньяя. "Знание" там означает примерно то же, что осмысленное "приписывание (признака)" в западной логической традиции, т.е. просто соотнесение предиката с субъектом — *Сократ пишет* или *Пишущий Сократ*, в то

время как "утверждение" определяет некоторый факт и является или истинным, или ложным. Индийская логика с древнейших времен различала эти два понятия. Классический силлогизм в ней состоит из пяти членов:

1. Тезис: "На горе огонь".
2. Основание: "Ввиду дыма".
3. Пример: "Где дым, там и огонь, как в очаге".
4. Применение: "Также и здесь".
5. Заключение: "Следовательно, так и есть".

"Поскольку в этих санскритских конструкциях, — замечает в этой связи Инголлс, — отсутствуют личные глаголы, то без пояснений древних авторов вряд ли можно было бы догадаться, что два первых члена такого силлогизма являются приписываниями, а три других — утверждениями" [Инголлс 1975, 36].

Так называемая Новая логика, навья-ньяя, занималась более всего не таким пятичленным "выводом для других", а так называемым выводом для себя, сокращенным до трех членов. «Этот трехэтапный процесс, — продолжает Инголлс, — можно считать чем-то вроде неассерторического силлогизма. Об истинности или модальности его стадий трудно высказаться однозначно. Они не являются простыми фактами приписывания, поскольку логический вывод, даже если он делается для себя, все же является истинностной формой знания, а истинное знание (*pramā*) определяется как знание, соответствующее тому, каков мир на самом деле. Но они не являются и утверждениями, поскольку иначе, по мнению наййиков, не было бы нужды прибегать к помощи пятичленного силлогизма. Для наййика "проникновения", "операции" и "выводы" (стадии силлогизма. — Ю. С.) суть просто "знания" (*jñāpāṇi*), и я буду пользоваться этим термином, хотя он выглядит несколько неуклюже» [там же, с. 36; ср.: Жоль 1981, 159].

Части речи. "Средняя часть речи" — наречие. Вопрос о частях речи носит вспомогательный характер и мало интересует философию языка. К тому же в настоящее время на этапе античности он достаточно хорошо освещен в целом [см.: Robins 1951; 1966; Перельмутер 1980; см. также серию статей В. В. Каракулакова]. Ниже мы лишь кратко резюмируем его, но выделим одну деталь, которая кажется нам существенной, — вопрос о "средней части речи". (После двоеточия указываются части речи, принятые в данном учении; чтобы было ясно, из какой части речи предшествующего учения отпочковалась данная, сохраняется исходная нумерация и к ней лишь добавляются буквенные индексы; это, разумеется, не означает, что понятие о частях речи заимствовались одним ученым у другого, но иногда это могло иметь место. Читатель может для удобства изобразить

сказанное в виде схемы, в которой одноименные части речи располагаются по вертикали и соединены линией [ср.: Robins 1966].)

Развитие частей речи можно представить суммарно следующим образом:

Платон: (1) "онома", (2) "рема"; очень приблизительно первое значит "имя", второе — "глагол, сказуемое", но более адекватные соответствия становятся ясными лишь в исторической перспективе, когда прочитано все резюме до конца.

Аристотель: (1) "онома", (2) "рема", (3) "сюндесмос" и "артрон" ("союз", "член" — отношения между этими терминами у Аристотеля крайне неясны).

Стоя-1: (1) "онома", (2) "рема", (3а) "сюндесмос" ("союз" и "предлог"), (3б) "артрон" ("сочленение", "член").

Стоя-2: (1) "онома", (1а) "просегория" ("общее имя", "имя нарицательное"), (2) "рема", (3а) "сюндесмос", (3б) "артрон".

Стоя-3: (1) "онома", (1а) "просегория", (1аа) "месотес" или (2а) "пандектес" ("месотес-пандектес" — "срединная часть речи", нечто вроде "наречия"), (2) "рема", (3а) "сюндесмос", (3б) "артрон".

После Стоя-3 происходит перерыв традиции или, во всяком случае, ее сильное изменение, и у Дионисия Фракийского (170—90 гг. до н.э.), а также у Аристарха система существенно иная.

Дионисий и Аристарх: (1) "онома", (1аа) "эпиррема" ("наречие"; сам термин указывает на производность от "ремы", так что одновременно следовало бы обозначить эту часть речи здесь 2аа), (2) "рема", (2а) "метохе" ("причастие"), (3а) "сюндесмос", (3аа) "протесис" ("предлог"), (3б) "артрон" ("артикл"), (3бб) "антономия" ("местоимение"). Эта система в основном сохраняется у Аполлония Дискола (II в. н.э.) и в латинских грамматиках Рима — у Доната (IV в.) и в последней из них — грамматике Присциана (VI в.).

Присциан: (1) *nomen*, (1аа) *adverbium* ("наречие"), (1ааа) *interiectio* ("междометие"), (2) *verbum* ("глагол"), (2а) *participium* ("причастие"), (3а) *coniunctio* ("союз"), (3аа) *praepositio* ("предлог"), (3б) — отсутствует, артикля в латинском языке нет, (3бб) *pronomen* ("местоимение").

Современные общеевропейские списки частей речи ближе всего к списку Присциана, с тем лишь существенным отличием, что из "*nomen*", имени, выделено еще "*adiectivum*", прилагательное. Но еще схоласты употребляют в этом значении термин "*appellativum*". Положение причастия, даже в традиционном списке, остается не вполне ясным: одни современные нам авторы относят его к глаголу, не выделяя специально, а другие выделяют. Исследования по современному русскому языку

(например, И.К. Сазоновой) показывают, что значения причастий очень часто отличаются от значений соответствующих глаголов, настолько часто, что следует, быть может, рассмотреть причастие в русском языке наших дней как отдельную часть речи (интересно было бы детально выяснить, по каким основаниям выделял его Присциан).

Что касается римских грамматик, то самый большой успех в будущем был сужден грамматике Доната. В России она получила хождение с 1522 г. в переводе Дмитрия Толмача. В Западной Европе она была в употреблении до начала XV в., последний раз, если мы не ошибаемся, она была издана в Испании, и там ее сменили уже новые, вполне современные для той поры грамматики — испанского языка Небрихи (1492) и латинского языка Франсиско Санчеса (1587). Последняя в особенности настолько пронизана глубокими лингво-философскими идеями, что мы рассматриваем ее особо (см. гл. II, 3).

В России, кроме того, и притом раньше, распространились также грамматические компиляции по древнегреческим источникам, например "О восьми частях слова" (XIV в.), и вследствие этого у нас создалась двойная грамматическая, а отчасти и логико-философская терминологическая традиция, что поддерживалось и особой ролью греческих текстов и терминов в православном богословии.

Вернемся к вопросу о частях речи в логико-философском плане. Достижением стойков, утраченным после прекращения их традиции, следует считать различие в имени "имени" в собственном смысле, имени индивида, и общего, или нарицательного, имени, вполне соответствующее современным логическим представлениям.

Интересным в связи с частями речи является вопрос об имени сущности. Выше мы уже отмечали, что отказ от аристотелевского понимания категорий как "родов бытия" приводил к отказу прежде всего от категории Сущность и к ее растворению в категории Качество, которая в свою очередь поглотила все остальные категории. Завершение этого процесса мы находим в логике Карнапа, где — и это Карнап считал своей особой заслугой — снимается "удвоение имен", т.е. различие "имен классов" и "имен свойств". В системе Карнапа "класс" последовательно сводится к "свойству" применением так называемого принципа объемности [Карнап 1959; подробнее в лингвистическом плане см.: Степанов 1981, 19, 107, 213 и др.]. Иначе говоря, "именем сущности" в систематике Карнапа было бы не столько "имя класса", сколько "имя свойства, качества" (но, конечно, Карнап не признавал никаких "сущностей": для него это понятие "метафизическое"). Началом же этого процесса

"переименования сущности" следует считать логику стоиков — ведь в ней лектон предполагается выраженным тем более полно, чем длиннее и полнее его синтактика, контекст. В этом смысле можно сказать, что сущность лишается собственного имени и получает лишь косвенное, контекстное выражение, притом выражение, стремящееся к бесконечности: чем длиннее контекст, тем полнее выражается лектон.

Довольно наглядно эта редукция сущности к качеству выразилась и в вопросе о "средней части речи" — μεσότης. Под этим названием новая категория появилась впервые в Стое-3, у Антипатра, и к ней были отнесены лишь наречия, образованные от качественных прилагательных, но в дальнейшем в нее были включены и другие наречия, и она стала называться πανδέκτης — "содержащая все", нечто вроде "корзины, куда складываются различные вещи". Дионисий Галикарнасский свидетельствует, что наречие "месотес-пандектес" как часть речи было выделено из глагола и что это было сделано именно стоиками [Каракулаков 1964, 85]. Но наречие, как и прилагательное, с которым оно тесно связано, в системе языка есть нечто производное от имени. Это отразилось, между прочим, и в окончательных представлениях о частях речи, и Аристотель, по видимому, склонен был рассматривать наречия среди имен. Поэтому передвижение наречия "месотес-пандектес" из сферы имени в сферу глагола, предиката, что и запечатлелось в его наименовании "средняя", как раз и было одним из моментов процесса переключения сущности в качество.

Дионисий Фракийский, полемизируя со стоиками, отказывается от резкого деления имен на собственные и общие (нарицательные) и рассматривает и те и другие как сущности, пользуясь аристотелевским термином "усия"; собственное имя у него есть обозначение "особой сущности" ("ΐδια υςία"), а общее имя — обозначение "общей сущности" ("κοινὴ υςία"), при этом первое прямо соответствует аристотелевской "первой сущности", а второе — "второй сущности" [Каракулаков 1964а, 329]. Во всем этом и заключается разрыв с традициями стоиков и оформление философии имени как "философии сущности".

Проблема базисных предикатов. Она была упомянута выше (в разделе 1 этой главы). Поскольку для стоиков лектон выражается тем полнее, чем длиннее его синтаксический контекст, постольку, естественно, они не могли отдавать никакого особенного предпочтения поискам базисных синтаксических понятий в коротких контекстах, установлению "первичных предикатов" в смысле Категорий Аристотеля. Напротив, следовало ожидать, что стоики, скорее, займутся

поисками таких понятий в длинных фрагментах синтаксиса. Это и было на самом деле.

Историк логики А.О. Маковельский пишет по этому поводу: «... Стойки в своей логике на первое место ставили гипотетическую пропозицию (условное предложение). Знак они определяли как правильное условие, которое является предшествующей частью условного предложения, порождающей заключение в условном силлогизме. В этом определении отношение между знаком и тем, что он обозначает, выражено в форме гипотетической пропозиции "Если P , то Q ". Если имеется такое отношение, то P есть знак для Q . По учению стоиков, это отношение знаков к обозначаемым ими предметам является сущностью всякого рассуждения. В основе рассуждения лежит положение "если это, то и то", которое вытекает из более общего положения стоической системы, согласно которому в природе все находится во взаимной связи, все детерминировано, всюду господствует строгая закономерность» [Маковельский 1967, 186].

Это положение стоиков опять-таки очень напоминает древнеиндийский силлогизм, в особенности два первых члена, "приписывания": "На горе огонь" — "Ввиду дыма".

Это определение знака является необычным, потому что это — последовательно синтаксическое определение. Обычное же определение знака — семантическое "Aliquid quid stat pro aliquid" — "Что-то, что стоит вместо чего-то". По-видимому, не случайно к синтаксическому способу определения значения, посредством условного предложения, вернулся К.И. Льюис в 1943 г. в работе, в которой впервые было дано строгое определение понятия "интенционал" [Льюис 1983] (см. также гл. VI, 2 настоящей книги).

3. ЯЗЫК В КОНЦЕПЦИЯХ Б. РАССЕЛА 1920—1940-х ГОДОВ

Рассел считал своей задачей рассматривать язык в двух отношениях: во-первых, так, как это необходимо для построения теории познания; во-вторых, так, как это необходимо для теории познания, развиваемой в духе и в традициях английского эмпиризма. Субъективно (что видно из разных его работ) Рассел осознавал это как одну и ту же задачу.

Но мы, по прошествии времени, считаем возможным разделить, с одной стороны, положения Рассела о языке, важный этап в эволюции взглядов на язык, имеющий непреходящую объективную ценность, и, с другой стороны, его попытку эмпирического обоснования этих положений о языке и о познании, исторически и философски ограниченную; она не представляет для нас особого интереса. Остановимся подробнее

на положениях Рассела о языке, привлекая местами для сравнения сходные идеи Р. Карнапа и других авторов.

Если заслуга Л. Витгенштейна заключается в том, что он явно признал язык одним из оснований своей (по крайней мере) философии, то заслуга Рассела состоит в том, что он точно выразил, в чем именно язык создает основания для такой (его и Витгенштейна) философии. «Понятие значения, которое я принял в своих философских рассуждениях, берет начало в примитивной философии языка. Немецкое слово, означающее "значение", происходит от немецкого слова, означающего "указание"» [Wittgenstein 1974, 56]. "Синтаксис и словарь оказали на философию влияние различного рода", — констатирует он в работе 1924 г. "Логический атомизм" [Russell 1959, 38]. Свою книгу "Разыскание о значении и истине" 1940 г. он заканчивает словами: "Результат, к которому я пришел, таков: полный метафизический агностицизм несовместим с сохранением понятия лингвистических пропозиций. Некоторые современные философы считают, что мы знаем много о языке, но ничего ни о чем помимо языка. Но при этом взгляде упускают из виду, что язык — такой же эмпирический феномен, как и всякий другой, и что человек, выступающий в метафизике агностиком, должен утверждать, что он не знает и того, когда он использует слово. Что касается меня, то я считаю, что — частично путем исследования синтаксиса — мы можем достичь существенного знания о структуре мира" [Russell 1980, 374].

В работах Рассела содержится несколько концепций языка, каждая из которых логически описывает лишь какой-то один фрагмент естественного языка. В зависимости от того, как мы будем смотреть на степень связанности этих фрагментов в самом языке, по-разному предстает и степень связанности расселовских концепций языка. Их можно рассматривать и как одну концепцию, состоящую из различных частей, и как несколько разных, максимум четыре. Нам представляется, что вторая точка зрения больше соответствует действительности, да к тому же и философские позиции Рассела за это время менялись — через "логический атомизм" до отказа от него. Однако некоторые константы во взглядах на язык у Рассела прочно сохранялись.

Четыре концепции, о которых мы говорим, следующие:

1. "Теория дескрипций", или "теория определенных дескрипций" (definite descriptions), изложенная первоначально в работе "Об обозначении" 1905 г. [Russell 1956]; ее суть сводится к демонстрации обманчивости имен в естественном языке, в особенности общих имен; смыслы общих имен логически должны быть описаны различными сочетаниями дескрипций и кванторов.

2. Концепция "пропозициональных установок" (propositional attitudes), суть которой сводится к тому, что простые пропозиции типа "Идет дождь" в естественном языке обычно окружены различными установками говорящих типа "Джон считает, что" + "Идет дождь"; Рассела особенно занимали установки мнения, или веры ("Джон считает, полагает, верит, что..."). Эта концепция изложена в работе "Разыскание о значении и истине" 1940 г. [Russel 1980].

3. Концепция "иерархии языков" (изложенная в той же работе); суть ее сводится к тому, что если логически описывать естественный язык как некое однородное целое, т.е. и простые пропозиции и пропозиции, окруженные пропозициональными установками на одних и тех же основаниях, то неизбежно возникает опасность логических парадоксов (и зачастую она реализуется). Основание парадоксов заключается в том, что в пропозициях, находящихся в сфере действия пропозициональной установки, — это так называемые интенциональные контексты — невозможны синонимические замены на общих основаниях и применения кванторов. Для избежания парадоксов необходимо выйти за рамки данного языка и логически описывать его извне, средствами другого языка, более высокого ранга — возникает иерархия языков.

4. "Теория типов" (theory of types), являющаяся логическим обобщением концепции иерархии языков. Но логические основания теории типов были открыты Расселом, по-видимому, раньше, чем ему стала ясна вся картина иерархии в естественном языке. Теория типов в уже весьма разветвленном виде изложена в совместной работе Рассела и Уайтхеда "Principia Mathematica" 1910—1913 гг., но ее лингвистический аспект подробно освещен лишь в статье "Логический атомизм" 1924 г. [перепечатано в кн.: Logical positivism 1959].

Этим логико-философским темам Рассела суждено было остаться определяющими на долгое время. Как мы увидим ниже (в гл. VI), в современной логико-философской картине языка выступают две опорные линии: проблема квантификации в интенциональных контекстах и проблема собственных имен в семантике "возможных миров", а это непосредственное развитие названных выше понятий Рассела.

Что касается самого термина "предикат", то он появляется в работах Рассела не часто и в некотором специальном значении, о чем будет сказано ниже; однако по существу все расселовские взгляды на язык — это типичное выражение философии предиката, противопоставленной философии имени.

Понятие имени. Рассел испытывает как бы антипатию к триаде "имя — вещь — сущность вещи", и прежде всего к "вещи".

«Именно потому, что для меня отдельные наблюдения составляют источник фактуальных предпосылок (теории познания. — Ю.С.), я не могу принять для констатации этих предпосылок понятие "вещь": оно уже предполагает известную степень устойчивости и поэтому может быть выведено только из некоторого множества наблюдений. Точка зрения Карнапа, который допускает понятие "вещь" в формулировке фактуальных предпосылок, на мой взгляд, означает игнорирование не только Беркли и Юма, но даже и Гераклита. Вы не можете дважды ступить в одну реку, потому что вас постоянно обтекает новая вода; но разница между рекой и, скажем, столом — только в степени. Карнап мог бы согласиться, что река — это не "вещь", но те же самые доводы должны были бы убедить его, что и стол — то же не "вещь"» [Russell 1980, 315]. Рассел заменяет понятие "вещь" понятием совокупности качеств, сосуществующих в определенной точке пространства-времени и воздействующих на наши чувства в виде восприятий. Поэтому на первый план у него выступает понятие "качество" — тенденция, уже отмеченная нами для английского номинализма в схоластике (в особенности у Оккама); здесь Рассел — верный продолжатель традиций английского эмпиризма.

Это естественно влечет к "разжалованию" имени. Даже собственное имя получает новую трактовку: «На практике собственные имена не даются отдельным кратким явлениям-событиям (occurrences, любимый термин Рассела. — Ю.С.), потому что большинство из них не представляет интереса. Когда у нас есть повод их упомянуть, мы делаем это посредством дескрипций, как, например, "смерть Цезаря"... » [там же, с. 33].

Под дескрипциями Рассел понимает языковые выражения, выступающие в языке в функции имен и при этом иногда в форме имен, но в действительности не именующие. Ведь, по Расселу, именование осуществляется по-настоящему только собственным именем. Примерами дескрипций являются такие выражения, как: *человек, этот человек, каждый человек, какой-то человек, теперешний король Англии, теперешний король Франции, центр массы солнечной системы в первое мгновение XX века* и т.п. В работе "Об обозначении" Рассел показал, что дескрипции в действительности не являются обозначениями таких же "станций", каким присваиваются собственные имена; под дескрипциями скрывается в большинстве случаев логически иное содержание — некая пропозициональная функция, имеющая в своем составе переменную (x). Например, предложение *Я встретил человека* (I met a man) должно быть логически записано как «Я встретил x , такого, что x обладает свойством "человечность" ("человековость")» (I met x and x is human).

Дескрипции, или, как Рассел называет их в работе 1905 г., "денотирующие фразы", сами по себе не имеют значения, потому что каждое предложение, в котором они встречаются, может быть переписано таким образом, а именно полным образом, что дескрипции из него исчезнут [Russel 1956, 51]. В этом утверждении (а это еще только 1905 г.!) уже содержится будущая идея семантического перифразирования (как, например, в семантическом языке А. Вежбицкой), идея семантического перифразирования с редукцией (как у сторонников логического позитивизма и школы "лингвистического анализа") и идея семантической референции и референции говорящего как двух различных типов семантического описания (развитая представителями модальных и интенциональных логик 1970—1980-х годов (см. гл. IV, 4; гл. VI,3).

Далее в той же работе 1905 г. Рассел рассматривает различные вхождения дескрипций в связный текст, устанавливая их различные логические свойства в зависимости от того, какое это по порядку вхождение — первое, второе и т.д. Эта замечательная идея оказалась в дальнейшем неразработанной, между тем, как кажется, она позволяла бы описывать имена в так называемых интенциональных (косвенных) контекстах (вроде, например, значения именного выражения *своя бабушка* в предложении *Петр уже много лет назад считал, что Иван хочет поселиться у своей бабушки*). Порядок вхождения дескрипции в текст является отдаленным прообразом понятия "причинная история" имени (см. гл. VI).

Расселовская теория дескрипций уже сторонниками логического позитивизма, например Айером, была расценена (и справедливо) как теория естественного языка, основанная на обобщении черт лишь одного, притом достаточно специфического, фрагмента его системы. При этом Айер (в работе "Язык, истина и логика", 1936 г.) исходил из определенного понимания задачи: "Полное философское объяснение любого языка должно состоять, во-первых, в перечислении типов предложений, которые употребляются в данном языке, и, во-вторых, в описании отношений эквивалентности, действующих между предложениями разных типов" [Ayer 1980, 83]. Хотя понятие о том, что такое "один и тот же тип предложения", оказалось здесь выведенным слишком поспешно и теперь оно не представляет никакого интереса, но определение в целом, несмотря на расплывчатость, в общем, верно.

Именно так понимают теперь одну из основных задач философии языка, но, разумеется, в марксизме к этому не сводится философское объяснение языка в целом.

В "Разыскании" 1940 г. проблема дескрипций дальше не

разрабатывается, но возникает там в несколько иной связи. Поскольку основным именем Рассел считает, как уже было сказано, "собственное имя единичного явления-события", постольку в его иерархии языков, в особенности в первом, "объектном языке", возникает своеобразное явление — "нехватка имен".

Здесь нужно сделать отступление. "Нехватка имен" стала общей проблемой формализации языка, будь то формализации расселовского типа, или "описания состояний" Р. Карнапа, или описание возможных миров Я. Хинтикки. Последний даже прямо видит несовершенство карнаповских описаний в том, что при них требуется дать имя любому элементу универсума, что невозможно [см.: Хинтикка 1980, 44] (см. также гл. IV, 4; гл. VI, 3; гл. VII, 0).

Что касается Рассела, то у него "нехватка имен" проистекает из того, что постоянно требуется выражать нечто, что не являлось объектом восприятия говорящего в виде "явления-события". Тогда это нечто или получает форму дескрипции (и возникает проблема, уже рассмотренная раньше), или выражается предложением с переменными. По замыслу Рассела предложение, содержащее переменные, может быть удостоверено как истинное или ложное путем сведения к "подтвердителю" (*a verifier*) — предложению без переменных. Предложение-подтвердитель есть то, на что указывает (*what indicates*) сводимое к нему любое предложение. Понятие предложения-подтвердителя, с одной стороны, было разновидностью общего для неопозитивистов понятия "предложение об опыте", "протокольное предложение", а с другой — оказалось начальной стадией в разработке понятия "денотат" или "референт" всего предложения в целом (соответствующие понятия для частей предложения, субъекта и предиката, к тому времени были уже достаточно исследованы Фреге).

Но здесь Рассел до конца проблему не решил. Ведь по Расселу даже такое предложение, как "Мне жарко", анализируется с помощью переменных. Положим, рассуждает Рассел, что мое восприятие моего собственного тела есть *a*, мое восприятие вашего тела — *b*, моя "жаркость" — *h*, воспринимаемое мною отношение между *a* и *h* есть *H* (т.е. *Мне жарко* — "*aHh*"); тогда предложение "Вам жарко" имеет логическую форму "*bHh*", которую я не могу произнести, поскольку в моем языке нет имени для *h*'.

Рассел обобщает свои наблюдения: «В случае "Вам жарко" я бы еще мог, если бы мой словарь был достаточным, образовать предложение без переменных, которое могло бы быть подтверждено (верифицировано) тем же самым явлением-событием,

которое верифицирует мое актуальное предложение; ведь то, что у меня не хватает собственных имен для этой цели, — это лишь чисто эмпирический факт. Другое дело в таком случае, как "Все люди смертны". Нельзя вообразить себе словаря, который мог бы выразить это без помощи переменных. Разница с первым случаем состоит в том, что для предложения "Вам жарко" единственное явление-событие является полным подтвердителем, в то время как во втором случае для подтверждения общего предложения необходимо много явлений... Мы увидим, что отношение мнения (веры) или отношение предложения к тому, на что оно указывает, т.е. к его подтвердителю (если таковой вообще имеется), часто является чем-то отдаленным и опосредованным причинной связью. Мы увидим также, что, хотя "знать" подтвердитель — значит воспринимать его, мы все же должны, если только не выхолостить понятие "знания" до последней степени, знать истинность многих предложений, подтвердители которых мы не можем воспринимать. Но такие предложения всегда содержат некоторую переменную на том месте, где помещалось бы имя подтвердителя, если бы наши способности восприятия были достаточно обширны» [Russell 1980, 224—225]. В другом месте Рассел, следуя известному восклицанию Лапласа (о том, что вероятность есть достоверное знание только для Всеведущего существа), замечает: "экстенциональная трактовка общих предложений невозможна, разве что для Существа, у которого есть имена для всего" [там же, с. 203].

Если говорить в терминах физики, то, по Расселу, можно сказать, что мы даем собственные имена некоторым непрерывным промежуткам пространства-времени, таким, как Сократ, Франция, луна. В прежнее время сказали бы, что собственное имя мы присваиваем субстанции или множеству субстанций, но в наши дни нужно искать другое выражение, чтобы обозначить объект собственного имени. Рассел тут же определяет собственное имя как имя нескольких явлений-событий, образующих серию; собственное имя относится к ним только собирательно, но не раздельно (*collectively, not severally*) [там же, с. 33]. Скажем, собственное имя "Цезарь" означает целую непрерывную серию явлений-событий — Цезарь в такое-то мгновение и в таком-то месте, Цезарь в следующее мгновение и в соответствующем этому мгновению месте и т.д. Отдельные явления-события являются частями объекта собственного имени, но не экземплярами этого объекта (в этом отличие собственного имени от общего имени (*class name*), объекты которого — отдельные экземпляры класса). Когда мы говорим "Цезарь умер", то, в соответствии с этой точкой зрения Рассела, мы говорим, что одно явление-событие из той серии явлений-событий, которая

была Цезарем, стала элементом класса смертей; это новое явление-событие называется "смерть Цезаря". Следовало ожидать, что общие имена Рассел тем более не должен рассматривать как "имена вещей"; и он действительно называет их "конденсированными результатами индукции".

Отсюда становится понятным, что в теории языка и познания Рассела две "вещи", обладающие одинаково воспринимаемыми в опыте качествами, являются одной вещью; господствует принцип "что неразлично, то тождественно" (*Indiscernibles are identical*). Сам Рассел считал этот принцип большим достоинством своей теории ("Главное достоинство отстаиваемой мной теории состоит в том, что она делает тождественность неразличимых аналитической истиной" [там же, гл. VI]).

Этот принцип, на первый взгляд не столь уж важный сам по себе, действительно помогает вписать теорию Рассела в контекст философских проблем языка. С одной стороны, этот тезис Рассела прямо противостоит принципу Лейбница и Витгенштейна (как и многих других), согласно которому два существующих объекта отличаются один от другого своими внутренне присущими им свойствами, а не только своим положением в пространстве-времени. Лейбниц употребляет два различных термина — "неразличимое для восприятия" (франц. *indiscernable*) и "неотличимое по внутренней природе" (франц. *indistinguishable*) и лишь второе признает несуществующим, т.е. то, что неразлично по внутренней природе, то и есть одно и то же, не существует как различное. Рассел же свой принцип формулирует с помощью первого термина — "*Indiscernibles are identical*" и выступает здесь как последовательный эмпирист. В "Новых опытах о человеческом разумении" (II, гл. 27, § 1) Лейбниц устами Теофила говорит: "Хотя существует много вещей одного и того же рода, однако никогда не бывает совершенно одинаковых вещей. Таким образом, хотя время и место (т.е. отношение к внешнему) служат нам для различения вещей, которые мы не умеем достаточно различать сами по себе, вещи все же различимы (*distinguishables*) в себе. Следовательно, сущность (*le grécis*) тождества и различия заключается не во времени и месте, хотя действительно различие вещей сопровождается различием времени и места, так как они влекут за собой различные впечатления об одной и той же вещи" [Лейбниц 1983, 230] (ср. также: "Монадология", тезисы 8—9 [Лейбниц 1982, 414]).

Именно против "философии имени и сущности" Рассел направил основной удар: сведя, как он полагал, положение "Неразличимые тождественны" к разряду аналитических истин, Рассел замечает: "Попутно мы свели к эмпирическому уровню

некоторые свойства пространственно-временных отношений, которые угрожали оказаться синтетическими а priori общими истинами" [Russell 1980, 103]. Вот где видел Рассел, как и все сторонники логического позитивизма, "угрозу" со стороны философии предшествующего периода: в признании ею синтетических истин а priori. В частности, поэтому вся эта философия третировалась ими как "метафизика" (о понятиях синтетических и аналитических предложений подробнее см. гл. VII, 1).

С другой стороны, тезис Рассела оказался как бы заранее противопоставленным будущему — в то время лишь смутно предчувствуемому — принципу прагматики-дектики, согласно которому само положение в пространстве-времени определяется отношением к "Я" говорящего субъекта. Рассел пренебрегает этим отношением к "Я". Таким образом, его теория является переходным звеном между чисто семантическими теориями (философией имени) и прагматическими, или прагматико-семантическими, теориями последнего времени, признающими роль координаты "Я" (таким, как, например, "грамматика Монтегю").

Понятие предиката. Из своеобразного понимания имени вытекает и некоторое своеобразие в понимании предиката. «Для теории познания важно, — говорит Рассел, — знать, какого рода объекты могут иметь имена, предполагая, что имена существуют. Возникает соблазн рассматривать "Это — красное" (This is red) как субъектно-предикатную пропозицию. Но если мы так поступим, то придем к выводу, что "это" становится субстанцией, непознаваемым нечто, которому внутренне присущи предикаты, но которое тем не менее не идентично сумме своих предикатов. Такой взгляд навлекает на себя обычные возражения по поводу понятия субстанции (т.е. возражения самого Рассела и сторонников логического позитивизма, уже отмеченные выше. — Ю.С.). Но у него есть некоторое преимущество в отношении к пространству-времени. Если "Это — красное" является пропозицией, приписывающей некоторое качество некоторой субстанции, и если субстанция не определяется суммой своих предикатов, то тогда "это" и "то" могут иметь в точности одни и те же предикаты, не будучи тождественными. Это обстоятельство может оказаться существенным, если мы захотим сказать, как нам обычно хочется говорить, что Эйфелева башня в Нью-Йорке (если бы таковая была там построена) не была бы идентична Эйфелевой башне в Париже.

Мое решение заключается в том, что "Это — красное" не является субъектно-предикатной пропозицией, а имеет строение "Краснота есть здесь", где "красное" — не предикат, а имя, и что

то, что обычно называют "вещью", есть не что иное, как пучок сосуществующих качеств, таких, как краснота, твердость и т.п. Если, однако, эта точка зрения будет принята, то тождественность неразличимого становится аналитической истиной, а предполагаемая Эйфелева башня в Нью-Йорке будет в точности тождественна Эйфелевой башне в Париже, если они действительно неразличимы» [Russell 1980, 97] (ср. выше противоположный принцип Лейбница).

Это влечет Рассела, в свою очередь, к анализу пространственно-временных отношений, поскольку они одни служат теперь для различения объектов, совпадающих по качествам-предикатам. Для этого анализа Рассел вводит замечательное понятие "egocentric particulars" — термин, очень трудный для перевода: букв. 'эгоцентрические частные термины' или 'эгоцентрические частицы'. Рассел подводит под него такие слова, как "это", "то", "я", "ты", "здесь", "там", "сейчас", "тогда", "прошедшее", "настоящее", "будущее". Но, введя это новшество, оказавшееся впоследствии столь полезным для позднейших прагматических теорий, Рассел тотчас устраняет его из своей собственной теории. Путем довольно натянутого рассуждения он приходит к выводу, что выражения типа "Я есть..." могут быть сведены к выражениям типа "Это есть...", например "Это есть красное", а последние, как уже было показано, сводятся к утверждению качества типа "Краснота есть здесь". Таким образом, весь класс "эгоцентрических частиц" сводится к суждению о восприятии и в конечном счете исключается: "Эгоцентрические частицы... не являются необходимыми ни в какой части описания мира, будь то мир физики или мир психологии" [там же, с. 115]. Таким образом, Рассел закрыл себе путь к лингвистической прагматике. Вопрос о прагматике снова встал перед ним в связи с проблемой пропозициональных установок, и там снова Рассел закрыл выход к прагматике, предложив такое своеобразное решение проблемы, которое на долгие годы определило по существу обходное, не прагматическое, а семантическое рассмотрение прагматических проблем (см. об этом ниже).

Вернемся к понятию предиката. По существу только одну группу предикатов Рассел называет этим именем — обозначения качеств типа "красный", "желтый", "твердый" и т.п. и при этом сводит предложения типа "Это — красное" к предложениям "Краснота есть здесь". Такие предикаты, когда он рассматривает их под определенным углом зрения в своей системе, а именно в их отношении к опытным данным, оказываются "именами". Несколько непоследовательно, при рассмотрении этого вопроса в общей, логической форме, т.е. с помощью понятия пропозици-

ональной функции, Рассел сохраняет термин "имя" в его более или менее обычном употреблении. Сам он объясняет эту непоследовательность тем, что слова типа "красный", "твердый" и т.п. являются именами "в синтаксическом смысле" [там же, с. 95]. Двух- и многоместные предикаты типа "...находится перед...", "...дает (кому, что)..." называются у него не предикатами, а отношениями. Вопрос об отношениях как о чем-то отличном от собственно предикатов в "Разыскании" почти не затрагивается.

Напротив, подробнее и интереснее он намечался к освещению в "Логическом атомизме" 1924 г. (см. о расселовском понимании предикатов выше, гл. IV, 1).

В "Разыскании" 1940 г. Рассел по-прежнему использует понятие "факт" (оно, как мы уже говорили, "работает" хорошо), но дает ему следующую трактовку: «За пределами языка нет такого факта, как „вот квадрат в круге“, или такого, как „вот красная фигура в синей фигуре“. Нет фактов, „что дело обстоит так-то и так-то“. Есть результаты восприятий, из которых путем анализа мы выводим пропозиции, „что дело обстоит так-то и так-то“. Раз мы это понимаем, то нет вреда, если мы называем результаты восприятий (percepts) „фактами“» [там же, с. 153—154]. Так мысль о непостижимости явления "предиката" как бы обрамляет весь период логического атомизма — от первой формулировки понятия "предикат", как у Рассела в 1924 г., до только что приведенных размышлений.

Иерархия языков. Язык, по Расселу, реализуется в виде пропозиций о мире, как физическом, так и психическом (о мире физики и о мире психологии, что одно и то же). Пропозиции имеют различный вид, чему соответствует их глубокое внутреннее различие:

(1) "Роза красная", "x есть красное", в общей форме $R_1(x)$, — собственно предикатное, или монадическое, отношение;

(2) "Машина стоит перед домом", в общей форме $R_2(x, y)$, — не предикатное, диадическое отношение;

(3) "Мери дает книгу Джону", в общей форме $R_3(x, y, z)$, — триадическое отношение и т.д.; возможно $R_n(x_1, x_2, x_3...x_n)$ — "эн"-ическое отношение;

(4) «„Роза красная" — истинно», в общей форме "f $R(x)$ истинно для некоторых R";

(5) "Джон считает, что роза красная", в общей форме "A считает $R(x)$ ".

Пропозиции типа (1), (2), (3) Рассел считает "атомарными предложениями", максимально близкими к данным опыта (без посредствующих пропозиций); они образуют "первичный

язык" (primary language), или "объектный язык" в логическом смысле, т.е. понимаемый как модель, приближение к соответствующему фрагменту естественного языка. Пропозиции типа (4), в которых утверждается истинность или ложность другой пропозиции, относятся к языку более высокого ранга — "вторичному языку" (secondary language). Пропозиции типа (5) составляют совершенно особый класс выражений; Рассел назвал их пропозициональными установками (propositional attitudes); они также образуют язык более высокого ранга, чем первый, — может быть, входят вместе с предыдущим типом во второй, а может быть, их нужно выделить в язык еще более высокого ранга, в третий (здесь вопрос о ранге Рассел не рассматривает).

Язык первого порядка — "первичный", или "объектный", язык. Он состоит из объектных слов, выражающих непосредственно наблюдаемые качества, — "красный", "твердый", "горячий" и т.п., которые являются предикатами, но могут рассматриваться и как "имена" в синтаксическом смысле. В нем есть и некоторое количество собственных имен типа "Цезарь", "Брут". Употребляемые сами по себе, вне пропозициональной функции, такие слова непосредственно утверждают наличие чувственного объекта или одного из множества таких объектов.

Объектные слова могут быть определены, по Расселу, логически, как слова, которые обладают значением, даже будучи взяты сами по себе, в изолированном виде; они могут быть определены также психологически, как слова, которые могут быть усвоены сами по себе, без предварительного знания других слов. Рассел указывает, что эти два определения в строгом смысле не эквивалентны и в тех случаях, где они вступают в конфликт, следует предпочесть логическое определение.

Интересно отметить, что уже на уровне первичного языка в рассуждении возникают проблемы актуальной и потенциальной бесконечности, которые в дальнейшем стали играть такую важную роль при создании конструктивной математики. «Оба определения могли бы стать эквивалентными, — отмечает Рассел, — если бы мы были вправе предположить беспредельное расширение наших возможностей восприятия. В самом деле, мы не можем воспринять тысячеугольник просто зрением, но способны легко представить себе его в воображении. С другой стороны, явно невозможно, чтобы кто-либо начал усвоение языка с понимания слова „или“, хотя значение этого слова не усваивается путем формального определения. Таким образом, в дополнение к классу актуальных объектных слов имеется класс возможных объектных слов. Для многих целей класс

актуальных и возможных объектных слов более важен, чем класс актуальных объектных слов» [там же, с. 66] (см. также здесь, гл. VI, 2).

"Объектный", или "первичный", язык не содержит таких слов, как "истинно" и "ложно", и логических слов, как отрицание "нет", "или", "некоторые", "все".

Все предложения в "первичном языке" являются атомарными. Со стороны формы атомарные предложения имеют вид (1), (2) или (3) (см. выше), а со стороны отношения к опытным, чувственным данным характеризуются тем, что составляют основной корпус эмпирических физических фактов; последние могут быть описаны атомарными предложениями или противоречащими им предложениями. Во время написания этой работы Рассела предполагалось, что все остальные физические утверждения могут быть сведены к таким базовым атомарным предложениям — "подтвердителям". Это была эпоха проектов "вещного, или объектного, языка", к которому можно было бы свести все предложения науки. Ни один из проектов, не исключая и расселовского, не увенчался успехом (см. гл. IV, 4).

Относительно расселовского описания естественного языка через призму концепции иерархии языков нужно сделать еще одно специальное критическое замечание, которое сформулировал уже Айер в 1936 г. в упомянутой работе. Рассел придает слишком большое значение явлению логико-языковых парадоксов, считая, что — под угрозой парадокса — о структуре любого языка ничего не может быть сказано в рамках самого этого языка и что для этого требуется иной язык, более высокого ранга. Айер полагал, что Карнап опроверг это положение на опыте, написав работу "Логический синтаксис языка" [Ayer 1980, 95]. Мы, однако, считаем, что опасения Рассела сохраняют силу, хотя и не являются действительным основанием для иерархии языков, даже в расселовском понимании последней [см.: Степанов 1981, гл. XII].

Тем не менее "первичный язык" Рассела остался удачным, может быть самым удачным, образцом моделирования того определенного слоя языка, который сторонники логического позитивизма пытались моделировать с помощью "вещного языка".

Вторичный язык. Вводя в своей иерархии этот второй слой, Рассел основывался на работе представителя львовско-варшавской логической школы А. Тарского "Понятие истинности в формализованных языках" (первый вариант на польском языке — 1933 г., немецкий перевод с важным добавлением "Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen" —

1936 г.). Тарский обосновал то положение, что слова "истинно" и "ложно" в применении к предложениям какого-либо языка для своего адекватного истолкования всегда требуют другого языка, более высокого порядка. Это не означает, что в "объектном языке" предложения не являются истинными или ложными, но означает, что предложения типа "Данное предложение (объектного языка) — истинно (ложно)" принадлежат не к объектному языку, а к языку второго порядка (см. пример 4).

Очевидно, что и сами слова "истинно" и "ложно" появляются только в языке второго порядка. Вообще слова, называющие слова какого-либо языка, принадлежат языку следующего порядка. Так, сам термин "объектные слова" принадлежит "вторичному языку". Поскольку логические слова "или", "некоторые", "все" и т.п. принадлежат "вторичному языку", то термин "логические слова" относится уже к языку третьего порядка, "третичному", и т.д.

Далее, "вторичному языку" принадлежат отрицательные предложения. Рассел тонко подмечает, что отрицательные предложения в известном смысле аналогичны утверждению "Данное утвердительное предложение — ложно". Предложения "Это — масло" и "Это не сыр" принадлежат в действительности к разным уровням, так как первое может опираться на непосредственные данные чувственного восприятия, тогда как второе — нет [Russell 1980, 73].

И наконец, по аналогии с отрицанием трактуются и, следовательно, также отнесены к "вторичному языку" предложения со словами "все" и "некоторые".

"Эгоцентрические частицы", основанные на "Я — сейчас — здесь", в язык и на этом уровне не включаются. Рассел постоянно напоминает: «В развитом языке объектные слова, такие, как „горячий“, „красный“, „гладкий“ и т.п., не являются эгоцентрическими» [там же, с. 127].

Но нужно отметить, что вместе с тем принцип "объектного языка", в котором говорящий ("Я") не играет никакой роли, с введением "вторичного языка" уже нарушен. В самом деле: кто же является субъектом высказываний об истинности или ложности предложений объектного языка? Очевидно, не сам носитель "объектного языка", а кто-то, кто ему противопоставлен именно как носитель другого языка: у обоих языков не может быть один и тот же носитель, во всяком случае как тождественный самому себе в употреблении то одного, то другого языка. Тем самым принцип "Я", будущий принцип прагматики, негласно уже введен (см. также гл. VI, 2).

Это становится ясным прямо в контексте Рассела в связи

с обсуждением высказываний типа (5) ("Джон считает, что..."), и именно поэтому, хотя у Рассела прямо об этом не говорится, их следует, продолжая его же логику рассуждения, отнести к языку следующего, третьего ранга.

Язык третьего порядка — "третичный язык". В его рамках возникают предложения типа "Джон считает, что идет дождь" и другие выражения такого же типа — "желает", "надеется" и т.п., за которыми следует выражение с союзом "что". Подробно они были впервые обследованы Расселом и получили у него название пропозициональных установок (propositional attitudes). (Я не знаю, говорит ли Рассел где-нибудь, во всяком случае в "Разыскании" об этом нет ни слова, что прообразом понятия пропозициональных установок является учение Г. Фреге о семантике в косвенной речи [Frege 1892, 28].)

Для обсуждения этих предложений Расселу потребовалось уже различать то, что предложение указывает (и что у Карнапа получило название "экстенционал" предложения, а в некоторых лингвистических концепциях, в частности в нашей, называется "референт" или "денотат" предложения), и то, что предложение выражает (и что у Карнапа стало называться "интенционал" предложения, а в некоторых упомянутых лингвистических концепциях — "сигнификат" или "смысл" предложения). Последнее было одним из начальных, еще не вполне отчетливых описаний понятия смысла или интенционала предложения.

Путем длинного рассуждения (технические детали которого мы опускаем) Рассел приходит к выводу, что в предложении вида "*A* считает, что *p*", где *p* — предложение "объектного языка", после союза "что" объектом мнения, или веры, является в общем случае не предложение *p* в целом, со стороны его экстенционала и интенционала, а лишь интенционал этого предложения. Положим, имеется атомарное предложение *p* "Все двуногие существа, лишённые перьев, являются человеческими существами", истина которого гарантируется определением человеческого существа: "Это — двуногое существо, лишённое перьев"; подстановка определения в предложение *p* приводит к тавтологии. Положим теперь, имеется предложение с пропозициональной установкой: "*A* считает, что есть двуногие существа, лишённые перьев, которые не являются человеческими существами"; отсюда никак не следует "*A* считает, что человеческие существа не являются человеческими существами". Здесь замена тождественного по экстенционалу выражения приводит к ложному утверждению. Следовательно, язык этого типа, т.е. с пропозициональными установками, не является экстенциональным языком.

Самого Рассела в этой связи особенно заботили принципы экстенциональности (является ли такой язык экстенциональным?) и атомарности (являются ли высказывания такого типа атомарными?), и он приходит к выводу, что принцип экстенциональности не оказывается ложным, но требует лишь правильного применения; что касается принципа атомарности, то вопрос представлялся ему не вполне ясным.

Мы, однако, обратим внимание на другие вопросы, на наш взгляд в настоящее время более важные.

Кто является носителем мнения? Рассел прекрасно показал, что если предложение p принадлежит "объектному языку", то предложение " A считает, что p " принадлежит языку более высокого ранга. Однако, не уделяя этому вопросу специального внимания, он, по-видимому, полагал, что это все тот же язык второго ранга. Но, как ясно из сказанного выше, предложение "Джон считает, что идет дождь" лишь по видимости принадлежит этому языку: сам Джон просто говорит "Идет дождь"; выражение же "Джон считает, что идет дождь" принадлежит кому-то, кто обсуждает Джона, например Мери. Но обсуждение того, является ли предложение "Джон считает, что идет дождь" истинным или ложным, экстенциональным или интенциональным, не может принадлежать Мери. Оно может принадлежать Расселу (или кому-то на его месте). В общем случае оно принадлежит языку третьего ранга (Ч. Моррис в работе 1938 г. считал, что можно объяснить — на наш взгляд, чрезвычайно запутанным путем — объединение всех подобных типов в одной системе естественного языка [Моррис 1983, 76]).

Таким образом, трактовка всего этого комплекса вопросов, связанного с пропозициональными установками, у Рассела просто означала одно и то же семантическое решение, но только как бы передвигаемое все выше и выше по шкале иерархии языков: в основе решения лежала теория типов самого Рассела.

Рассел не заметил совершенно нового основания, заключенного в самом языке: система координат говорящего "Я — здесь — сейчас" встроена в сам естественный язык и на определенном этапе должна быть введена в шкалу языков. Рассел закрыл для себя и для своих последователей этот путь, исключив им же открытый класс "эгоцентрических терминов" как "излишний для описания какого бы то ни было фрагмента мира или языка".

С введением этого принципа иерархия языков перестала совпадать с иерархией типов Рассела — в ней стали выделяться три основных типа, или ранга, языков: язык низшего ранга — преимущественно семантический; язык более высокого

ранга — семантический и синтактический; язык самого высокого из трех, третьего, ранга — семантический, синтактический и прагматический. Но в чисто логическом плане эта проблема начала освещаться значительно позже, в наши дни, с появлением новой области логики — семантики модальных и интенциональных логик. Это означало по существу переход к новой лингво-логической парадигме — философии эгоцентрических слов. Но начало положил писавший на эту тему почти в те же годы, что и Рассел, в своей иерархии языков Р. Карнап. А после него пропозициональные установки получили совершенно новую трактовку в аналитической философии [см. подробно: Дегутис 1983; однако мы в отличие от А. Дегутиса не считаем, что это иное решение является и более удовлетворительным].

4. ОТ ПАРАДИГМЫ "ДВУХ ЯЗЫКОВ Р. КАРНАПА К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ КОНСТРУКТИВИЗМУ

Концепция "двух языков", зародившаяся еще во времена схоластики в учениях "модистов" (см. гл. II, 3), утверждает, что в обществе существуют по крайней мере два языка: один — повседневный, особый у каждого народа, этнический, или национальный, подчиняющийся "обычаю", непоследовательный и своеобразный, другой — логический, строгий, одинаковый для всех народов, всеобщий, или универсальный, не выражающийся непосредственно, но присутствующий лишь как скрытый слой внутри первого языка и выявляемый в искусственных формах логического описания. Путем сложных опосредований, часть из которых упомянута выше (гл. III, 1), эта идея дошла до середины XX в.

В XX в. эта идея прошла следующие этапы: 1) Концепция "вещного языка", которому противопоставлен "метаязык", или "общий язык науки", т.е. язык, содержащий общенаучные термины. Это было общей точкой зрения сторонников логического позитивизма, а также Б. Рассела, получившей воплощение в различных проектах. Из них наиболее известен принадлежащий Р. Карнапу. Особенность этих проектов состоит в том, что отношения между двумя языками устанавливаются путем "правил корреспонденции" (соотнесения) между общенаучными терминами и терминами "вещного языка"; 2) концепция "лингвистического анализа", выдвинутая английскими философами (Г. Райл, Дж. Уисдом и др.) еще в начале 1930-х годов параллельно с проектами логического позитивизма, но затем, уже после падения последнего, развитая в концепциях "редукции" 1950-х годов (поздний Витгенштейн, тот же Райл, П. Стросон и др.); общая черта всех этих концепций

166

состоит в том, что два языка обнаруживаются в одном и том же повседневном языке, одна часть которого, таким образом, должна быть сведена, "редуцирована" к другой его части — к "реальным" терминам; место правил корреспонденции здесь занимают "правила перифразирования"; 3) концепция трансформационных, а вскоре затем, в обобщенном виде, "порождающих", или "генеративных", грамматик 1960-х годов. Ее особенность сравнительно с упомянутыми представлениями английской школы заключается в том, что правила перифразирования рассматриваются в очень абстрактном виде — как формулы грамматических преобразований, в то время как от лексикона отвлекаются (см. аналогично в "трансформационной логике" [Брутян 1983]).

Во всем этом движении от концепций первого типа ко второму и от него к третьему теперь, по прошествии полувека, заметна еще одна линия — от статических формулировок "корреспонденций" у Карнапа и других сторонников логического позитивизма к формулировкам "преобразований" у английских аналитиков и, наконец, к динамическим формулировкам "правил порождения" у генеративистов. В этом движении несомненно сыграло роль все нарастающее влияние конструктивного направления в математике, связанного с разработкой алгоритмических процессов. Поэтому все три упомянутых типа логико-лингвистических концепций могут быть объединены, по крайней мере по упомянутому признаку, под общим названием **к о н с т р у к т и в и з м а**. Термин "конструктивизм" не является самоназванием указанного лингвистического направления (но является таковым в математике), но он необходим. Смогли бы мы создать общее представление о процессах развития науки, если бы основывались только на самоназваниях (и самоквалификациях) тех или иных научных течений? Например, учение акад. Н.Я. Марра должно было бы расцениваться в соответствии с его самоназванием и самоквалификацией как "новое учение о языке" и даже как "новое марксистское учение о языке". Напротив, "ньютоновская парадигма" в физике не имела бы права на такое название на том основании, что его не применяли ни Ньютон, ни современники и единомышленники Ньютона. Конечно, объединение под одним названием трех упомянутых выше направлений в какой-то мере уменьшает оригинальность каждого, но этого требуют факты, которые стали ясно видны по прошествии полувека.

Другой общей чертой этих трех направлений было, как уже сказано, стремление к редукции — к сведению одних языковых выражений к другим. В свете этих двух тенденций —

редукции и конструктивизма — мы рассмотрим каждое направление в некоторых подробностях.

"Вещный, или "объектный", язык (thing-language, object-language) Карнапа. Сам этот термин сложился к концу 1930-х годов. В N 1 и 2 первого тома "Энциклопедии унифицированной науки" 1938 г. он уже применяется в разных статьях как общепринятый. Но работы Карнапа, в которых дается его строгое определение, явились лишь завершающим этапом целого ряда проектов, из которых самый ранний относится к концу 1920-х годов — он принадлежал участникам Венского кружка и назывался тогда "феноменалистским языком", т.е. языком, описывающим непосредственно наблюдаемое, феномены. Этот проект "первичного языка" был вскоре отвергнут самими неопозитивистами из-за его субъективности (непосредственно наблюдаемое есть достояние лишь индивида). За этим последовали проекты "протокольного языка", затем "физикалистского" и ряд других [их краткую историю см. в работе: Мудрагей 1975].

"Вещный", или "объектный", язык Карнапа — это тоже "физикалистский язык" в том смысле, что первичные определения терминов, обозначающих объекты, должны в этом языке вводиться так, как они вводятся в физике, т.е. посредством количественного указания физических параметров — температуры, давления и т.д. Но Карнап расширяет это язык, допуская в него также термины наблюдения типа "горячий", "холодный", "тяжелый" и т.п., экспликация которых не требует сложных технических средств, и термины, получившие название "диспозициональных предикатов" типа "растворимый", "упругий", "ковкий" и т.п. [Carnap 1938; Лахути 1962].

Всякий вновь вводимый термин нужно сводить к первичным терминам путем строгих процедур, заключающихся в истолковании этого термина посредством уже имеющихся, путем "сведения", "редукции" его к последним. Совокупность редукционных процедур для данного термина образует его "детерминацию". В сущности эти два понятия являются формальным аналогом условий использования термина, а следовательно, и аналогом понятия "значение". «Мы знаем значение термина, — писал Карнап в статье „Логические основания единства науки“, — если знаем, при каких условиях нам разрешается применять этот термин в каждом конкретном случае и в каком случае его нельзя применять» [Carnap 1938, 44].

"Вещный язык", по мнению Карнапа и других представителей логического позитивизма (это мнение обобщил Ч. Моррис в своей концепции семиотики, опубликованной уже в следующем. 2-м номере того же тома [см.: Моррис 1983]),

способен составить базу "унифицированной науки". Иными словами, к "вещному языку" они предполагали возможным свести посредством редукции и детерминации все термины и утверждения науки вообще, т.е. биологии, психологии, социологии и т.д.

Ни один из проектов создания чистого "объектного языка" не увенчался успехом. Сам Карнап, делая примечание к своей статье "Старая и новая логика" (1930—1931), в 1957 г. писал: "Редукция научных понятий к чувственным данным или непосредственно наблюдаемым свойствам... невозможна. Поэтому предложения языка науки в общем случае непереводимы в предложения одного из этих базовых типов; отношения между ними гораздо более сложные. Следовательно, предложение, выражающее научное утверждение (a scientific sentence), не может быть просто определено как истинное или ложное; оно может быть более или менее подтверждено на основе наблюдаемых данных. Таким образом прежний принцип верифицируемости, первоначально провозглашенный Витгенштейном, заменен более слабым требованием подтверждаемости" [Carnap 1959, 146].

Невыполнимость этой задачи послужила одной из основных причин крушения логического позитивизма как "философии науки". Однако что касается идеи "вещного языка" самой по себе, то надо сказать, что проект Карнапа был не так уж плох и, вообще говоря, не так уж далек от исполнения. Причиной неудачи послужила лишь чрезмерная "физичность" ("физикализм") проекта, требование сводить все к терминам, определяемым способами физики, иными словами, его недостаточная "лингвистичность". Как показали лингво-логические исследования 1970—1980-х годов, в особенности А. Вежбицкой, слова и выражения естественного языка, взятого в широком диапазоне его повседневного употребления, вполне возможно свести к некоторому небольшому числу первичных неопределяемых терминов. Но только эти термины не должны вводиться физикалистским способом, их адекватное определение должно быть лингвистическим. В системе Вежбицкой около 10—12 таких семантических "примитивов" (как она их называет), это термины "хотеть", "не хотеть" (отрицание неотделимо от содержательного примитива), "думать о", "воображать (представлять себе)", "говорить", "становиться", "быть частью", "нечто", "Я", "ты", "мир", "это". Они неразложимы и, следовательно, неопределимы (так как определение есть комбинация элементов значения), и они естественны, т.е. являются не терминами языка физики, а семантическими сущностями естественного, повседневного языкового и мыслительного опыта человека. Наконец, — это очень важная черта "семанти-

ческих примитивов” — они извлечены не из словаря естественного языка, а представляют собой некоторые элементы высказываний естественного языка, не обязательно ассоциируемые с отдельным словом (ср. “не хотеть”).

С помощью таких “примитивов” Вежбицка успешно анализирует, т.е. сводит к элементам-“примитивам”, достаточно сложные высказывания повседневного языка. Например, таким способом делается возможным объяснить значение слова “много” следующим образом: *У этого ребенка много игрушек* = = “*Этот ребенок имеет больше игрушек, чем любой ребенок, об игрушках которого ты мог бы подумать, желая представить себе игрушки этого ребенка*” [Wierzbicka 1972, 74] (выделенные курсивом элементы объяснения являются сразу “семантическими примитивами”, а все другие элементы могут последовательно быть сведены к терминам этого ряда. Разумеется, здесь мы эту редукцию опускаем. В наиболее полном виде система Вежбицкой изложена в работе “Язык мысли” [Wierzbicka 1980]. Во всем этом нетрудно видеть, как об этом говорит и сам автор, развитие известных идей Лейбница).

Оказались очень полезными и некоторые частные идеи Карнапа, связанные с его проектом “вещного языка”. Например, понятие диспозиционного предиката оказалось аналогом особого явления естественных языков — таких глаголов, которые, обозначая свойства, достаточно определенно имплицируют свои субъекты и объекты. Так, глагол *посыпаться* в русском языке “в своем прямом значении имплицирует в качестве формального субъекта класс предметных переменных, область определения которых задается диспозициональным свойством дискретных масс (веществ) или совокупностей мелких предметов” — *посыпались песчинки, орехи, камни, книги, но не лошади, скалы, дома*. При переносном употреблении того же глагола в обозначении событий признак раздельности, дискретности его субъекта, уже содержащийся в нем как в обозначении диспозиционального свойства, ограничивает класс таких событий раздельными, повторяющимися (дискретно-итеративными, как говорят лингвисты) событиями, поэтому можно сказать: *посыпались сообщения, новости, огорчения, награды, мелкие радости* и т.п., но невозможно: *посыпались надежды, страдания, кризисы* [Телия 1981, 40]. Как указывает В.Н. Телия, такие понятия, как “диспозициональный предикат”, проливают свет на малоизученное явление естественного языка — связанное значение слова.

Иерархия языков у Р. Карнапа. Как и Рассел, Карнап естественно, в силу самой логики языка должен был

натолкнуться на вопрос об иерархии языков. В простейшем виде он возник уже при рассмотрении "вещного языка" и общего языка науки (или языка каждой отдельной науки) как языков двух разных типов в их взаимоотношениях, т.е. он сразу возник как вопрос о переходе между различными языками иерархии. Соображения о переходе от одного типа языка к другому появлялись, конечно, и в связи с иерархией у Рассела, но Рассел, по-видимому, не придавал им особого значения и не ставил вопроса в общей форме. Карнап сделал именно это. Иными словами, он осуществил опыт формализации перехода от одного языка к другому в рамках определенной иерархии языков [см.: Карнап 1959а, т. I, раздел В].

Карнап ставит вопрос о формализации, о которой идет речь, в зависимости от вопроса об истинности предложений каждого языка в иерархии и устанавливает связь между языками по этой линии. Язык низшего типа в этой иерархии — код, например обычный телеграфный код. В этой системе может быть образовано конечное число предложений, т.е. соответствий между знаками кода и их "переводами", — каждое предложение на основе данного для него условия истинности.

Если же в системе может быть образовано бесконечное число предложений, то такие системы Карнап называет языковыми семантическими системами, т.е. языками.

Система S_1 имеет семь знаков: три — предметные константы A_1, A_2, A_3 , два — предикаты V_1, V_2 и два знака скобок — $(, ($. Эта система является аналогом "объектного языка". В ней формулируются следующие условия истинности:

- (1) $V_1(A_1)$ истинно, если Чикаго — большой город.
- (2) $V_1(A_2)$ истинно, если Нью-Йорк — большой город.
- (3) $V_1(A_3)$ истинно, если Кэрмел — большой город.
- (4) $V_2(A_1)$ истинно, если Чикаго имеет гавань.
- (5) $V_2(A_2)$ истинно, если Нью-Йорк имеет гавань.
- (6) $V_2(A_3)$ истинно, если Кэрмел имеет гавань.

От этой системы можно перейти к аналогу языка более сложного типа, к системе S_2 , которая является обобщающей по отношению к системе S_1 . Для построения S_2 формулируются пять частных правил обозначения и одно общее правило для условий истинности:

- (1) A_1 означает Чикаго.
- (2) A_2 означает Нью-Йорк.
- (3) A_3 означает Кэрмел.
- (4) V_1 означает свойство быть большим городом.
- (5) V_2 означает свойство иметь гавань.

(6) Предложение $V_1(A_1)$ истинно, если, и только если, десигнат A_1 имеет десигнат V_1 (т.е. объект, обозначенный через A_1 , имеет свойство, обозначенное через V_1).

От S_2 можно перейти к еще более сложной системе S_3 . Для этого в новой системе вводятся знаки действий и новые обозначения исходных констант — a , b , c и исходных предикатов — P и Q , а также новые формулировки условий истинности. От системы S_3 можно перейти к более сложной системе S_4 и т.д.

Таким образом, каждая более высокая система в иерархии является у Карнапа метаязыком для языка предшествующего уровня. Это понимание иерархии имело, на наш взгляд, и отрицательные последствия, когда началось изучение прагматики (см. гл. VI, 2).

Надо обратить внимание еще на одну особенность карнаповской иерархии — на возможности каждого языка описывать мир или миры. По существу эти возможности — не что иное, как возможности комбинаторно составлять предложения. В приведенном фрагменте это лучше всего видно на системе S_1 . В ней три предметные константы — A_1 , A_2 , и A_3 и два предиката — V_1 и V_2 (язык S_1 улавливает в мире только три предмета и два свойства), и количество предложений, которые с их помощью можно образовать, равняется числу сочетаний каждой предметной константы с каждым предикатом, т.е. шести. Картина мира, которую язык S_1 способен создать, соответствует полному набору предложений — $A_1(V_1)$, $A_2(V_2)$... и т.д. до $A_n(V_m)$, где $n = 3$, а $m = 2$. Этот набор из шести предложений полностью приведен выше.

Однако этот набор представляет лишь тот случай, когда все шесть сочетаний, т.е. предложений, истинны. И это соответствует тому, что каждый предмет, поименованный константой, обладает каждым свойством, поименованным предикатом.

Если допустить отрицание, то возможности языка S_1 расширятся, он сможет описывать и такие случаи (картины мира), когда один, или несколько, или даже ни один предмет не обладает каким-либо свойством, или несколькими из свойств, или даже ни одним из свойств. Например, в приведенном выше случае из шести истинных и утвердительных предложений можно изменить предложение (1) так, чтобы оно читалось $A_1(\sim V_1)$, где знак тильды означает отрицание, т.е. предикат V_1 не принадлежит предмету, обозначенному константой A_1 , т.е. Чикаго не большой город. (То же предложение с аналогичным результатом можно изменить и иначе, оставив его в прежней записи — $A_1(V_1)$, но иметь в виду, что оно ложно, т.е. $A_1(V_1)$ ложно, если Чикаго большой город. Этот простой

пример показывает тесную связь, существующую в языке вообще между понятиями "истина" и "утверждение", с одной стороны, и понятиями "ложь" и "отрицание" — с другой.)

Точно таким же образом можно поступить с каждым из предложений (1—6) в отдельности, или с несколькими из них сразу, или, наконец, со всеми ними. Картины мира, которые такие наборы из шести предложений будут в каждом из этих случаев описывать, можно называть картинами одного и того же мира, или "состояниями дел", или "положениями дел" в одном и том же мире, или, наконец, разными мирами. В только что разобранном примере, где предложение (1) или отрицательно, или ложно, а все остальные предложения утвердительно или истинны, "положение дел" естественнее всего было бы назвать именно особым миром: ведь если Чикаго не большой город, то это или какая-то иная страна, а не США, или это США, но в далеком прошлом. Сам Карнап предпочитает термин "описание состояний" (state description).

Если суммировать все случаи, т.е. тот случай, когда все предложения о мире утвердительно, когда отрицательно одно из них, когда отрицательны два из них... и т.д. вплоть до случая, когда отрицательны все, то полученная картина будет "полным описанием состояний" в данном языке. В рассматриваемом языке S_1 , содержащем три индивидуальных символа (A_1, A_2, A_3) и два предикатных (B_1, B_2), получается $2^{2 \cdot 3} = 2^6$ систем (т.е. состояний).

Если же мы не допускаем таких случаев, когда все предикаты в описаниях состояния отрицательны, то количество возможных состояний будет равно $2^{6-1} = 2^5$. Вообще для n предикатов и m индивидов в первом случае число состояний равно $2^{m \cdot n}$, а во втором равно $2^{m \cdot n - 1}$.

"Полное описание состояний" обладает очень большой общностью. Оно применимо в разных целях (например, Л. Больцман применил его в физике для описания идеального газа). Мы уже отмечали его применимость в языкознании для описания структуры языка [Степанов 1966, 85—86]. Теперь нужно отметить его применимость к понятию возможных миров. "Полное описание состояний" будет описанием всех возможных миров, которые способен описать данный язык; каждое отдельное состояние из полного набора состояний будет соответствовать одному из возможных миров.

С этим понятием был связан ряд существенных достижений в рамках той логико-философской парадигмы, которую мы называем философией предиката. Но в новой парадигме, в философии эгоцентрических слов, в связи с разработкой модальных и интенциональных логик обнаружилось недостатки, в

частности проблема "нехватки имен", и трудная применимость "полного описания состояний", и были предприняты попытки серьезной модификации этого подхода [Хинтиikka 1980, 43] (см. также здесь, гл. VI, 3).

В связи с темой нашей книги особенно интересен вопрос "нехватки имен", т.е. вопрос о количестве предметов и количестве свойств, которые способен охватить тот или иной язык в "полном описании состояний". Карнап, по-видимому, не уделял этому вопросу внимания, а между тем для построения адекватной картины языка он не менее, а может быть и более, важен, чем вопрос о количестве возможных состояний (см. также гл. VII, 0).

Картина языка в концепциях "лингвистического анализа". Под этим самоназванием известны концепции английской школы, порожденные идеями Л. Витгенштейна и развитые в работах Г. Райла, Дж. Уисдома, П. Стросона и др. В основе их лежит понимание значения языкового выражения как употребления выражения, т.е. в общей форме — "значение есть употребление". Так, значение того или иного слова, в особенности общего имени или абстрактного термина, есть совокупность его употреблений.

Этот тезис имеет под собой реальное языковое основание в виде явления дистрибуции. Под дистрибуцией элемента языка понимается совокупность окружений данного элемента другими элементами (его же уровня, или типа), которые могут иметь место в высказываниях, текстах данного языка. Поскольку в определение дистрибуции входит выражение "может", это определение является лишь констатацией потенциальных возможностей языка. Действительная же дистрибуция устанавливается индуктивно, на основе наблюдений речи, и ее следует определить, скорее, как "реальные окружения, в которых данный элемент встретился в речи". Лингвисты 1950-х годов, особенно американские, уделили большое внимание установлению значений посредством дистрибуции; они разработали с этой целью строгие методические правила исследования и установили различные типы дистрибуции (дополнительная, контрастная, дистрибуция свободного варьирования [см.: Степанов 1975, 232—235; реальные результаты применения метода дистрибуции к анализу значений см. в работе: Апресян 1967]).

В итоге таких работ было выяснено, что дистрибуция способна обнаружить так называемые дифференциальные элементы значения, т.е. те компоненты значения, которые дифференцируют данный элемент, например слово, от других слов, — это в лучшем случае. Во многих случаях этот анализ вскрывает дифференциальные признаки лишь "с точностью

до группы”, т.е. лишь признаки некоторых классов слов, взятых как целое, и, хотя эти классы могут быть достаточно мелки, например включать по три-четыре элемента, тем не менее значение каждого элемента в отдельности, его “лексическое ядро”, этим методом не улавливается. Примером, хотя и грубым, так как привести полное описание какой-либо дистрибуции здесь затруднительно, может служить следующая дистрибуция: *Я быстро... домой*. Выписанные элементы составляют дистрибуцию некоторого класса слов, элементы которого могут быть по одному, не все сразу, представлены на месте многоточия. Этот класс в русском языке состоит, как нетрудно видеть, из слов *иду, бегу, еду, спешу, лечу, пробираюсь* и, может быть, еще нескольких (в обобщенной форме их можно записать в неопределенном наклонении: *идти, бежать, ехать...; ходить, бегать, ездить... и т.д.*). Очевидно, однако, что приведенная дистрибуция вскрывает лишь то общее, что есть в значении всех слов данного класса, но не их индивидуальные особенности. Количество общих элементов последовательно может быть уменьшено, т.е. индивидуальность прояснена путем увеличения дистрибуций; так, дистрибуция *Я быстро... домой на велосипеде* устраняет из класса элементы *иду, бегу, лечу, пробираюсь*, а оставшиеся элементы *еду* и *спешу* получают новые признаки, т.е. более точное определение. Какая-то другая дистрибуция способна сузить класс еще более, даже до одного элемента. И все же, поскольку дистрибутивный анализ всегда определяет класс, состоящий хотя бы из одного элемента, лексическое ядро — собственное, индивидуальное значение слова и выражения — обычно остается невыявленным.

Поэтому и правила употребления слов (а они, само собой разумеется, основаны на дистрибуции, хотя бы ее при этом и не формулировали в явном виде) недостаточны, чтобы с их помощью можно было действительно описать значения слов какого бы то ни было языка. (Интересно отметить, что этот отрицательный результат заранее предвидел такой проницательный логик, как К.И. Льюис, см. ниже, гл. VI, 2.) Философы “лингвистического анализа” по-своему также осознали это явление и, продолжая настаивать на том, что “значение есть употребление”, стали искать более адекватные способы выявить значение, по-прежнему не выходя из рамок системы языка и не обращаясь к внешнему миру.

Такой способ они нашли в явлении *п е р и ф р а з и р о в а н и я* (по-русски вначале в этом значении применялся термин “перифразирование” от “перифразировать”, а в настоящее время — “перифразирование” от “перифраза”). И это стало открытием, предвосхитившим на многие годы современные работы по логи-

ке языка. Понятие "перифразирование" было сформулировано уже в статье Дж. Уисдома "Наглядное обнаружение" ("Ostentation"). В настоящее время перифразирование применяется очень широко. Частным случаем перифразирования являются, например, так называемые глубинные семантические структуры предложений, а конкретным примером может служить приведенное выше описание слова "много" в системе А. Вежбицкой.

А.С. Богомолов замечает по поводу названной статьи Уисдома: «Аналитическая процедура состоит в перефразировке предложения S таким образом, чтобы его парафраза, S' , более ясно раскрывала структуру факта, который она локализует. Однако действительная цель „перефразировки“, как явствует из дальнейшего, — это перевод абстрактных понятий в те простейшие понятия, от которых эти абстракции были произведены... Но в таком случае... „поиски референта“ общей семантики, а вместе с тем и „перефразировка“ Уисдома — это лишь семантически-лингвистический вариант принципа верификации (неопозитивизма. — Ю.С.), требующей сведения (редукции) любой абстракции к непосредственным актам опыта или выражающим их „протокольным предложениям“» [Богомолов 1973, 266]. Однако в отличие от сторонников логического позитивизма, исключавших неверифицируемые, "метафизические" предложения и понятия (вроде понятия "сущность") из сферы философии (да, собственно, и сама философия отождествлялась у них с метафизикой), философы "лингвистического анализа" старались переосмыслить метафизические понятия на основе разрабатываемого ими анализа языка.

Подверглись переосмыслению и те языковые факты, на основе которых появились понятие пропозициональной установки Рассела и соответствующие понятия в иерархии языков Карнапа. Высказывания типа " X мыслит, что p " (где вместо "мыслит" может быть "полагает", "считает", "верит" и т.д.) стали рассматриваться как эквивалентные высказыванию « X говорит: " p »» (аналогичную трактовку дает в своем "языке мысли" А. Вежбицка). Этому переосмыслению сопутствовали новые понимания предиката и значения. Предикаты рассматриваются не как термины, обозначающие объекты, а как термины классифицирующие объекты, обозначенные (поименованные) сингулярными терминами или связанными переменными. Значение рассматривается не как "платоническая сущность" наподобие числа, которую языковому знаку остается просто обозначить, а как лингвистическая функция знака. С последним утверждением можно сравнить более общий и известный тезис: значение есть употребление [подробнее об этом

см.: Дегутис 1983]. Предваряя последующее развитие идей, здесь можно заметить, что в последнее время некоторые философы языка снова стали склоняться к пониманию значения (интенционала) как "платонической сущности" вроде числа [см.: Семиотика 1983, 292, 296, 611].

Генеративные, или "порождающие", концепции 1960-х годов. Их объективным языковым основанием явилось понятие дистрибуции, охарактеризованное выше. Сравнительно легко проследить шаг за шагом превращение дистрибутивного анализа сначала в анализ предложения по "непосредственно составляющим", а затем в "анализ через синтез", через порождение предложения последовательными этапами, от символа S к непосредственно составляющим именным и глагольным группам и далее к их разветвлениям [см.: Новое в лингвистике 1962, 391—411].

Другим источником генеративизма, самими его сторонниками в то время недостаточно осознанным, послужили, как теперь ясно, идеи Л. Витгенштейна. В "Логико-философском трактате" он писал: "Структуры предложений стоят друг к другу во внутренних отношениях (5.2). Мы можем подчеркнуть эти внутренние отношения в нашем способе выражения, изображая предложение как результат операции, которая образует его из других предложений (основание [Base] операций) (5.21). Операция есть выражение отношения между структурами, их результатов и их оснований (5.22). Операция есть то, что должно произойти с предложением, чтобы образовать из него другие (5.23)" [Витгенштейн 1958].

Очень важно подчеркнуть недостаточно отмеченный в истории генеративизма момент: в то время как от идеи дистрибуции пролегал путь к идее внутреннего порождения (развертыванию) одного отдельно взятого предложения, от идеи связи предложений посредством операций (как у Витгенштейна) путь шел к концепции порождения одних предложений из других. Когда оба пути сомкнулись, образовался генеративизм.

Третье определяющее влияние шло от общих идей конструктивизма в математике, в особенности от исследования вычислительных процессов, алгоритмов. Стремление к динамическому представлению систем сразу нашло отклик в лингвистике, потому что в ней оно возникало вновь и вновь на протяжении всей ее истории — со времен Панини в Древней Индии до наших дней [Кубрякова 1980].

Идеи конструктивной математики, выраженные в конкретной форме понятий теории алгоритмов (или алгорифмов) А.А. Маркова в 1950-е годы, через несколько лет были почти

целиком использованы в работах советских лингвистов по порождающим грамматикам.

А.А. Марков отмечал: "В математике принято понимать под алгоритмом вычислительный процесс, совершаемый согласно точному предписанию и ведущий от могущих варьировать исходных данных к искомому результату" [Марков 1951, 176]. Вводя затем понятия абстрактного и конкретного алфавитов, абстрактного и конкретного слова (причем под конкретными здесь понимаются употребления, вхождения в текст соответствующих абстрактных единиц), Марков далее писал: "Будем говорить, что алфавит применим к слову Р, если, исходя из этого слова и применяя алгоритм, мы получим в конце концов некоторое слово, на котором процесс оборвется. Об этом слове мы будем говорить тогда, что алгоритм перерабатывает в него слово Р" [там же, с. 180—181]. В развитом виде генеративная грамматика не только порождает выражение или предложение языка, но и в отличие от просто алгоритмического процесса позволяет квалифицировать его грамматически, т.е. описать в системе категорий, принятых для описания этого языка. Поэтому результаты, достигнутые с помощью генеративных грамматик (после того, как этими грамматиками почти перестали заниматься), продолжают благоприятно сказываться на работах в других направлениях лингвистики (в порождающей семантике, категориальных грамматиках, грамматике Монтегю и др.).

Ср. следующее итоговое определение понятия "порождать", которое дает В.З. Демьянков: "о грамматике говорят, что она порождает множество предложений, цепочек и т.п., если с ее помощью можно перечислить все множество этих выражений, а также если любое выражение можно с ее помощью отнести или не отнести к данному множеству, определив для нее одну или более дериваций" [Демьянков 1979, термин 441].

Общие идеи конструктивизма в лингвистике оказались плодотворными. В настоящее время их следует связывать, по-видимому, скорее, с "лингвистическим конструированием". Ю.Н. Караулов по этому поводу пишет: «Лингвистическое конструирование — это не инженерная лингвистика, которая решает вполне определенные, конкретные задачи машинной обработки языка и его машинного использования, но тем не менее некоторые решения и инженерной лингвистики получены путем лингвистического конструирования. Лингвистическое конструирование — это совокупность обобщенных способов и приемов компиляции и комбинирования „образцов решений проблем“, экстраполяции уже имеющихся, готовых теоретических и практических результатов, полученных в разных

областях лингвистики, и их прямого или эвристического использования для преодоления трудностей и решения проблем, возникающих в тех же или других областях при построении новых лингвистических объектов... Главный принцип лингвистического конструирования — „как сделать” тот или иной объект — только на первый взгляд может представляться чисто техническим по своему содержанию» [Караулов 1981, 17].

Работы самого Ю.Н. Караулова по алгоритмическому конструированию словарей могут служить примером применения идей лингвистического конструктивизма в нашей стране. А многочисленные работы по „порождающей семантике”, „релятивной грамматике” и т.д. (более близкие к породившей эти направления „порождающей грамматике”) — примерами применения идей конструктивизма в лингвистике и философии языка США.

В заключение нужно остановиться еще на одном важном итоге этого периода, имеющем непосредственное отношение к философии языка. Он стал ясен, когда начали философски осмысливать итоги порождающих грамматик, но по существу он не был следствием только этого осмысления, а как бы постепенно накапливался, начиная с работ Карнапа и с представлений о „двух языках” 1920-х годов, а может быть, и еще раньше. Мы имеем в виду осознание того, что описание языка может быть в одно и то же время естественнонаучным в одном отношении и гуманитарным в другом.

Пока речь шла о „двух языках”, как это имело место в работах сторонников логического позитивизма 1920—1930-х годов, было более или менее ясно, что „верхний”, абстрактный, логически упорядоченный язык поддается описанию как естественнонаучный объект, в то время как „нижний”, повседневный язык есть объект гуманитарного знания (разумеется, „верхний” и „нижний” не несут здесь никакой оценки вроде „лучший” или „худший”, а означают просто степень абстрактности). Но когда были исследованы и формализованы самые способы перехода от одного языка к другому (см. работы Карнапа конца 1930—1940-х годов), то ясность исчезла. Означает ли формализация карнаповского типа, что сам повседневный естественный язык становится естественнонаучным объектом (некоторые филологи видели в этом скандал) или, напротив, язык науки тем самым обнаруживал свои тайные, глубоко „гуманитарные” черты (как стали считать семиотики)? Неизвестность рассеялась к концу описанного нами периода.

Формулировку, соответствующую воцарившейся наконец ясности, мы находим у Т.В. Булыгиной: «Формулируемые в синхронно-описательной грамматике правила представляют

собой не объяснения дедуктивно-номологического типа, которыми оперируют естественные науки, а скорее концептуальный анализ, экспликацию имплицитного знания (которым владеет исследователь, поскольку он просто владеет своим языком. — Ю.С.) этих правил, точнее, знания дотеоретических правил, соответствующих теоретическим правилам, формулируемым в лингвистическом описании, или, по выражению А.М. Пешковского, „перевод интуиции в рациональные формы” [Булыгина 1980, 130].

Т.В. Булыгина напоминает в этой связи слова Ж. Бувереса (французского философа, занимавшегося методологическим обобщением современных лингвистических концепций) о том, что объяснение в генеративной грамматике — это, скорее, объяснение в смысле карнаповского термина „экспликация”. Оно состоит преимущественно в замене того или иного довольно туманного интуитивного концепта (*explicandum*) точным формально выраженным концептом (*explicatum*). «Очевидно, в лингвистике, — заключает Т.В. Булыгина, — имеет смысл говорить о гипотезах (соответственно о подтверждаемости и т.п.) по отношению не к самой грамматике (и не к какому-либо конкретному грамматическому правилу), а к метаграмматике, т.е. по отношению к теории, утверждающей (истинно или ложно), что грамматика определенного типа... позволяет выразить максимальное количество возможных (лингвистически значимых) обобщений относительно языка» [там же, с. 131].

„Метаграмматики”, или метаязыки, могут занимать разные ярусы в иерархии языков. Это хорошо видно на примере трех рассмотренных выше систем Карнапа. Если система S_1 — это „объектный язык”, то его правила являются лишь более или менее формально перифразированными правилами употребления, которые интуитивно знает всякий носитель этого языка (если бы, конечно, такие носители существовали). Система S_2 — метаязык по отношению к S_1 — допускает верификации, подтверждаемость и т.д. как некая формально выраженная теория. Но поскольку в ее правилах истинности еще упоминаются реальные объекты, хотя и опосредованно — в виде „десигнатов”, то логическая верификация здесь ограничена. Система S_3 , являющаяся метаязыком по отношению к S_2 или мета-метаязыком по отношению к S_1 , еще более приближается к системе математического типа, к логистической системе, и т.д. Именно в смысле такой иерархии в описании языка градуально убывают свойства гуманитарного знания и нарастают свойства знания естественнонаучного типа.

Но за всем этим по-прежнему видно одно и то же ради-

кальное различие: системы типа S_1 , естественные языки, имеют прирожденных носителей, и носители просто "знают" свой язык, в известном смысле можно сказать, что "язык вложил в их разум" некое знание; все же другие системы, типа S_2 , S_3 и т.д., имеют лишь изобретателей, и "они вложили в эти языки" свое понимание (термины и правила).

Этот вопрос не перестает волновать философов языка, он возникает вновь и вновь в форме попыток различить то сами рассудки и их носителей по степени рациональности, как у Р. Карнапа и А.И. Умова (см. гл. VI, 2), то знание "в сильном смысле" — "знание" и знание в "слабом смысле" — "знание-знакомство" (нем. *wissen* и *kennen*), как у Я. Хинтички.

5. "ПОЭТИКИ ПРЕДИКАТА", ИЛИ "СИНТАКТИЧЕСКИЕ ПОЭТИКИ"

5.0. Вводные замечания.

Формальные и содержательные поэтики

Слово "синтаксис" часто появляется в характеристиках и самохарактеристиках художественных течений начала нашего века. И притом без всякого влияния со стороны семиотических штудий, в которых — в настоящее время — явления искусства обычно описываются в терминах языка.

Русские поэты-кубофутуристы в своем манифесте 1914 г. ("Садок судей", 11) почти на первом месте с гордостью декларируют: "Мы расшатали синтаксис" [Литературные манифесты 1929, 79].

Если абстракции В. Кандинского могут быть названы "семантикой" или даже "чистой семантикой" живописи, то кубизм в живописи искусствоведы метко называют "синтаксисом" (см. материалы выставки: "Москва — Париж. 1900—1930". М.: Сов. художник, 1981, с. 58).

Русские имажинисты той же поры провозгласили основой поэтики тоже кубизм, по-своему понятый: "кубизм грамматики — это требование трехмерного слова". "Плоскостное слово ныне постепенно, благодаря освещению образом, начинает трехмериться. Глубина, длина и ширина слова измеряются образом, смыслом и звуком слова. Но в то время как одна из этих величин — смысл — есть логически постоянное, две других — переходные (переменные. — Ю.С.), причем звук внешне переходное, а образ органически переходное. Звук меняется в зависимости от грамматической формы, образ же меняется об аграмматическую форму" [Литературные манифесты 1929, 106]. Отсюда у имажинистов аграмматическая

форма вроде "Доброй утра!", или "Доброй утры!", или "Он хожу!"

По-видимому, здесь мы находим одно из первых утверждений о трехмерности языка. (Должен признаться, что я обнаружил его лишь в конце своей работы.) "Логически постоянное, смысл" здесь — семантика; "две переходные величины, звук и образ" — это синтактика; "аграмматическая форма" — это прагматика (дектика), понятая индивидуалистически — как произвол личного "Я" поэта. Поскольку имажинисты, в теории по крайней мере, придавали решающее значение третьему компоненту, их поэтику следует отнести к "парадигме эгоцентрических слов" (гл. VI, 4).

В отмеченных пунктах сближались не только футуристы и имажинисты, но были близки к ним и символисты. Последний по времени французский символист П. Клодель в своем "Поэтическом искусстве" (1903) писал:

«Как-то в Японии, подымаясь из Никко в Шузенжи, я увидел — в действительности на огромном расстоянии, но сближен — и соположенные линией моего взгляда — зелень клена и зелень одинокой сосны, образовавшие аккорд. Мои нижеследующие страницы комментируют этот *лесотекст* (*ce texte forestier*), в котором, в свете июньского дня, мне открылось ветвящееся и зеленеющее высказывание (*l'énonciation arborescente*) — новое Поэтическое (от греч. *poiein* 'делать') искусство мира, новая логика.

Старая логика имеет своим инструментом силлогизм, новая — метафору, новое слово, операцию, которая проистекает только из соположенного и одновременного существования двух различных вещей. Первая логика берет за отправную точку общее и абсолютное утверждение, приписывание — раз и навсегда — признака или атрибута субъекту. Без уточнения места и времени — солнце светит, сумма углов треугольника равна двум прямым. Эта логика создает, путем их определений, абстрактные индивиды, устанавливает между ними неизменные сериальные отношения. Ее прием — именование, номинация. Когда все эти термины установлены, расклассифицированы по родам и видам в колонках ее перечней, проанализированы один за другим, она применяет их к любому заданному ей сюжету. Я сравню эту логику с первой частью грамматики, в которой определяются природа и функции различных слов. Вторая логика относится к первой как синтаксис» [Michaud 1969, 738].

Символизм выдвигает на первый план семантику, футуризм — синтактику, имажинизм — прагматику. Но в той мере, в какой все они выдвигают на первый план языковые закономерности своего искусства, их иногда сближают — равно все — как

формалистов [ср., например: Мясников 1975, 339]. Тем не менее это три разных течения в искусстве и в поэтике. В этом разделе мы коснемся только того из них, которое ставит во главу угла синтактику, — футуризма.

В смысле, ясном из вышесказанного, поэтика футуризма может быть с самого начала, невзирая на возможные интерпретации отдельных деталей, названа формальной.

Но поэтики, рассматриваемые в их отношении к философии языка, обнаруживают не только свои формальные черты. Несомненно, например, что художники-импрессионисты, стремясь запечатлеть предмет в его переменном и исчезающем состоянии данного момента, исходят из такого же понимания мира, что и те философы, "философы предиката", которые отрицают неизменную "сущность" вещей и рассматривают вещь как "пучок свойств", или "пучок предикатов". В этом смысле поэтика импрессионизма обнаруживает те же черты содержания, что и философия предиката, — та и другая по-разному, на языке искусства и на языке философии, говорят об одном и том же.

Ниже мы рассмотрим одну (а возможно, кто-нибудь найдет и другие) такую поэтику, являющуюся содержательным аналогом философии предиката, поэтическую концепцию "человека без свойств".

Бесспорно, крупнейшая из синтактических поэтик содержится в учении русского формализма. Но она настолько заслонена более общими и более значительными положениями, образующими теорию искусства русской формальной школы, что говорить о поэтике отдельно, как и рассматривать теорию искусства этой школы, в рамках настоящей книги нет, конечно, никакой возможности. Мы рассмотрим здесь более скромную поэтику — футуризма и В.Хлебникова, которую можно поместить между содержательными, как нижеследующая, и формальными.

5.1 Поэтика "человека без свойств".

Достоевский и Ибсен

Если вещь — лишь совокупность ("пучок"!)" сосуществующих свойств, то и человек — лишь пучок свойств. Задолго до того, как Рассел и другие философы его поры сформулировали первое из этих двух взаимосвязанных утверждений, великие художники слова уже обследовали второе. Мы имеем в виду два появившихся почти одновременно произведения — "Записки из подполья" (1864) Достоевского и "Пер Гюнт" (1866) Ибсена (в 1863 г. в Париже "Салон отверженных" ознаменовал пришествие импрессионистов, открывателей того

же принципа в живописи). Не случайна их связь и во времени, и в пространстве, и в интенсиональном мире идей. Оба возникли в ареалах мощного морально-этического движения — русском и норвежско-датском; оба, как мы увидим ниже, связаны с первыми импульсами экзистенциализма — в Дании сравнительно недавно скончался "философ экзистенции" С. Кьеркегор (1813—1855), а повесть Достоевского была признана впоследствии одним из главных произведений этой философии. И наконец, оба произведения были пробой новой поэтики — поэтики "человека без свойств". Пожалуй, в какой-то мере оба они экспериментальны. Хотя повесть Достоевского на два года старше драматической поэмы Ибсена, но начать целесообразно с последней, потому что если яркий веер вопросов развернут Ибсеном, то радикальное решение одного, главного вопроса дано Достоевским.

Пер Гюнт, деревенский парень, веселый и непутевый, сметливый и выдумщик, проходит через необыкновенные перипетии жизни: любит свою невесту и упускает ее; похищает во время свадьбы с другим и уносит в горы; бросает, вступаясь в разную чертовщину в царстве троллей, бежит оттуда, бежит из родной деревни; отправляется на золотые прииски в Америку; торгует черными рабами; становится богачом и в один миг теряет все свое богатство; приобретает друзей из разных стран и лишается их в тот же момент, что и богатства, потому что взрывается принадлежащий ему пароход; оказывается один в пустыне и волею судьбы остается живым и становится обладателем драгоценностей восточного паши; слывет за пророка и живет жизнью паши-пророка; наслаждается любовью наложницы, снова теряет все, делается ученым-археологом, попадает в сумасшедший дом, ускользает из него, плывет морем на родину, в бурю терпит кораблекрушение, тонет, спасается и возвращается наконец, почти стариком, в родную деревню, где, оказывается, его ждет — безнадежно и вечно, и как бы вне власти времени — девушка, с которой он едва-то обменялся взглядом много-много лет назад...

Жизнь Пера предстает как цепь этих необычайных и вместе с тем типичных событий; в каждом из них раскрывается какая-то иная черта характера Пера, какое-то качество его души, зачастую противоположное предыдущему, и, раскрывшись, тут же вянет и перестает существовать, чтобы уступить место новому. Сколько может продолжаться этот процесс? Теряет ли Пер лишь свои "оболочки", свои видимые свойства и остается при этом "самим собой"? Или он теряет свойства своего внутреннего "Я" и в конце концов обречен стать "ничем"?

Вот вопрос, который чем дальше, тем больше, с самого начала, мучит Пера, и когда на него дан ответ, пьеса заканчивается. Как часто бывает у Ибсена, не конец приключений и жизненных испытаний героя, а раскрывание до конца главного вопроса и ответ на него знаменуют конец пьесы.

Проследим перипетии пьесы подробнее, сопоставив их с некоторыми тезисами Кьеркегора по его сочинению «Постскрипtum к „Философским крохам„¹». Начнем с того, что путешествия, предпринимательство, деятельность в разных странах, в конечном счете во всем мире — это для Пера Гюнта средство испытать полноту существования, раскрыть все возможности своего существа. Но одновременно, пока еще тихой нотой, звучит мотив утраты качеств: какой национальности Пер Гюнт? — Он уже этого не знает:

...Вы — норвежец?

Да, по рождению. По духу ж я —
Вселенский гражданин. Своей фортуной
Америке обязан; образцовой
Своей библиотекой — юным школам
Германии; из Франции же вывез
Манеры, остроумие, жилеты;
Работать в Англии я научился
И там же к собственному интересу
Чутье повышенное приобрел.
У иудеев выучился ждать,
В Италии же к dolce far niente²
Расположеньем легким заразился,
А дни свои продлил я шведской сталью.

(IV, с. 504)

Нечто подобное говорил и Кьеркегор: «...я не переставал подчеркивать, что наша эпоха забыла, что значит существовать и что значит „внутреннее“. Она потеряла веру в то, что внутреннее обогащает бедное по видимости содержание, в то время как перемена во внешнем — это лишь средство рассеяния, за которое ухватываются пресыщенность и пустота жизни. Вот почему пренебрегают обязанностями, вытекающими из существования. Мимоходом выучивают, что такое вера, и считают, что знают. Затем бросаются к спекулятивной философии и снова промахиваются. Потом наступает черед астро-

¹ Сопоставляются не тексты, а идеи Ибсена и Кьеркегора. Первый цитируется по изд.: Пер Гюнт: Драматическая поэма / Пер. А. и П. Ганзен. — В кн.: *Ибсен Г.* Собр. соч. М.: Искусство, 1956, т. 2; второй — по изданию, указанному в Литературе [см.: Kierkegaard 1949]. В оригинальном датском издании 1846 г. автором сочинения назван Йоханнес Климакус, а С. Кьеркегор указан лишь как издатель.

² «Сладкое ничегонеделанье» (итал.).

номии, начинают бродить там и сям по всем наукам и по всем сферам жизни, но не живут. Поэты, для одного того лишь, чтобы развлечь своих читателей, слоняются по Африке, по Америке, черт знает где, в Трапезунде, в Руане (намек на одну из современных пьес. — Ю.С.), и скоро понадобится открыть какую-нибудь новую часть света, чтобы поэзия совсем не зачахла. А почему? Потому что все больше теряется внутреннее» [Kierkegaard 1949, 192].

В таких странствиях и в такой кипучей деятельности раскрываются — и исчезают — черты характера Пера, зачастую противоположные и, следовательно, все вообще — относительные.

Вот он — купец, но делает одновременно два дела — богоугодное и богопротивное:

Вот и придумал я такой исход:
Второе предприятие затеял,
Что б коррективом первому служило;
Ввозил в Китай весной я божков,
А осенью туда ж — миссионеров.

.....
На каждого там сбытого божка
Новокрещеный кули приходился,
И вред нейтрализован был вполне.

(IV, с. 501)

Вот он — торговец черными рабами в Америке:

Купив на юге землю, я себе
Последний транспорт с неграми оставил;
Товар как на подбор был первосортный,
И у меня все прижились отлично,
Толстели, лоснились от жиру — мне
Да и себе на радость...

(IV, с. 502)

Вот он на борту судна, на пути домой. Начинается буря, судну и всем на нем грозит опасность, а Пер с презрением к матросам, которые боятся за свою жизнь, рассуждает:

Иметь ораву ребятишек, жить,
Как будто жизнь есть радость, а не бред...

(V, с. 568)

И тут же, видя людей за бортом, обращается к матросам:

Об этом ли раздумывать теперь?
Вы люди или нет? Спасайте ближних!
Иль шкуры подмочить свои боитесь?..

(V, с. 569)

Пер сам трезво оценивает такие противоречивые состояния души:

До крайности дошедший ум есть глупость;
И расцветает трусости бутон
В цветок жестокости махровый. Правда —
Преувеличенная лишь изнанка
Ученья мудрого...

(IV, с. 532)

И обобщает это в тезисе о "золотой середине":

Лишь крайность — худобы или дородства
Иль юности иль старости — способна
Ударить в голову, а середина
Лишь вызвать тошноту способна...

(IV, с. 527)

То же самое было и свойством Кьеркегора, о котором справедливо замечено, что; "органически не вынося золотой середины, он метался между крайними полюсами, преследуя свою мысль до конца, либо в сторону Христа, либо в сторону дьявола" [Тиандер, стб. 804]. Главное сочинение Кьеркегора так и называется: "Или — или" (1843).

Но в устах Пера Гюнта и этот общий тезис оказывается относительным и заменяется обратным:

И, в сущности, ведь что всего дороже,
Милее? Золотая середина!

(IV, с. 540)

И у читателя закрадывается мысль: не высмеивается ли здесь исподтишка и Кьеркегор, как постоянно высмеивается противник Кьеркегора — Гегель? Африканский эпизод полон сумбурными воспоминаниями Пера о каких-то философских сочинениях, цитат из прочитанных им книг, из Гете, и неожиданно — комическая строка: *И дернула нелегкая меня! Что нужно было мне на той галере?* (знаменитый стих из "Проделок Скапена" Мольера, II, II: "Какого черта нужно было ему на той галере?"). Кульминацией всей этой комической абракадабры звучит реплика Бегриффенфельдта в сумасшедшем доме (сама его пародийная фамилия буквально значит 'понятийное поле'):

Сегодня в ночь, в двенадцатом часу,
Скончался абсолютный разум.

(IV, с. 550)

Эта и другие пародийные реплики — выпады против Гегеля похожи даже и по манере на тирады Кьеркегора вроде следующей: «„Логика" Гегеля со всеми его замечаниями производит такое же смешное впечатление, как если бы кто-нибудь показывал письмо с небес, а из письма торчала бы промокашка, свидетельствующая о его земном происхождении» [Kierkegaard 1949, 223].

Но в сумасшедший дом, где делается это открытие о кончине абсолютного разума, Пера Гюнта привела не случайность, а логика его характера — ведь перед этим он вознамерился постигнуть суть жизни через историю, став ученым-историком. Что это — снова пародия на Гегеля (абсолютный дух проходит стадию истории)? Или серьезная, как и предыдущие, параллель к Кьеркегору? Вопрос остается открытым, а может быть, — и то, и другое. Но у Кьеркегора есть сходная мысль, а в указанном сочинении ей посвящена целая глава — глава IV «Проблема „Философских крох“: Как вечное блаженство может быть основано на историческом знании» (хотя речь идет об истории религии).

Как бы то ни было, процесс продолжается, качества Пера Гюнта одно за другим выявляются и исчезают, показывая свою противоположность и относительность, и в силу их полной относительности, в точности как у Кьеркегора, возникает наконец сомнение — от кого же они, от Бога или от Дьявола? В последнем действии, почти перед концом, дается, казалось бы, прямой ответ: от Дьявола. Он сформулирован устами посланника Чистилища, Худошавого:

Двоjakим образом ведь можно быть
 "Самим собой": навыворот и прямо.
 Вы знаете, изобретен в Париже
 Недавно способ новый — делать снимки
 Посредством солнечных лучей, причем
 Изображенья могут получаться
 Прямые иль обратные, иль, — как
 Зовут их, — негативы, на которых
 Обратно все выходит — свет и тени.

 Так если в бытии своем земном
 Душа дала лишь негативный снимок,
 Последний не бракуют как негодный,
 Но поручают мне, а я его
 Дальнейшей обработке подвергаю,
 И с ним, при помощи известных средств,
 Прямое превращенье происходит.
 Окуриваю серными парами...

(V, с. 628)

Но еще раньше о чем-то подобном догадался и сам Пер Гюнт. Первое, что он увидел, подойдя к родной деревне, были похороны какого-то земляка, и он слышит, как Священник над свежей могилой говорит:

Теперь, когда душа на суд предстала,
 А прах лежит, как шелуха пустая,
 В гробу, — поговорим, друзья мои,
 О странствии покойника земном...

(V, с. 583)

Пер подхватывает мысль о шелухе, которая так отвечает его собственному настроению, и чуть позже следует его знаменитый монолог о шелухе и луковице — символе. Пер берет луковицу и, отщипывая один листок за другим, приговаривает:

Вот внешней оболочки лоскутки —
Крушение потерпевший и на берег
Волнами выкинутый нищий Пер.
Вот оболочка пассажира, правда,
Тонка, жидка она, но от нее
Еще пахивает Пером Гюнтом.
Вот золотоискателя листочки...

И, общипав все до конца, бросает остатки:

...Черту разве
Тут впору разобраться...

(V, с. 596)

Пер приходит, видимо, к выводу, что под оболочками и шелухой нет ничего, его "Я" вне шелухи внешних свойств не существует, оно и было самой этой шелухой. И сразу — как ответ на этот вывод:

Я ввысь хочу. На самую крутую,
Высокую вершину. Я увидеть
Еще раз солнечный восход хочу
И насмотреться до изнеможенья
Хочу на обетованную землю!
А там — пусть погребет меня лавина;
Над ней напишут: "здесь никто схоронен".
Затем же... после... будь со мной, что будет.

И в этот момент загорается ослепительное утро и односельчане Пера, идущие в церковь по лесной тропе, поют гимн утру и красоте мира:

Утро великое, благословенное,
Дивный таинственный миг...

(V, с. 631)

И, в гармонии с этим утром, в последних строчках драматической поэмы рождается, как мы уже знаем, другой ответ на поставленный вопрос — есть ли у Пера его собственное "Я"? есть ли оно у человека? — в словах Сольвейг: Пер всегда был и есть — он сам, "сам собой" — в ее сердце.

Читатель-зритель теперь волен решать, как смотрит на все это сам Ибсен. Но заключительные слова пьесы, слова Сольвейг, и светлая музыка Грига, лучший комментарий к пьесе, заставляют думать, что Ибсен согласен не с Пером Гюнтом, а с Сольвейг. Внешние свойства не исчерпывают сущности человека. И поэтому Ибсен восхищается своим героем.

Мне кажется, что такая пьеса не могла не быть экспери-

ментальной. Одно место в тексте прямо говорит об этом. В пятом действии, во время бури, на корабле появляется — неизвестно откуда, неизвестно кто — таинственный Пассажир. Кто он — персонаж? Душа Пера? Автор? В один момент он ведет себя как автор:

Пер Гюнт
Я не желаю умирать. Мне надо
На берег выбраться.

Пассажир
...На этот счет
Не беспокойтесь. В середине акта —
Хотя бы пятого — герой не гибнет!

(V, с. 583)

Здесь следует ремарка Ибсена: "Исчезает".

Но если хотя бы на один момент персонаж отождествился с автором, то перед нами уже новый тип пьесы, новый тип литературного произведения вообще. Этот принцип был основным приемом Кьеркегора и получил у него развернутое обоснование.

Все свои основные произведения Кьеркегор выпустил под псевдонимами, каждый раз разными. Он так объяснял свою "многоименность" (такую же, заметим, как многоименность Пера Гюнта в его разных лицах):

«Моя псевдонимия или полинимия не имела случайной причиной мою личность (и, разумеется, не проистекала из страха перед юридической ответственностью...); у нее было сущностное основание в самом характере литературной продукции, которая, требуя реплик, психологического разнообразия индивидуальностей, требовала тем самым в поэтическом смысле безразличия к добру и злу, к серьезности и легкомыслию, к отчаянию и самодовольству, к страданию и радости и т.д. А такое безразличие ограничивается лишь психологически в воображаемом мире (idéalement), в реальном же мире никакое лицо не осмелилось бы и не могло бы себе его позволить в рамках морали этой реальности. Таким образом, написанное действительно принадлежит мне, но лишь постольку, поскольку я вкладываю в уста реальной поэтической личности, которая производит текст, ее концепцию жизни в том виде, в каком последнюю можно уяснить из ее реплик. Мое отношение к произведению еще более расплывчато, чем отношение поэта, который создает своих персонажей и одновременно является автором предисловия. Я действительно безличен или являюсь лично лишь суфлером в третьем лице, который в поэтическом смысле производит авторов, которые в свою очередь являются

авторами своих предисловий и даже своих имен. Таким образом, в псевдонимных книгах нет ни одного слова от меня; мое суждение о них — это суждение третьего лица; мое представление об их значении — это представление читателя, и у меня нет никакого частного отношения с ними, да и невозможно было бы иметь такое отношение при указанном двойном отчуждении содержания. Одно лишь слово, произнесенное лично мной от моего собственного имени, было бы равносильно нарушающему всю систему (impertinent) забвению моего собственного "Я", и уже одно это имело бы результатом, с диалектической точки зрения, уничтожение самого существа псевдонимии» [Kierkegaard 1949, 424].

Я думаю, что отношение Ибсена к своему произведению "Пер Гюнт" носит такой же характер и что Пассажир в V действии не сам автор, а псевдоним автора в кьеркегоровском смысле.

На страницах сочинения Кьеркегора много раз появляются слова "эксперимент", "экспериментальный". Одно из самых значительных упоминаний — в конце, где как раз мнимый автор (псевдоним) Йоханнес Климакус дает разъяснения читателю относительно своей личности ("Все это сочинение, в порядке эксперимента, вращается вокруг меня самого, единственно и исключительно вокруг меня самого. Я, Йоханнес Климакус, находясь теперь в возрасте 30 лет..." и т.д.). Эксперимент и псевдонимия взаимосвязаны. Но тогда — не оказывается ли в известном смысле "человеком без свойств" и сам автор? (К сходным выводам на другом материале приходит С.А. Исаев: по Кьеркегору, автор должен не "переставать быть экзистирующим", сохранить свое отношение к истине подлинным; это и обеспечивает псевдонимная форма изложения [Исаев 1979, 27].)

После Кьеркегора, Ибсена и Достоевского загадочные и сложные отношения автора и персонажей станут одной из главных проблем теории литературы.

Достоевский тоже мыслил в экспериментальном ключе и свою повесть, и свое отношение в ней к читателю. В журнальном, первоначальном, варианте она даже и не называлась повестью, этот подзаголовок был отнесен только ко второй части (часть I — Подполье, часть II — По поводу мокрого снега). Зато в журнале первая часть сопровождалась примечанием Достоевского: «И автор записок и самые „Записки“, разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе... В следующем отрывке (т.е. во II ч. — Ю.С.) придут уже настоящие „записки“ этого лица о некоторых событиях его жизни. Федор Достоевский» (здесь и далее

цит. по изд.: *Достоевский Ф.М. Собр. соч.*: В 10-ти т. М.: ГИХЛ, 1956, т. 4, с. 133).

Осмысление отношений автора — рассказчика — героя и читателя продолжается до самого конца: "Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которых он и друзьям не откроет, а разве только самому себе, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится... Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет. Я уже объявил это" (ч. I, XI, с. 166).

И в самом конце делается ясно, что эта "форма" в старом смысле слова, как форма "записок", "повести", "романа", и постоянные отговорки от нее, т.е. форма в новом, экспериментальном смысле, связаны с героем: «Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье, — ей-богу, не интересно; в романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя, а главное, все это произведет пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни... Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей „живой жизни“ какое-то омерзение...» (II, X, с. 243).

Здесь, кажется впервые, в европейской литературе появляется термин "антигерой", и этот антигерой Достоевского — экзистенциальный человек. Это человек "без внешних свойств" и даже вообще "без свойств".

Он — "человек без свойств" не в том смысле, что никак не проявлял себя вовне, а в ибсеновском, пергюнтговском смысле: как только названо и проявлено какое-нибудь свойство, так тотчас следует его опровержение.

Нормальное состояние — болезнь: «Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости „всего прекрасного и высокого“, как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деянья...» (с. 137).

Страдание — наслаждение: "...до того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслаж-

деньце возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь, и внутренне, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, проклятую сладость и, наконец,— в решительное, серьезное наслаждение! Да, в наслаждение, наслаждение!” (с. 138).

Глупость — красота: “Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво” (с. 140).

Искренность — ложь: “Даже вот что тут было бы лучше: это — если бы я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настроил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник” (с. 164).

Порядочность — трусость и рабство: “Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это — нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен. И не в настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле” (с. 169).

Герой сам осознает, что он — человек без свойств: “О, если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе; хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен” (с. 147).

И по мере того как все свойства, одно за другим, проявляются и исчезают, приятные, неприятные, отвратительные, злые, безразлично какие, остается — как у сжавшегося в комок человека под худым плащом, по которому стекает холодный дождь, — лишь одно неизменное, не окрашенное, ни злое, ни доброе, чувство: я существую. И всё. Но это и есть чувство существования, экзистенции.

Ибсен довел Пера Гюнта (и себя самого) до этого ощущения — до его последней оболочки и тут же отказался проникнуть дальше и дал его отраженным — в сердце Сольвейг, и оно предстало сияющим, утренним, оптимистичным, христианским.

Достоевский проник в самое его существо, и оно оказалось

не утренним, не оптимистичным, не христианским. Ближе всего, как ощущение, оно к ощущению мокрого снега: "Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега" (с. 167).

Повесть полна экзистенциальных тем (т.е. таких, которые стали в XX в. темами экзистенциальной литературы).

Жизнь — "вонючая грязь" (ср. у Ж.-П. Сартра — *la nausée* "тошнота" — название его романа): "И, главное, он сам, сам ведь считает себя за мышшь; его об этом никто не просит; а это важный пункт... Несчастливая мышшь, кроме одной первоначальной гадости, успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков..." (с. 140).

Человек — насекомое (будущая тема Ф. Кафки в "Превращении"): "Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым" (с. 135); "Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается иль не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился" (с. 136); "Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору... Со мной поступили, как с мухой" (с. 173).

Перед человеком — стена (будущее название и тема новеллы Ж.-П. Сартра "Стена"): "Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний... Стена, значит, и есть стена... Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило" (с. 142).

Бесцельное, беспричинное действие (*acte gratuit* у французских экзистенциалистов): "Вспомните: давеча вот я говорил о мщении. (Вы, верно, не вникли.) Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следственно, и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу, а следственно, если стану мстить, то разве только из злости. Злость, конечно, могла бы все пересилить, все мои сомнения, и, стало быть, могла бы совершенно успешно послужить вместо первоначальной причины именно потому, что

она не причина. Но что же делать, если у меня и злости нет..." (с. 146).

Воля — против целесообразности (именно этот пункт был главным образом противопоставлен Достоевским социальной теории Н.Г. Чернышевского, а впоследствии стал важным компонентом в понятии "социальной вовлеченности, ангажированности", engagement, человека, писателя, философа у французских экзистенциалистов; см. о Р. Барте, гл. V, 3): «Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы и самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная (у "теоретиков социальной пользы", намек на Чернышевского. — Ю.С.), самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту» (с. 153).

Воля противопоставлена не только теориям социального блага, но и законам природы, враждебным и тупым: "Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся?" (с. 142).

И наконец, поскольку в нашей книге не раз возникала тема определения человека, к коллекции определений рядом с "человек — двуногое, лишненное перьев" (a featherless biped) можно прибавить определение по Достоевскому: "Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — это: существо на двух ногах и неблагодарное" (с. 156).

К этим экзистенциальным темам Достоевский вернется еще раз и повторит их почти буквально, во вставном эпизоде — "Исповеди Ипполита" в "Идиоте" [см.: Степанов 1973].

В XX в. тема "человека без свойств" будет подхвачена и положена в основу целой поэтики романа австрийским писателем Р. Музилем (см. гл. VI, 4.1).

Одно место в "Записках" является как бы художественной иллюстрацией к одной из ключевых проблем философии предиката — проблеме предложений-тавтологий и предложений-противоречий. Тавтология определяется как предложение, истинное при любом положении дел, а противоречие — как предложение, ложное при любом положении дел. Достоевский дает определение субъекта "всемирная история" и показывает, что, с точки зрения героя "Записок", он совместим с любым предикатом. Это — rassуждение, несомненно, в рамках экзистенциализма. Но интересно поразмыслить над его логической формой: тавтология это или противоречивое предложение, являющееся вместе с тем в определенном смысле истинным? Вот его определение:

“Попробуйте же бросьте взгляд на историю человечества; ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например, чего стоит!.. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских — уж одно это чего стоит, а с вицмундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались, — согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, — что благоразумно. На первом слове поперхнётся” (с. 157).

5.2. Поэтика русского футуризма и В. Хлебникова

Виктор, или, как он сам себя называл, Велимир, Хлебников (1885—1922) — наиболее яркий теоретик русского кубофутуризма; во всяком случае, о поэтике футуризма нужно судить по ее наивысшему достижению — поэтике Хлебникова.

В области поэтического языка футуристы начали там, где кончили — или прервали? — символисты. На Западе прием “слов на свободе” Рембо (см. гл. I, 6.2) был использован футуристом Маринетти, а в России Хлебников в начале своего творчества опирался на темы и тезисы Вяч. Иванова. Как вариации одной поэтической сюиты воспринимаются два произведения на одну и ту же, и не случайно, тему Азии — “Кочевники красоты” Иванова (см. гл. I, 6.1) и поэма “Азы из узы” (1920) Хлебникова. Ср. строки из последней:

О, Азия! Себя тобою мучу.
Как девы брови я постигаю тучу.
Как шею нежного здоровья —
Твои ночные вечеровья.
Где тот, кто день свободных ласк предрек?
О, если б волосами синих рек
Мне Азия обвила бы колени.
И дева прошептала бы таинственные пени...

А ты бы грудой светлых денег
Мне на ноги рассыпала бы косы.
— Учитель, — ласково шепча, —
Не правда ли, сегодня
Мы будем сообща
Искать путей свободней?

(Древнерусское аз — “я” у Хлебникова означает освобожденное я, осознающую себя личность, сбросившую узы рабства [Дуганов 1976, 428]. Таким образом, в слове *Азия* для Хлебникова шифруется *Аз и Я*. В наши дни это стало названием из естной книги, в которой ставятся близкие проблемы: *Сулейменов О. Аз и Я: Книга благонамеренного читателя*. Алма-Ата, 1975).

Уже первые четыре хлебниковские строчки говорят о прин-

ципиально новой поэтической установке — разрушении привычной сочетаемости слов, а следовательно, операции с синтактикой. Вяч. Иванов, принимая семантику языка как данное, стремился на ее основе совершить восхождение к сущностям, а Хлебников, разрушая данную семантику, стремится на основе синтактики создать новую семантику — своего собственного мира. Но это — не мир сущностей. Каков поэтический мир Хлебникова? Благодаря серии работ он в настоящее время в основном понятен [Дуганов 1974; 1976; Степанов Н.Л., 1975 и др.]³. Показано, что независимо от того или иного жанрового оформления — и к тому же жанры у Хлебникова смешиваются и взаимопроникают друг друга, — содержанием его поэзии в конечном счете оказывается эпическое состояние мира, чистая взаимосвязанность и взаимосоотнесенность смыслов. Дуганов считает, что в целом к Хлебникову применима характеристика, которую дает Гегель раннефилософским поэмам античности: "Содержанием здесь является Единое, которое в противоположность всему становящемуся и ставшему, особенным и отличным явлениям, есть нечто непреходящее и вечное. Ничто особенное уже не удовлетворяет дух, стремящийся к истине и представляющий ее мыслящему сознанию вначале в абстрактнейшем единстве и первородности" (Гегель. Эстетика. М., 1971, т. 3, с. 424) [Дуганов 1976, 439; 1974, 425]. В этом смысле поэтику Хлебникова можно назвать, так же как и поэтику символистов, "поэтикой имени".

Но по способам достижения цели (операции с текстом и языком) — это совершенно иная, синтактическая поэтика, общая у Хлебникова и остальных футуристов. Да и в целом русский футуризм возник как антагонист символизма. Исходя из той же, что и символисты, концепции "двух языков" — бытового и поэтического, Хлебников шел дальше и в ином направлении. В статье "Наша основа" он писал: «Слово делится на чистое и бытовое. Можно думать, что в нем скрыт ночной звездный разум и дневной солнечный. Это потому, что какое-нибудь одно бытовое значение слова так же закрывает все остальные его значения, как днем исчезают все светила звездной ночи. Но для небоведа солнце — такая же пылинка, как и все остальные звезды. И это простой быт, это случай (случайность, как у символистов. — Ю.С.), что мы находимся именно около данного солнца. И солнце ничем не отличается от других звезд. Отделяясь от бытового языка, самовитое (т.е. поэтическое,

³ Когда наша книга уже находилась в печати, вышла фундаментальная монография В.П. Григорьева о В. Хлебникове [Григорьев 1983] и ряд работ за рубежом, которые уже не могли быть здесь учтены.

по терминологии Хлебникова. — Ю.С) слово так же отличается от бытового вращения солнца кругом земли. Самовитое слово отрешается от призраков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит звездные сумерки. Так слово „зиры” значит и звезды, и глаз; слово „зень” — и глаз, и землю. Но что общего между глазом и землей? Значит, это слово означает не человеческий глаз, не землю, населенную человеком, а что-то третье. И это третье потонуло в бытовом значении слова, одном из возможных, но самом близком к человеку... Можно сказать, что бытовой язык — тени великих законов чистого слова, упавшие на неровную поверхность» [Хлебников 1933, 229—230].

Интересно, что два языка — „чистое слово” и „бытовое слово” — Хлебников противопоставляет на философском основании, так же как противопоставляются „объективная видимость”, или „кажимость” (которая может быть и иллюзией и ложью), и подлинная реальность: например, вращение солнца вокруг земли является „объективной видимостью”, действительностью же — вращение земли вокруг солнца [ср., например: Спиркин 1960, 255]. А существующий язык представляется, с точки зрения Хлебникова, частным случаем возможного, а поэтому воображаемого языка, подобно тому как геометрия Евклида может рассматриваться в виде частного случая „воображаемой геометрии” Лобачевского: „И если живой и сущий в устах народных язык не может быть уподоблен доломерию Эвклида, то не может ли народ русский позволить себе роскошь, недоступную другим народам, создать язык — подобие доломерия Лобачевского, этой тени чужих миров?” [Хлебников 1940, 323].

Возможный язык в наиболее чистом виде воплощается в „языке понятий”: „...Кроме языка слов есть немой язык понятий из единиц ума (ткань понятий, управляющая первым). Так, слова *Италия*, *Таврида*, *Волынь* (земля волов), будучи разными словесными жизнями, суть одно и то же — рассудочная жизнь, бросающая тени на поверхности наречий и государств” [Хлебников 1933, 188]. Эта идея Хлебникова очень напоминает идею Лейбница о всеобщем языке понятий (см. гл. II,1).

Кроме такого „всеобщего”, или „звездного”, языка, языка разума Хлебников, вместе со всеми футуристами, разрабатывал иную форму поэтического языка — язык „заумный”, или „заумь”. Истоки и примеры „зауми” футуристы видели в фольклоре, в различных заклинаниях и заговорах, в глоссологии сектантов, в детских считалках. В „зауми” звук слова призван непосредственно выразить эмоцию. С помощью „зауми” Хлебников пытался, например, передать „язык птиц” (славка: *беботзу — вевать!*; вьюрок: *тьерти — едигреди!* и т.п.).

Но Хлебников размышлял и над соединением языка разума и "зауми" и представлял себе это в таком, например, виде: "Если взять одно слово, допустим, *чашка*, то мы не знаем, какое значение имеет для целого слова каждый отдельный звук. Но если собрать все слова с первым звуком *Ч* (*чаша, череп, чан, чулок* и т.д.); то все остальные звуки друг друга уничтожат и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением *Ч*. Сравнивая эти слова на *Ч*, мы видим, что все они значат одно тело в оболочке другого; *Ч* — значит оболочка. И таким образом заумный язык перестает быть заумным. Он делается игрой на осознанной нами азбуке — новым искусством, у порога которого мы стоим" [Хлебников 1933, 235].

Так конкретизировались в опытах Хлебникова общие декларации и манифесты футуристов, как, например, их Предисловие к сборнику "Садок судей" (1914):

"...Мы выдвинули впервые новые принципы творчества, кои нам ясны в следующем порядке:

1. Мы перестали рассматривать словопостроение и словопроизношение по грамматическим правилам, став видеть в буквах лишь направляющие речи. Мы расшатали синтаксис.

2. Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике.

3. Нами осознана роль приставок и суффиксов.

4. Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание...

8. Нами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер — живого разговорного слова. Мы перестали искать размеры в учебниках — всякое движение рождает свободный ритм поэту.

9. Передняя рифма (Давид Бурлюк) — средняя, обратная рифма (В. Маяковский) разработаны нами.

10. Богатство словаря поэта — его оправдание.

11. Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф и наоборот.

12. Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности — воспеты нами.

13. Мы презираем славу; нам известны чувства, не жившие до нас.

Мы новые люди новой жизни". Подписи: Д. и Н. Бурлюки, Е. Гуро, В. Маяковский, Е. Низен, В. Хлебников, В. Лившиц, А. Крученых [Литературные манифесты 1929, 79].

Может быть, уместно будет в заключение привести одно из стихотворений С. Кирсанова из "Поэмы Поэтов" (1939—1966), в котором ощущаются традиции футуризма:

Т е б е т а н ь е

Ты боярышня моярышня
мне щебечешь — я творярышня
но сказала — ни за что
не рассказывать товарищам

убежала как змея
или ящерица
ты не ты и не моя
ты не настоящерица

ты щебечешь я тебечу
я земляк воробичу
птиц летящих нам навстречу
тебетанью обучу.

В качестве формального варианта синтаксических поэтик можно рассматривать теоретическую поэтику В.Я Проппа [подробно см.: Семиотика 1983]. В настоящее время приемы содержательных и формальных поэтик обычно совмещаются [ср.: Мелетинский 1979].

Глава V

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В ФЕНОМЕНОЛОГИИ (МЕЖПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Феноменология существует, и оказывает свое влияние на философию на протяжении всего XX в. — через свое ядро, учение Э. Гуссерля (1859—1938), которое получило большую известность еще при жизни философа (его первый феноменологический труд "Логические исследования" вышел в Германии в 1900—1901 гг.); через продолжающуюся посмертную публикацию его наследия ("Husserliana" в Нидерландах, с 1950 г. вышло 12 томов); через работы его учеников и последователей (например, Г.Г. Шпета в нашей стране); наконец, в виде основанных на ней самостоятельных концепций (например, М. Мерло-Понти во Франции).

Будучи, с одной стороны, весьма оригинальным философским направлением, феноменология, с другой стороны, отразила в себе целый ряд тенденций буржуазной философии — начиная от общей критики психологизма в логике начала XX в., через некоторый параллелизм с логическим позитивизмом 1920—1940-х годов [см.: Мотрошилова 1978, 280] вплоть до теснейшей связи и даже соединения с экзистенциализмом в 1940—

1950-е годы. Соответственно вырисовывается положение феноменологии в философии языка: с одной стороны, она представляет собой "мост" от философии имени — через философию предиката — к философии эгоцентрических слов (на этом ее значении мы остановимся вначале); с другой стороны, она выдвигает ряд своих собственных, оригинальных тезисов относительно языка, заявляя себя даже в качестве философии языка по преимуществу. Но эта заявка феноменологии остается до сих пор только весьма интересным проектом, не цельной концепцией, а лишь совокупностью нескольких частных положений (на некоторых из них мы остановимся во вторую очередь [ср. также: Lanigan 1979]).

1. НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЯЗЫКУ, В ФЕНОМЕНОЛОГИИ Э. ГУССЕРЛЯ

Существует контраст между начальными и конечными системами взглядов Гуссерля на язык, и именно потому, что они представляют собой "мост" между двумя философскими парадигмами. В начальный период, в четвертом из "Логических исследований" (т. II), Гуссерль выдвигает идею нового, феноменологического подхода к языку. Взамен традиционной грамматики, оперирующей абстракциями, он предлагает основываться на *эйдосах* языка. Под *эйдосом* вообще он понимает сущность объекта, но не сущность в традиционном философском смысле (как, например, в схоластике), а инвариант чувственно воспринимаемой вещи, который остается неизменным в потоке вариаций и непосредственно постигается, "усматривается" феноменологической интуицией, "усмотрением сущностей" (*Wesensschau*). Основанное на *эйдосах* описание языка будет "эйдетикой" языка, универсальной грамматикой, фиксирующей формы значения, необходимые для языка вообще. Любой отдельный, конкретный язык предстает по отношению к описанному таким образом идеальному языку как его реализация, но реализация "черновая", как "черновик" идеального языка.

С одной стороны, здесь слышны глухие отголоски идеи "двух языков" — божественного и земного, в ее самом старинном виде, как, например, она встречается у Николая Кузанского (см. гл. I, 4). С другой стороны, ясны уже новые импульсы к поискам глубинного, невыразимого начала в самом человеческом существе, начала, связанного с языком. В дальнейшем эта идея будет в разных видах повторяться у экзистенциалистов — как различие "подлинного", т.е. внутреннего, неизречаемого, и "неподлинного", внешнего языков у Хайдеггера, как различие "немого", тоже внутреннего, и словесного, внешнего языков у Мерло-Понти.

Конкретно эти соображения развиваются в упомянутом очерке Гуссерля следующим образом. Сначала, используя довольно распространенную в его время лингвистическую идею о различии самостоятельных "категорематических" и несамостоятельных "синкатегорематических" форм языка (в эпоху Гуссерля она встречается, например, у лингвиста А. Марти, но восходит еще к схоластам), Гуссерль предлагает так же различать самостоятельные и несамостоятельные значения. Например, в выражении "муж и жена" значение слов "муж", "жена" будет самостоятельным, а значение союза "и" — несамостоятельным (сам очерк называется "Различие самостоятельных и несамостоятельных значений и идея чистой грамматики"). Исходными выражениями для Гуссерля — весьма современный подход — служат предложения. В предложениях должны быть выделены чистые формы самостоятельных значений, или "формы-примитивы" (*primitive Formen*), т.е. формы самого предложения, а затем выделяются формы имманентного членения предложения — формы субъекта, предиката, сочленений (компликаций) и модификаций; эти формы указывают лишь границы, пределы вариаций реальных членов, т.е. "членений", предложений [Husserl 1922, II, 329—331].

Все эти соображения Гуссерля: об инварианте языковых сущностей, постигаемом через непосредственно наблюдаемые вариации; об идеальном языке, независимом от материальной субстанции, по отношению к которому конкретные языки предстают как материализованные "черновики", и др., — весьма близки к идеям Копенгагенского лингвистического кружка, в особенности В. Брэндаля и Л. Ельмслева. Работу последнего "Пролегомены к теории языка" (1943) [Ельмслев 1960] можно даже рассматривать как осуществление замысла Гуссерля (в действительности, конечно, "исторически", Ельмслев не имел к Гуссерлю никакого отношения). Мысли Гуссерля о том, что такая "чистая грамматика" описывает некое смысловое пространство, ограниченное с одной стороны бессмыслицей (*zu vermeidenden Unsinn*), а с другой — противоречием (*zu vermeidenden Widerspruch*), предвосхищают идеи Витгенштейна и современной семиологии языка [см.: Степанов 1981, 228].

Вполне оригинальным у Гуссерля в этот период было соответствующее его проекту представление о том, что язык является объектом сознания, и, значит, в мышлении язык выполняет роль подсобного средства памяти и общения.

По контрасту с этими начальными взглядами в последних работах Гуссерля, в частности в "Формальной и трансцендентальной логике", язык предстает как способ видения объектов, как "тело мысли". Эти идеи окажутся впоследствии

очень близкими — возможно, источником — к тезису экзистенциалиста Хайдеггера "язык — дом бытия" (иногда Хайдеггер говорит: "язык — дом бытия духа"). Но сам Гуссерль развивает их в этот период в другом направлении, в том именно, к которому шла вся философия языка: он стремится разработать понятие "интерсубъективности" — понятие межличностных отношений и межличностного общения — как основе личности и как основе "Эго", которое дано в языке. В последний период феноменология языка определяется уже не как "эйдетика" языка, в рамках которой каждый конкретный язык должен быть осмыслен в качестве реализации идеального универсального языка, а как выяснение отношений языка к говорящему субъекту, как "мой контакт с языком, на котором я говорю" [Merleau-Ponty 1965, 84]. Но это уже проблематика новой парадигмы — философии эгоцентрических слов.

В языке, утверждают феноменологи, как бы непосредственно даны все главные понятия и темы феноменологии; язык сам по себе уже есть "наивная предпосылка феноменологии" [Hülsmann 1964, 16]. Эта мысль оформилась уже в первых работах Гуссерля и не переставала интересоваться его до конца. Ее разделял и Мерло-Понти: "Проблема языка, явным образом и более чем всякая другая, заставляет нас задуматься над отношениями феноменологии и философии, или метафизики. Яснее, чем всякая другая, эта проблема предстает одновременно как специальная и как содержащая в себе все другие, включая саму проблему философии" [Merleau-Ponty 1965, 102].

Попытки феноменологии заменить специальными научными вопросами общефилософские проблемы и в конечном счете занять место самой философии несостоятельны (так же, как и аналогичные попытки неопозитивизма). Даже в буржуазной философии феноменология осталась всего лишь одним из течений. Тем более ясна несостоятельность этих претензий в свете марксизма (см. Предисловие). Что касается самих специальных понятий феноменологии языка, то они имеют объективный источник и как семиотические вопросы заслуживают рассмотрения.

Понятие интенциональности и его языковые параллели. Источником является понятие схоластики "intentio" 'напряжение, устремление сознания, внимание'. Схоласты различали "первые интенции" — устремление сознания на предмет, а в них "первые формальные интенции" — сам акт устремления сознания и "первые объективные" — предмет сознания, и "вторые интенции" — устремление сознания на акт мысли, т.е. на "первые интенции"; в свою очередь и "вторые интенции" разделялись на формальные, интенции акта, и объективные,

интенции мысленного предмета этого акта — мысль об акте мысли, мысль об объекте мысли, способность к мысли об объекте, определения объекта мысли в логическом отношении.

Немецкий психолог Ф. Brentano ("Психология с эмпирической точки зрения", 1874) заимствовал это схоластическое понятие, развив его следующим образом. По Brentano, каждое душевное явление имеет свой предмет, но относится к нему неодинаковым образом: в представлении что-нибудь представляется, в утверждении — утверждается, в отрицательном суждении отрицается, в любви любимо, в ненависти ненавидимо и т.д. Эта общая особенность разных душевных актов названа у него "интенциональным существованием предмета" (внутри душевного акта).

Беря за основу понятие Brentano, Гуссерль считает особенно важным то, что отношение сознания к предмету может принимать различный вид, зависящий уже не от предмета, а от типа сознания: воспринимать, судить (формировать суждение), ненавидеть, любить и т.д. можно один и тот же объект, который, однако, в этих отношениях становится разными предметами. Такие типы сознания можно различить в пределах самого сознания. Они называются общим термином "интенциональность" и различаются как ее виды, или модусы. Первый перечень их, разумеется под другим названием, дал Декарт (см. гл. II, 1). С лингвистической точки зрения можно сказать, что Гуссерль под этим названием по существу ввел "субъективные модусы значения", которые составляют некоторый аналог "объективным модусам значения". Последние, под названием "модусы значения", хотя и введенные еще схоластами (у них — *modi significandi*), в контексте современной логики были описаны гораздо позже этой работы Гуссерля К.И. Льюисом в 1943 г. (см. гл. VI, 2).

Интересен, в частности, особый класс языковых выражений, где "модусы интенциональности" являются основным содержанием и специфически выражаются только формами этого класса. Речь идет о предикатах "состояния". Под термином "состояние", достаточно неопределенным, понимаются разные выражения, но мы имеем в виду предикаты "состояния", соотносимые только с субъектом "Я". В русском языке они выражаются формами особого предикативного слова (предикатива, который называется иногда тоже "категорией состояния"): *Мне холодно, жарко, весело, радостно, грустно, жалко, необходимо, боязно, тревожно, а также спится, думается, кажется, приходится* и т.п. В других языках им соответствуют иные, но в большинстве случаев также особые формы. *Мне холодно* должно быть описано как "Я ощущаю холод",

но с той оговоркой, что "ощущаю" и "холод" здесь не даны раздельно. Поэтому аналитическое описание "Я ощущаю холод", как и англ. I feel cold (а ведь есть простое I am cold), — это лишь приближенное описание. Смысл простого выражения *Мне холодно*, как и англ. I am cold, франц. J'ai froid и т.п., нельзя свести целиком к аналитической записи. В этом и заключается важность понятия Brentano. Но Brentano в отличие от Гуссерля, кажется, не говорит о связи таких языковых выражений с 1-м лицом, с "Я" говорящего. А в этом существо дела.

Выражения типа *Ивану холодно* совсем не могут быть описаны аналогично *Мне холодно*. Поскольку говорит об этом не Иван, а я, то аналитическое описание принимает здесь вид: "Я считаю, что + Иван ощущает холод", а это, очевидно, совсем не то же самое, что "Я ощущаю холод". Последнее в конечном счете, для выяснения симметрии двух описаний, можно представить как "Я считаю, что + Я ощущаю холод", но "Я считаю, что я ощущаю..." сливается в один акт сознания, в то время как "Я считаю, что Иван ощущает...", разумеется, не сливается.

Очевидно, что проблема интенциональных актов моментально подводит нас к проблеме описания модальностей типа "Иван считает, что..." Последние под именем "пропозициональных установок" стали одним из основных пунктов современной философской картины языка (см. о них гл. IV, 3 и гл. VI, 2). Однако в этом новом повороте темы феноменологическое различие двух типов выражений, и не только выражений, а значений и смыслов, было потеряно. А между тем Гуссерль выразил его довольно точно: психическое не познается восприятием как нечто внешнее по отношению к познавательному акту, оно переживается и в то же время есть это переживание. «Психическое не есть познаваемое в опыте, как являющееся: оно есть „переживание“, в рефлексии сознательно усвояемое переживание» [Гуссерль 1911, 26]; "В психической сфере, другими словами, нет никакого различия между явлением и бытием" [там же, с. 25].

Читателям, которые сомневаются в этом, предлагаем следующий вопрос: если Вы, читатель, боитесь чего-либо, то есть ли для Вас разница между "Я боюсь" и "Я считаю, что боюсь"? А если Вы влюблены, то что это — "Я влюблен" или "Я считаю, что влюблен"? Хотя, может быть, в последнем случае какая-то разница есть.

Понятие значения. Не только языковое высказывание, утверждает Гуссерль, но и любое познавательное "переживание" (восприятие, представление предмета) включает в себе "значение", "смысл". Значение определяется тем, что в "переживании" заключено отношение к предмету. Собственно говоря, это

утверждение Гуссерля не является в полном смысле его открытием: одновременно с ним то же стали утверждать биологи и этологи (специалисты по поведению животных), изучавшие восприятие у животных, например немецкий биолог Я. фон Икскюль в работе "Внешний и внутренний мир животных" (1909). Мы также считаем, что восприятие предмета как значения есть один из главных семиотических законов вообще [см.: Степанов 1971, 27 и след.; там же об Икскюле].

Но специфически гуссерлевское понимание, относящееся только к человеку, может быть проиллюстрировано интересной психологической параллелью У. Найссера. Сама постановка вопроса о представлении о предмете, пишет американский автор, по-видимому, независимо от Гуссерля, «предполагает, что функция восприятия состоит в том, чтобы информировать нас о вещах как о просто объектах: т.е. как о географически и физически определенных скоплениях вещества, которые остаются таковыми независимо от того, смотрим мы на них или нет. (Нам кажется, что такова точка зрения Рассела, когда он рассуждает о понятии „вещь“. — Ю.С.) Это правда, но далеко еще не вся правда. В нормальном окружении большинство доступных восприятию объектов и событий обладают значением. Они предоставляют разнообразные возможности для действия... Эти значения могут восприниматься и действительно воспринимаются. Мы видим, что данное выражение лица представляет собой циничную усмешку, или что предмет на столе — ручка, или что вон там под надписью „Выход“ есть дверь... Этот аспект восприятия долго был теоретическим камнем преткновения для психологии. Казалось очевидным, что стимулы сами по себе не могут иметь значения, поскольку они не более чем конфигурации света, звука или давления. Значение, должно быть, привносится воспринимающим после того, как он зарегистрировал стимулы...» [Найссер 1981, 90]. Далее Найссер опровергает эту точку зрения: "Инвариантные характеристики светового потока специфицируют, что пол позволяет ходить по нему, ручка дает возможность писать и т.д. Эти аспекты структуры оптического потока отличаются от тех, которые специфицируют положение, форму или движение, но они не менее объективны и никоим образом не являются производными от других. Трудность, связанная с этим определением, состоит в том, что предоставляемые объектом возможности — или, иначе, его значение — зависят от того, кто его воспринимает" [там же, с. 90—92] (показательно само название главы — "Значение и категоризация").

В связи с понятием значения стоит еще одно важное феноменологическое понятие — понятие "жизненного мира" (Lebenswelt).

Поскольку в результате феноменологической интенциональности и объективации возникает не реальный, объективный предмет, а "феномен предмета" с его "значением" для сознания, постольку и мир в целом как объект феноменологии складывается из таких "феноменов предметов". Таким образом, мир в феноменологии раскрывается как особый "жизненный мир", мир, складывающийся из мнений о мире, — *doxa*.

Тем самым Гуссерль со своей стороны создал аналог того, о чем в ту же эпоху стали говорить лингвисты различных ориентаций — от последователей Гумбольдта и Вейсгербера, неогумбольдтианцев, в Германии до Уорфа и Сепира в США: о "промежуточном мире" (*Zwischenwelt*), который складывается из значений языка и стоит между сознанием человека и объективным миром.

Понятия интерсубъективности, "Эго" и "alter Ego". Это, пожалуй, наиболее яркое и оригинальное нововведение Гуссерля. Оно прямо предвосхищает современную парадигму философии языка — парадигму "эгоцентрических частиц" (в то время как, например, в понятии интенциональности, как мы видели выше, темы новой парадигмы вскрываются лишь при внимательном анализе).

На протяжении ряда работ Гуссерль ставил своей задачей феноменологически обосновать категорию "Я" ("Эго") и категорию "alter Ego" ("Я" другого) — начиная с лекций "Идея феноменологии" 1907 г., затем особенно в "Идеях к чистой феноменологии и феноменологической философии" (т. 1) 1913 г. и, наконец, в "Картезианских размышлениях" 1931 г. Принимая за исходную точку декартовский принцип "Я" как мыслящей субстанции, Гуссерль подвергает категорию "Я" последовательной, поэтапной феноменологической редукции. Первый этап — "эйдетическая редукция": все реальные образования сознания "берутся в скобки", феноменолог воздерживается от всяких суждений о реальном мире, фиксируя интенциональность на сознании как таковом; мир предстает теперь не как существующий, а как "феномен существования". При этом "Я" как участник мира переживает свое отношение к миру, но отключаясь от него, "беру в скобки", и тем самым мое конкретное "Я" также редуцировано. Этот этап редукции называется также греческим термином "эпохэ" (ἐποχή 'задержка, приостановка; воздержание от суждения').

Однако остается другой слой "Я", другое "Я", то именно, которое совершает редукцию, которое воздерживается и т.д., — это "чистое Я". Таким образом "эпохэ" выступает как универсальный метод восхождения к "чистому Я". Обработка "чистого Я" составляет второй этап — собственно феноменологическую,

или "трансцендентальную, редукцию". Благодаря ей "чистое Я" предстает как очевидное само для себя, как необходимо существующее ("аподиктическое"). Однако эта процедура гарантирует лишь уверенность (необходимость в существовании "Я", но не определяет его содержания. Смещение этих двух понятий Гуссерль ставит в вину Декарту: действительно, у Декарта "Я" определялось как "мыслящая вещь", "мыслящая субстанция" (*res cogitans*). Что касается "чистого Я" Гуссерля, то оно не вещь, оно не дано само себе так, как ему даны вещи.

На этом основании Гуссерль переходит к феноменологическому обоснованию "другого Я" ("*alter Ego*"). "Я" других людей не даны моему сознанию подобно вещам: "другое Я" есть "Я" для него самого, и его единство с точки зрения феноменологии обосновывается не в моем сознании, как это происходит при представлении вещи, а в нем самом, в этом "другом Я". Иными словами, "другое Я" — также "чистое Я", которое не нуждается ни в чем для того, чтобы существовать; оно так же абсолютно существует, как существует "мое Я" для меня.

Это абсолютное существование "других Я", подобных "моему Я", даст впоследствии Сартру пессимистическую экзистенциалистскую тему его романов и философских сочинений. Но Гуссерля занимает другая проблема: как возможно обоснование "других Я" на тех же принципах, что и "моего чистого Я"?

Решить эту проблему до конца Гуссерлю не удалось. Критики справедливо отмечали, что для этого Гуссерлю пришлось бы, следуя собственным предпосылкам, признать некую сферу чистой "интерсубъективности", или некоего "абсолютного Эго", по отношению к которому "мое Я" и "другое Я" были бы равными частными случаями [Lyotard 1967, 36]. На наш взгляд, понимание "сферы прагматики" у Р. Карнапа, в его концепции формализованного языка, — это довольно полный формальный аналог "сферы чистой интерсубъективности" (см. гл. VI, 2). Гуссерль не пошел по этому пути, он тяготеет к субъективному идеализму, пытаясь разрешить проблему исходя из категории "моего чистого Я".

Феноменологи последующего периода, особенно М. Мерло-Понти (а также психологи П. Гийом, А. Валлон и др.), распознали в этом тезисе языковые основания и развивали его именно в этом направлении, как, например, Мерло-Понти в курсе лекций "Отношения к другому у ребенка" 1950—1951 гг. (опубликовано позднее: "*Bulletin de Psychologie*", ноябрь 1964 г.).

В чем объективный языковой аналог понятия интерсубъективности Гуссерля? Думается, на этот вопрос можно ответить так: в наличии в языке "эгоцентрических частиц" — слов "Я",

"здесь", "сейчас", "это" — и в возможности каждого человека принимать их на свой счет в каждом акте производства речи. Любой человек, обозначаемый в каких-то актах речи как "ты", "он" и т.д., в своих собственных актах неизменно выступает как "Я", и от этой точки соотнесения отсчитываются значения "здесь", "сейчас", "это" и все подобные (см. также гл. VI, 1).

Понятие "прозрачности знака". В самом простом случае это понятие разъясняется рассматриванием картины. В первое мгновение мы отдаем себе отчет, что перед нами полотно с нанесенными на нем цветными пятнами. Но вслед за тем мы начинаем видеть деревья, небо, людей, и притом не фигурки размером, скажем, с палец, каковыми они являются, будучи цветовыми пятнами, а людей нормального роста, среди нормальных деревьев и т.д. Материальная плоскость картины, пропустив наш взгляд сквозь себя, стала как бы "прозрачной".

Разумеется, наш взгляд может задержаться на ней именно как на плоскости полотна с цветными мазками, различая толщину слоя краски, следы кисти, следы отдельных ее волосков, направление мазка и т.п., но в этот самый момент мы перестаем видеть пейзаж и людей. Мы снова узрим их, перестав сосредоточивать свое внимание на материале. Это другая черта свойства "прозрачности": мы воспринимаем содержание картины — и смысл знака, — только переставая воспринимать саму материю картины или сам знак.

Идея "прозрачности знака" возникает у Гуссерля по разным поводам, в разных воплощениях, применительно к разным явлениям психической и телесной жизни; в этом смысле сам термин "прозрачность знака" является условным обозначением, поскольку за ним стоит особенность не только знака, но и многого другого. В сущности, Гуссерль открыл в таком виде один из общих законов психики. Так, еще во 2-м томе "Логических исследований" он отмечал: "...когда воспринимается внешний предмет (дом), то наличные в этом восприятии ощущения не воспринимаются, а переживаются... Если же затем мы обратим внимание на эти содержания (т.е. ощущения)... и возьмем их просто так, как они суть, то, разумеется, мы их воспримем, но не воспримем при этом через их посредство внешнего предмета" [Яковенко 1913, 144].

В учении об интересубъективности, развитом позднее, также присутствует понятие прозрачности, но оно относится тут не к знаку и не к восприятию предмета, а к переживанию моего "Я". В отличие от переживания предмета и от знака — но именно по аналогии с ними — "Я" оказывается "непрозрачным", и только благодаря этому качеству Гуссерлю удается объяснить, каким образом возможно постижение "другого Я" как отличного от

предмета. Для того чтобы постичь "другое Я" не как вещь, а именно как "Я" другого человека, я должен спроецировать в него свои феноменологические переживания, свойственные "моему Я" как субъекту; но сами эти переживания я не могу переживать так, как переживаются вещи, ибо я их не могу наблюдать со стороны. Таким образом, если переживания вещей, как мы только что видели на примере с домом, являются "прозрачными", подобно знакам и картинам, то переживания моего "Я" самим мною не пропускают мою феноменологическую интенцию сквозь себя вовне, задерживают ее в себе, они "непрозрачны".

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что феноменология Гуссерля послужила "мостом" к новой парадигме философии языка и, не создав цельной концепции языка, снабдила новую парадигму несколькими важными для нее и тонко обработанными понятиями.

2. М. МЕРЛО-ПОНТИ И ФРАНЦУЗСКИЕ СЕМИОЛОГИ 1950—1960-х ГОДОВ

Полнее, чем у самого Гуссерля, родоначальника феноменологии, "конечные взгляды" на язык выражены у французского философа Мориса Мерло-Понти (1908—1961). Мерло-Понти был "экзистенциальным феноменологом", и его концепция представляет собой попытку соединения феноменологии и экзистенциализма. Кроме того, как отметила Н.А. Слюсарева [1975, 165], немаловажна и третья компонента-его концепции — стремление отойти от неопозитивисткого формализованного анализа языка, объектом которого был язык науки, и обратить главное внимание на речь как на выражение глубинного индивидуального бытия человека. Проблемы языка трактуются Мерло-Понти в ряде статей, представленных в сборниках "Похвала философии" ("Eloge de la philosophie et autres essais", 1965) и "Знаки" ("Signes", 1960). Более подробно остановимся на очерке "О феноменологии языка" ("Sur la phénoménologie du langage", 1951), включенного в оба сборника [далее цит. по: Merleau-Ponty 1965].

Мерло-Понти начинает с известного тезиса швейцарской и французской лингвистических школ о "дихотомиях" языка, сформулированного Ф. де Соссюром: язык как система, или код (langue), противопоставляется языку в действии, речи (parole), а существование языка во времени, диахрония, противопоставляется существованию языка в каждый данный момент, синхронии. Если, говорит Мерло-Понти, понимать феноменологию как психологию речи, то она внесла бы во взгля-

ды на язык ничтожный вклад, не более существенный, чем психология обучения математике вносит в математику. Однако дело обстоит не так. Феноменология языка противопоставляется как диалектика "объективной науке о языке" в целом. На основе такого понимания феноменологии Мерло-Понти отрицает дихотомии де Соссюра. И это следует признать правильным.

В диахронии, справедливо утверждает Мерло-Понти, система языка не движется и не развивается глобально, в целом: в ней имеются зоны напряжения, устойчивости и зоны слабой устойчивости, последние и изменяются в первую очередь. В синхронии языка система также не существует глобально, именно как система; в ней имеются зоны меньшей системности, лакуны, которые и подвергаются изменениям во времени, в диахронии, в первую очередь. Диахрония и синхрония не противопоставлены так, как это полагал де Соссюр. (Эти идеи неоднократно демонстрировались в теоретической лингвистике [см., например, кн.: Бенвенист 1974, 419, а также наш комментарий к ней].)

С устранением принципа дихотомий теряет смысл, по мнению Мерло-Понти, — с чем нельзя согласиться — и понятие универсального идеального языка; формы языка оказываются определяемыми не их идеальными соотношениями друг с другом, а лишь их способом употребления.

Как полагал Мерло-Понти, на этой основе (а в действительности помимо нее, ибо иначе они не могли бы быть верными), он формулирует целый ряд новых положений. Так, за 20 лет до Н. Хомского Мерло-Понти со всей ясностью утверждает тезис об усвоении языка ребенком: «Речевая потенция (*la puissance parlante*), которую ребенок приобретает с усвоением языка, не является суммой морфологических, синтаксических и лексических знаний: эти знания не являются ни необходимыми, ни достаточными для овладения языком, и акт речи, когда человек им овладел, не предполагает никакого сравнения между тем, что я хочу выразить, и понятийной организацией средств выражения, которые я использую. Когда я говорю, то слова и обороты, необходимые для того, чтобы завершить выражением мое смысловое намерение (мою сигнификативную интенцию), возникают у меня лишь в силу того, что Гумбольдт назвал „внутренней формой языка“ (а [некоторые. — Ю.С.] современные исследователи называют *Wortbegriff* [‘словесное понятие’]), т.е. в силу некоторого стиля речепроизводства, к которому они относятся и в соответствии с которым организуются, причем так, что у меня не возникает необходимости представлять их себе. Существует некая „общезыковая сигнификация“ (*une signification „langagière“*),

присущая языку в целом, которая осуществляет посредничество между моим намерением, пока еще немым, и словами, и осуществляет его так, что высказанные слова могут удивить меня самого и раскрыть мне мою собственную мысль. Организованные знаки обладают собственным имманентным смыслом, который подчинен не принципу „я мыслю“, а принципу „я могу“. Это действие на расстоянии, присущее языку... является ярким случаем телесной интенциональности» [Merleau-Ponty 1965, 92].

Но если это так, то телесность и постоянство языковых знаков оказываются лишь видимостью, а их значение не раз и навсегда присуще им, а есть нечто, на что они лишь намекают, что никогда не содержится в них целиком и что я, говоря, постоянно „оставляю позади“ (это положение окажется в центре внимания французских семиотиков 20 лет спустя).

Итак, „тематизация означаемого в языковом знаке не предшествует акту речи, а является его результатом“ [там же, с. 96]. Мерло-Понти дает прекрасную иллюстрацию: мы начинаем читать какого-нибудь философа, придавая его словам „обычный“ смысл, но мало-помалу происходит незаметный сперва поворот, воспринимаемая нами речь начинает овладевать стоящим над нею языком, и употребляемые в ней слова приобретают новый смысл; с этой минуты мы поняли философа, а значения его слов утвердились в нас. „Я овладел значением, когда мне удалось внедрить его в аппарат речи, первоначально не предназначенный для него“ [там же, с. 99]. „Освобожденный наконец от потуг речевого исполнения (Vollzug), его продукт (Nachvollzug) образует осадок (sédimentation), и я могу мыслить дальше него“ [с. 100]. Положение о „семантическом осадке“ — одно из самых оригинальных в концепции Мерло-Понти.

В очерке „Косвенный язык и голоса молчания“ („Le langage indirect et les voix du silence“, 1952 г. [цит. по кн.: Merleau-Ponty 1960]) Мерло-Понти развивает некоторые идеи предыдущего очерка. Он начинает как бы с опровержения „поисков референта“, которым предавались неопозитивисты. «Говорить, — утверждает Мерло-Понти, — это не значит подставлять слово к каждой вещи. Если бы это было так, то никогда ничего не было бы сказано; мы не имели бы чувства жизни в языке и пребывали бы в молчании, знак исчезал бы перед лицом смысла, и мысль встречалась бы лишь с мыслью: то, что мысль хотела бы найти в выражении, и то, что ее выражает, было бы явным и эксплицитным. Напротив, часто у нас возникает такое чувство, что, говоря, высказывая мысль, мы не замещаем ее вербальными указателями, а что она воплощается („становится телом“) в словах в целом» [там же, с. 55].

Мерло-Понти предлагает различать эмпирическое использование языка и созидательное, причем первое есть лишь результат второго. Созидательная речь — это подлинная речь (ср. понятие "подлинного" языка, соответствующего подлинному существованию человека, его "экзистенции", у Хайдеггера; оба философа противопоставляют "подлинный" и "неподлинный" язык). Подлинная речь свободна от смысла, заключенного по отдельности в словах, по существу подлинная речь есть молчание. Если подлинная речь — молчание и обозначает нечто в предметном мире или в мысли, вещь или понятие, то это лишь ее вторичная возможность, производная от ее внутренней жизни [там же, с. 56].

Поэтому созидатель речи, писатель, и художник-живописец в существе своей деятельности подобны друг другу. Писатель не ищет знака для готового значения, "язык осязательно пробирается вокруг интенции обозначения" [там же, с. 58]. Все это, естественно, ведет к тому, чтобы рассматривать "живопись как язык" [там же, с. 94]. В заключение Мерло-Понти высказывал одним из первых соображения о том, что и политическая мысль — это тоже в некотором смысле язык, подобно тому как языком можно считать живопись.

Тезисы "экзистенциальной феноменологии языка" Мерло-Понти оказались философским воплощением тех идей, которые, правда в иной форме, тревожили умы французских литературных критиков, публицистов, искусствоведов, деятелей театра; вскоре эта иная форма получила название "семиологии", или, иначе, "семиотики".

Через два года после цитированного очерка Мерло-Понти литературный и художественный критик Р. Барт опубликовал эссе "Нулевая степень письма" ("Le degré zéro de l'écriture"), которая стала первой работой по семиотике во Франции. Рассматривая различные языки художественной литературы — язык классицизма, язык романтизма, язык критического реализма, а также языки политики (он называет каждый такой язык "письмом"), Барт основывался на тех же идеях, что и Мерло-Понти, и многие его термины — те же самые.

Согласно Барту, идеологическое единство буржуазии привело к возникновению единого письма — классического и романтического. Но вот около 1850 г., после поражения революции 1848 г., происходит перелом, "писатель перестал быть выразителем универсальной истины и превратился в носителя несчастного сознания... Так вдребезги разлетелось классическое письмо, и вся (французская. — Ю.С.) Литература — от Флобера до наших дней — превратилась в одну сплошную проблематику слова" [Барт 1983, 307]. «Литература воспринимается

отныне не в качестве социально привилегированного способа общения, но в качестве оплотненного, углубленного слова, исполненного таинственности, ее ощущают как грезу и как угрозу одновременно.

...Весь девятнадцатый век был свидетелем этого драматического процесса отвердения формы (ср. понятие „осадка” у Мерло-Понти. — Ю.С.). У Шатобриана это еще лишь незначительное отложение (то же понятие. — Ю.С.), почти невесомый груз языковой эйфории, своего рода нарциссизм, когда письмо еще только едва заметно отвлеклось от своего инструментального назначения и принялось вглядываться в свой собственный лик. Флобер (мы указываем здесь лишь на наиболее характерные моменты названного процесса), создавший рабочую стоимость письма, окончательно превратил Литературу в объект: форма стала конечным продуктом „производства”, подобно горшку или ювелирному изделию (это значит, что сам акт производства был „означен”, иными словами, впервые превращен в зрелище и внедрен в сознание зрителей). И наконец, этот процесс конструирования Литературы-Объекта Малларме увенчал последним актом, завершающим всякую объективацию, — убийством: известно, что все усилия Малларме были направлены на разрушение слова, как бы трупом которого должна была стать Литература» (перевод Г.К. Косикова) [там же, с. 308].

Один из разделов книги Барта, „Письмо и молчание”, под тем же названием „молчание”, что и у Мерло-Понти, трактует вопрос о разрушении традиционного литературного языка у писателей-модернистов, таких, как Рембо и Малларме (и, прибавим мы, как Хлебников).

Дальнейшие перипетии этих идей, как удачи, так и крушения, довольно широко обсуждались и обсуждаются в нашей литературе, к которой мы и отсылаем читателя [прежде всего к кн.: Семиотика 1983, где опубликован в переводе и названный очерк Р. Барта].

Нам важно здесь подчеркнуть, что упомянутые выше идеи переключили внимание философов языка с языка науки и обыденной жизни на язык художественной литературы. Эти идеи требовали естественного развития в сфере поэтики.

3. ПОЭТИКА ФЕНОМЕНОЛОГИИ. Р. ИНГАРДЕН

Мы имеем в виду не поэтику и художественное творчество, которые соответствуют феноменологическому восприятию мира, — примеров такого рода, иногда блестящих, можно найти очень много в зарубежной литературе и изобразительном ис-

кусстве (например, в знаменитом романе М. Пруста), — а только поэтику, которая прямо и непосредственно отвечает феноменологическим понятиям о языке. А это очень небольшая область поэтики. К ней мы относим — а может быть, только они ее и образуют — работы польского феноменолога Романа Ингардена (1893—1970). В русском переводе они составили книгу "Исследования по эстетике" [Ингарден 1962].

Главное положение Ингардена — многослойность художественного произведения, как словесного, так и живописного и музыкального: а) то или иное языковое образование, в первую очередь звучание слова; б) значение слова или смысл какой-либо языковой единицы высшего яруса — предложения, абзаца; в) то, о чем говорится в произведении, — предмет, изображенный в нем в целом или в отдельной его части; г) тот или иной вид, в котором зримо (если идет речь о словесном произведении или о живописи) предстает перед нами предмет изображения [там же, с. 24]; в музыкальном произведении различаются слуховой предмет и слуховой вид [там же, с. 413].

Словесное произведение, отличаясь этим от живописного, разворачивается в двух измерениях: в одном измерении мы имеем дело с последовательностью сменяющих друг друга частей, фаз (назовем это аналогом синтагматики), а в другом — с множеством названных выше компонентов, выступающих совместно (назовем это аналогом парадигматики и отчасти семантики) [там же, с. 23]. Различение двух измерений и позволяет отнести поэтику Ингардена к типу "синтагматических поэтик", к которому принадлежит и русский формализм (однако сам Ингарден довольно резко противопоставляет свою поэтику формальной).

Наиболее оригинальной частью концепции Ингардена является понятие о "видах", соответствующее гуссерлевскому эйдосу. Говоря, например, о картине, Ингарден отмечает, что через группировку вещей в пространстве картины группируются также и виды, в которых данные вещи выступают, и группирование видов тоже принадлежит композиции картины. "То же самое лицо", например, в одном сокращении (виде) может казаться "прекрасным", в другом — "отталкивающим"; в одном — "близким", в другом — "незнакомым".

Сходные мысли в рамках несравненно более яркой и органичной концепции искусства, ибо ее автором был не теоретик, а художник, творец, выражены М. Прустом (см. гл. VI, 4.4).

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ (ДЕКТИЧЕСКАЯ) ПАРАДИГМА
("ФИЛОСОФИЯ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИХ СЛОВ"
КАК ВЫРАЖЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ЯЗЫКУ)

0. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Новая парадигма философии языка характеризуется по сравнению с предыдущими двумя радикальными отличиями: 1) весь язык соотносится с субъектом, который его использует, — с "Я"; 2) все основные понятия, используемые для описания языка, релятивизируются: имена, предикаты, предложения — все рассматривается теперь как функции (хотя, конечно, разного рода). Первое возникает первоначально в гуманитарных сферах, второе — в логике, но в сущности это лишь две стороны одного и того же.

Однако это сильно затрудняет название новой парадигмы. Конечно, ее можно было бы назвать "философией лингвистических функций", и это было бы достаточно точно. Но возражения заключаются в другом. Из трех выделенных нами парадигм первая, "философия имени", имеет самоназвание, которое мы и использовали. Вторая, "философия предиката", хотя это и не является ее самоназванием, была названа нами так в силу логики именования, заданной уже философией имени, — называть философию языка по тому основному понятию самого языка, которое считается в ней определяющим. Следуя этой же логике, новую парадигму надо было бы назвать «философией "Я"», но это влекло бы ассоциации с некоторыми системами идеализма. Не отступая от принятого принципа, можно назвать ее, идя от всего того класса слов языка, который включает в себя слово "Я" и лежит в основании новой парадигмы, а это — класс эгоцентрических слов. Остановимся на этом названии — "философия эгоцентрических слов".

Если философия имени может рассматриваться как пик семантики, а философия предиката — как пик синтактики, то новая парадигма стала пиком прагматики. Термин "прагматика", однако, далеко не самый удачный для обозначения всей той сферы, которая при этом имеется в виду. Поэтому нам придется заменить его иным и обосновать эту замену (в разделе 0.1). До тех пор (а иногда и после того, параллельно) мы будем продолжать употреблять термин "прагматика".

Эгоцентрические слова — это слова, ориентированные на "Эго", на говорящего субъекта: прежде всего "Я" и далее все, основанные на "Я", — "здесь", "сейчас", "это" и др.

Философия имени вообще игнорировала их существование; философия предиката, отметив и даже дав им — термином Рассела — точное название "эгоцентрические частицы", отмахнулась от порождаемой ими проблемы. Сам Рассел ошибочно полагал, что все эгоцентрические слова могут быть определены через слово "это" (в действительности оно далеко не элементарное слово, комбинирующее в себе указание на внешний объект и отсылку к "Я"), и еще более ошибочно заключал: "... сказанное показывает, что эти слова не являются необходимыми ни в какой части описания мира, будь то мир физический или мир психологический" [Russell 1980, 115].

Новая парадигма, напротив, поставила в центр внимания координату "Я", рассматривая ее как необходимую основу для всего остального. На координате "Я" зиждется анализ более общего и столь же важного для этой парадигмы понятия субъекта.

Само слово "субъект" имеет, как известно, два основных значения: во-первых, "познающий и действующий человек, противостоящий внешнему миру как объекту познания и преобразования"; во-вторых, "подлежащее, субъект предложения". В семиологии литературы и искусства мы имеем дело прежде всего с первым: сам писатель — субъект творчества именно в этом смысле слова; в семиологии и философии языка — прежде всего со вторым: конкретный лингвистический анализ — это прежде всего анализ субъектно-предикатного строения высказывания. Пропасть между первым и вторым кажется огромной и труднозаполнимой. Однако проблема субъекта в современной философии языка характеризуется как раз стремлением преодолеть этот разрыв. Ниже мы в общих чертах попытаемся показать, как к точке соединения двух понятий субъекта семиологи шли двумя путями: от художественной литературы, с одной стороны, и от лингвистического анализа высказывания — с другой. Мы попытаемся также, хотя бы самыми общими штрихами, обрисовать обстановку этих поисков — духовную атмосферу эпохи.

Говоря, что движение началось от художественной литературы, а не от "анализа художественной литературы", мы не допустили оговорок. Напротив, мы хотели еще раз подчеркнуть наш постоянный тезис: в семиологии искусства новое течение начинается не с новой теории и даже не с нового анализа старых фактов, а с появления нового в самом искусстве. Новое искусство предшествует новой семиологии. Новое искусство рождает своих семиологов.

Одна из основных линий новой, прагматической интерпретации высказывания — это "расслоение" "Я" говорящего на "Я" как

подлежащее предложения, "Я" как субъект речи, наконец, на "Я" как внутреннее "Эго", которое контролирует самого субъекта. И параллельно этому расслаивается сама прагматика: на элементарную часть — "локацию" "Я" в пространстве и времени, на более сложную часть — "локацию" "Я" (уже "Я" усложненного как субъект речи) в отношении к акту говорения, наконец, на "локацию" высших порядков (которые уже и не должны называться просто локацией) — отношение говорящего "Я" к его внутреннему "Эго", которое знает цели говорящего и его намерения лгать или говорить правду и т.д. Но где истоки этой идеи? Они в искусстве.

Европейская литература нового времени (как мы видели выше на примере Ибсена, Достоевского и Кьеркегора в гл. IV) и в особенности европейский роман последовательно двигались к расслоению авторского "Я" на героя, на рассказчика о герое, на автора — повествователя о рассказчике и иногда еще далее. В знаменитом романе Пруста это движение достигло, пожалуй, кульминации — роман Пруста стал повествованием только об одном, внутреннем "Я" автора, которое даже не всегда сливается с тем "Я", которое воплощено в его теле. "Разве моя мысль, — пишет Пруст, — не была еще одной капсулой, внутри которой я чувствовал, что я заключен, даже когда смотрю на происходящее вовне? Когда я видел какой-либо внешний предмет, то сознание, что я его вижу, как бы вставало между мной и им, окружало его тонкой духовной оболочкой, навсегда лишавшей меня возможности прямо прикоснуться к его материи; эта материя как бы тотчас испарялась, прежде чем я вступал с ней в контакт, подобно тому как раскаленное тело, которое приближают к влажной поверхности, никогда не может коснуться самой влаги, потому что между ними все время пролегает зона испарения" (M. Proust. *A la recherche du temps perdu*. T. I. *Du Côté de chez Swann*, I, 11).

Как мы уже отметили, расслоение "локаций", в частности во времени, протекает параллельно расслоению "Я", и не случайно роман Пруста "В поисках утраченного времени" — это и повествование о различных и вместе с тем сосуществующих пластах времени — настоящего, настоящего мгновением раньше, настоящего чуть более отдаленного, прошедшего близкого, прошедшего отдаленного, наконец, прошедшего, утраченного навсегда. Но как только мы вступили в область "расслаивающегося времени", сразу можно обнаружить параллели этой идеи времени у Т. Манна ("Волшебная гора", "Доктор Фаустус", "Иосиф и его братья"), в рассказах Ф. Кафки.

Вернемся, однако, к «различным "Я"». Здесь Пруст в своем художественном анализе проделал то же, что в это же время в

своей философской системе произвел Гуссерль под названием процедуры "редукции", или "эпохе". В "Руководящих идеях к чистой феноменологии" (1913) и в "Картезианских размышлениях" (1931) Гуссерль утверждает, что даже в непосредственных аксиомах познания, таких, как "Я мыслю, следовательно, я существую" Декарта, в действительности имеется по крайней мере два субъекта, два "Я". Одно — то, которое мыслит, или, как у Пруста, воспринимает мир, — "эмпирическое", "конкретное" "Я". Другое — то, которое как бы заставляет сказать "Я мыслю" или "Я воспринимаю мир". Первое, эмпирическое "Я" само принадлежит миру и, по Гуссерлю, должно быть устранено из теоретического рассуждения. Тогда и произойдет "феноменологическая редукция", совершится "эпохе", а оставшееся, "второе" "Я" послужит надежной основой философского анализа (см. гл. V, 1).

Интересные свидетельства о своем художественном процессе оставил М. Пришвин:

«Первый мой читатель — это я сам; когда проходит сколько времени, и я же делаюсь своим собственным судьей. Не раз случалось, что первый я, написавший в „самозабвении“ что-нибудь, ходит удовлетворенный собой до тех пор, пока не является „я-сам“, и, прочитав написанное, разрывает рукопись на мелкие клочки и бросает их в корзину. Так распадается в творчестве один и тот же человек на двух, на писателя и на читателя. Первое я — это мечтатель-писатель, второе я, или я сам, — это читатель и хозяин.

То же самое происходит потом и в обществе: я остаюсь как я, как писатель, и мало-помалу определяется в обществе „ты“, как читатель мой, или, как я его привык называть, „мой друг“, в том смысле, что он есть как бы другой „я“, живущий от меня отдельно, имеющий право суда над моими делами.

Эти два лица: писатель и читатель, я и мой друг, являются основными агентами творчества» (Дневники 1951 г., 15 июня. — М. Пришвин. Собр. соч. М., 1957, т. 6, с. 442).

Движущий философию языка в этом же общем направлении "прагматики", но более мощный и политически активный стимул исходил от театра Брехта. "В первые полтора десятилетия после первой мировой войны, — писал Брехт, — в некоторых немецких театрах была испытана относительно новая система актерской игры, которая получила название эпической вследствие того, что носила отчетливо реферирующий, повествовательный характер и к тому же использовала комментирующие хоры и экран. Посредством не совсем простой техники актер создавал дистанцию между собой и изображаемым им персона-

жем и каждый отдельный эпизод играл так, что он должен был стать объектом критики со стороны зрителей... Эпический театр дает возможность представить общественные процессы в их причинно-следственной связи" ("Покупка меди. Уличная сцена") [Брехт 1965, 5 (2), 318]. Не случайно именно в теоретических работах Брехта появляются вполне семиологические термины, аналогичные терминам "означаемое" — "означающее", применительно к актеру и его персонажу: "изображающий" — "изображаемый". Один из основных тезисов Брехта в противоположность классическому театру Станиславского гласил: "Не должно возникать иллюзии, будто бы изображающие тождественны изображаемому" [там же, с. 327]; "Наряду с данным поведением действующего лица нужно было показать и возможность другого поведения, делая, таким образом, возможными выбор и, следовательно, критику" ("О системе Станиславского") [там же, с. 133].

Очень скоро с соответствующей иллюзией о "тождественности" означаемого и означающего и о "естественности" их связи было покончено и в лингвистической семиологии. Впрочем, еще довольно долго удерживалась другая — теоретическая — иллюзия, будто с этими заблуждениями о тождестве и естественности было покончено еще в системе Соссюра. Действительно, Соссюр утверждал произвольный характер связи между означающим и означаемым в знаке и еще более определенно — между знаком и обозначаемым им предметом. Но забывали, что одновременно с этим Соссюр утверждал безусловную обязательность языкового знака для каждого отдельного говорящего и слушающего, необходимость для них беспрекословного принятия данной, а не иной связи означаемого и означающего. Вот с этим и покончил Брехт, сначала применительно к отношению "изображаемого" и "изображающего" в театре, а вслед за тем то же проделали философы языка и семиологи относительно языкового знака.

Проделанная в искусстве, а затем и в теории искусства релятивизация имела параллель — релятивизацию понятий имени и предиката в логике, с чего мы и начнем эту главу. Но прежде — несколько замечаний о термине "прагматика".

0.1. О термине "прагматика" и его замене термином "дектика"

В древнегреческом языке прилагательное *πραγματικός* (*pragmatikós*) означало: 1. 'сведущий в государственных делах, политически опытный'; 2. 'дельный, пригодный к бою, крепкий, сильный, энергичный'; 3. 'разумный, деловой'; 4. 'основанный на фактах, на делах людей'. Форма и все значения произведе-

ны от существительного пра́вца 'исполненное дело; торговая сделка; акт; государственное дело'.

Особенно тесно связаны первое и последнее значения прилагательного; в таком виде они употребляются в знаменитом труде греческой древности — в "Истории" Полибия (между 210 и 205 — ок. 125 гг. до н.э.). В нем в разных местах говорится, что это "прагматическая история" — ἡπραγματικὴ ἱστορία или "прагматический способ" изложения истории — ὁπραγματικὸς τρόπος. Сочинение Полибия послужило посредником, благодаря которому античный термин вошел в философию нового времени.

В 1798 г. Кант пишет "Антропологию с прагматической точки зрения" и дает следующее определение: "Учение, касающееся значения человека и изложенное в систематическом виде (антропология), может быть представлено с точки зрения или *физиологической*, или *прагматической*. — Физиологическое человековедение имеет в виду исследование того, что делает из человека *природа*, а прагматическое — исследование того, что он, как свободно действующее существо, делает или может и должен делать из себя сам... Прагматической она (антропология. — Ю.С.) становится лишь тогда, когда изучает человека как *гражданина мира*. — Поэтому даже значение человеческих рас, созданных игрой сил природы, считается не прагматическим, а только теоретическим мироведением" [Кант 1966а, 351—352].

Определение Канта прямо отвечает также и лингвистической прагматике, которая могла бы рассматриваться просто как специальный раздел общей прагматической антропологии. Особенно перспективным было бы тогда кантовское противопоставление "прагматического" "теоретическому": лингвистическая прагматика должна быть противопоставлена абстрактной (логической) теории языка.

Но, к сожалению, значение термина не удержалось в этих рамках. Уже у Шеллинга в "Системе трансцендентального идеализма" (1800) фиксируется сдвиг термина (наметившийся еще раньше): "Всякая другая история, не принимающая характера всеобщей, может быть лишь *прагматической*, т.е. согласно понятию, выставленному еще древними, преследующей ту или иную практическую цель. И, наоборот, прагматичность всемирной истории представляется в себе противоречивым понятием" [Шеллинг 1936, 341]. "Прагматический" здесь приближается по значению к "практический, полезный для достижения той или иной цели в обществе".

В древности наметилась также вторая линия. В терминологии перипатетиков "прагматика" противопоставляется "логике". Рассуждение является л о г и ч е с к и м, когда оно исходит из

общего и стремится установить общие истины, подходящие ко многим объектам. Напротив, рассуждение является прагматическим, когда оно основывается на особой природе данной вещи, πράξις [Lalande 1972, 1269].

Обе линии своеобразно соединяются в термине "прагматизм" в 70-х годах XIX в. в учении американского философа Ч.С. Пирса. Первоначальной задачей Пирса было, по-видимому, связать логику с общим учением о знаках посредством психологического компонента. В этой связи он сформулировал свое знаменитое положение: "Рассмотрите, каковы те мыслимые практические последствия, которые, как Вы полагаете, могут быть произведены объектом Вашего понятия. Ваше понятие о всех этих последствиях и есть Ваше полное понятие объекта" [Peirce 1905, 171].

В конце XIX в. положения, намеченные Пирсом, получили одностороннее развитие в философских доктринах У. Джемса и затем Дж. Дьюи. Для Джемса теории — это не "ответы на загадки", а программы и орудия для работы. Критерием истины являются "польза" и "успех". Истинность высказывания состоит в том, что оно "полезно", "успешно работает", "приносит удовлетворение". Термин "прагматизм" стал названием этого философского течения.

Пирс сделал попытку отмежеваться от него в самом термине и в специальной статье по этому поводу изменил название своей собственной доктрины на "прагматизм" (pragmaticism) [Peirce 1905, 167; 1905a].

Очевидно, что в силу своей связи с прагматизмом термин "прагматика" очень мало подходит для обозначения логико-лингвистических проблем, которые в настоящее время им обозначаются. И уже прямо противоположным по своему основному содержанию он становится в применении к лингвистическим проблемам искусства. Если еще можно как-то связать с американским прагматизмом и назвать "прагматическим" искусство О'Генри с его идеей успеха, счастливого конца — "хэппи энда", который оправдывает любые жизненные перипетии персонажей, то вряд ли можно найти что-либо более отличное от "прагматизма", чем лирика Ахматовой или роман Пруста. А между тем лингвистические проблемы, которые в связи с этим искусством возникают, в настоящее время как раз и должны были бы называться "прагматическими" — ведь в этом искусстве все соотносится с говорящим, с поэтом и его "Я".

Противоречие терминологии и существа дела становится кричащим, когда проблема рассматривается в обобщении, на абстрактном уровне. Философ А. Бергсон так определил художника типа Пруста: время от времени "по счастливой случай-

ности рождаются люди, которые своими чувствами или своим сознанием менее привязаны к жизни. Природа как бы забыла связать их способности восприятия со способностью действия. Когда счи смотрят на вещь, они воспринимают не для того, чтобы действовать, они воспринимают, чтобы воспринимать, только ради удовольствия" [Bergson 1946, 149]. Пришлось бы называть "прагматическими", с одной стороны, таких художников, как Пруст, Ахматова, и, с другой стороны, таких философов, как Дьюи, для которых "вся деятельность мышления сводится к подбору средств и способов для наиболее успешного решения проблемной ситуации, для преобразования ее в определенную, решенную ситуацию" [Мельвиль 1967, 337].

Если вернуться к логической линии, намеченной в термине "прагматика" в рассуждениях перипатетиков и в первоначальном проекте Пирса, то следует сказать, что эта линия приняла в работах неопозитивистов особое направление и прагматика стала определяться как "раздел семиотики, изучающий отношение использующего знаковую систему к самой знаковой системе" [Философская энциклопедия 1967, 338], т.е. так, как если бы в "самой знаковой системе" никак не было бы фиксировано "отношение говорящего". Но мы уже видели выше, что такое определение прагматики (как и соответствующие определения семантики и синтактики) как раз не отвечает существу логико-лингвистической проблемы: "отношение говорящего к языковой системе" выражается — в естественном языке — в рамках самой этой системы (подробнее см. гл. VI, 2 [ср. также: Булыгина 1981]).

Таким образом, термины "прагматика", "прагматический" для рассматриваемой нами проблемы не подходят ни с какой точки зрения. Что можно предложить взамен? И где искать такой термин?

Здесь нужно обратить внимание на то, что термины для наименования класса слов, связанных с координатой "Я — здесь — сейчас", имеются почти в каждой концепции языка в философии (см. гл. VI, 1), но они не поддаются никакому обобщению. Из них нельзя извлечь никакого общего термина взамен термина "прагматика" для называния всей "прагматической координаты", всего данного измерения языка. Каждый из них обозначает одно какое-либо свойство названного класса слов, связанного с его нахождением на "прагматической" координате языка. Но что определяет координату в целом?

Если обратиться к двум другим координатам, названия которых представляются вполне приемлемыми, то нетрудно видеть, что приемлемы они именно в силу своей общности, в силу того, что называют не одно какое-либо свойство координата

ты, а ее функцию. "Семантика" своим значением (от греч. σημαίνω 'означаю') указывает на отношение знаков к объектам, притом так, что видно, каково это отношение, оно — "означивание". "Синтактика" (от греч. συντάττω 'составляю', συντακτός 'составленный') указывает на отношение знака к знаку, притом опять-таки таким образом, что видна суть этого отношения — "составление, присоединение".

Если искать термин для прагматики в этом направлении, то следует прежде всего поставить вопрос: какое отношение задает эта координата? По определению — отношение знаков к носителю языка. Но не просто к носителю, усредненному и обезличенному, а к носителю, выставляющему себя как говорящего, как "Я". Сущность этого отношения в том, что говорящий самым актом своего утверждения как "Я", присваивая в момент речи имя "Я", допускающее переменные референты, для обозначения себя и только себя, тем самым присваивает себе весь язык, накладывая на него координаты того времени, когда он говорит, т.е. настоящего времени говорения, того места, где он говорит, т.е. места произнесения речи, и заставляя слушающего принять эти координаты и сообразоваться с ними. В свою очередь слушающий, ставший говорящим, проделает ту же самую операцию присвоения.

Все наталкивает на то, чтобы в названии этой координаты языка отразить ее главное свойство — отношение языка к говорящему, заключающееся в присвоении себе языка в момент — и на момент — речи. Для этой цели подходят греч. глагол δέχομαι 'принимаю, принимаю в себя, воспринимаю' и прилагательное от него δεικτικός 'могущий вместить или принять в себя; восприимчивый'. Таким образом, названием всей координаты, всего данного измерения языка будет д е к т и к а.

1. ПОНЯТИЕ "ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИХ СЛОВ"

Как уже было сказано, эгоцентрические слова — это слова и выражения, которые ориентированы на "Эго", на "Я" говорящего. Прежде всего, это само слово "Я", затем "здесь" и "сейчас". Дальше мы увидим, что к этому классу нужно отнести еще и другие выражения, но пока ограничимся основными.

Что значит "ориентированные"? Такие, которые могут быть понятны, только если каким-то образом указывают на "Я" того, кто говорит. Положим, кто-то говорит: *Пять лет назад я был еще плохим спортсменом.* На кого указывает Я? Очевидно, на двоих сразу — на того, кто говорит сейчас, подразумевается "Я₁ говорю: *Пять лет назад...*", и на того, кем этот "Я₁" был пять лет назад, — "Я₂".

Высказывание следовало бы перифразировать так: "Тот Я, который говорит теперь с вами (Я₁), пять лет назад был другим Я (Я₂), и Я₂ — плохой спортсмен". Иными словами, "Я₂" — это "Я пять лет назад".

Из всего этого ясно по крайней мере, что "Я" способно раздваиваться, утраиваться, учетверяться и т.д. и что в определении "Я" как эгоцентрического слова, лежащего в основе всего класса, мы должны учитывать только одно "Я" — "Я в данный момент".

Но что значит "данный момент"? Очевидно, что это — момент речи и что он длится так долго, как длится сама данная речь. На протяжении всей речи говорящего, как бы долго она ни длилась, "Я" как эгоцентрическое слово есть "Я" того, кто говорит, и все время, пока он говорит, есть "настоящий момент". Все другие "Я" должны определяться по отношению к этому "Я" и к этому моменту, и, если они отклоняются от них, они должны определяться как другие слова, точнее — как слова с другими значениями.

"Здесь" означает «то место, где "Я" сейчас говорю (как бы мало или, напротив, как бы обширно оно ни было)». Последнее указание кажется излишним. Разве место "Я" не совпадает с границами моего тела? Нет. "Разве моя мысль, — пишет Пруст, — не была еще одной капсулой, внутри которой я чувствовал, что я заключен, даже когда смотрю на происходящее вонне?" (см. гл. VI, 0). Это место может быть и гораздо большим, чем место, занимаемое телом. Психологи определенно указывают, что "каждый человек помещает самого себя как объект внутри своего символического окружения" и мыслит себя как такой объект далеко не всегда только в границах своего тела: мать, ребенок которой плохо ведет себя на людях, сгорает от стыда, как если бы она сама совершила нечто постыдное; человек, который только что, после долгих стараний, приобрел автомашину, способен страдать от царапины на кузове так, как если бы было ранено его собственное тело. Примеры можно легко умножить [Шибутани 1969, 182].

Не получается ли из сказанного, что "место, где я сейчас говорю", будет иногда "место в мыслях", иногда "место, совпадающее с моей автомашиной", иногда "место, в окружении тех людей, среди которых находимся мы — я и мой ребенок", и т.д.? Думаем, да. Но отсюда следует только, что определить "место, где я говорю", и, думается, в известном смысле всякое место вообще — задача еще более трудная, чем определить момент.

Б. Рассел считал главным эгоцентрическим словом "это", он полагал, что определяет его наглядно, как "то, что в момент употребления слова занимает центр внимания" [Рассел 1957,

126]. Но в действительности Рассел определяет таким образом нечто сложное — акт употребления слова "это", такой, что в этом акте совмещаются указание на предмет и ориентация этого предмета по отношению к "Я" (которое и несет в себе "центр внимания"). Очевидно поэтому, что прежде должно быть определено само "я". Это мы и попытались сделать выше.

Тем не менее слово "это", конечно, тоже является эгоцентрическим словом, поскольку в его значение, или в указание посредством него, а это и есть его значение, входит ориентация на "Я", координата "Я". Таких слов и выражений можно подобрать гораздо больше. Например, говоря *Есть еще полведра* и *Есть уже полведра*, мы можем говорить об одной и той же вещи и об одном и том же количестве, но соотносим их в первом случае с предшествующим действием отливания, а во втором — с предшествующим действием наливания и, следовательно, косвенным образом с самими собой — со своим взглядом на положение дел и в конечном счете с положением своего тела. Подобные же отнесения к говорящему содержатся в различии вопросов типа русских *Разве?* и *Неужели?* и во многих других случаях [см.: Булыгина, Шмелев 1982]. Значения таких выражений получили название "прагматических", и точнее их следовало бы называть, как мы уже отмечали выше, "дектическими": говорящий присваивает себе инвариантное значение выражения, тем самым привнося в него дополнительный компонент.

Для того чтобы очертить границы постоянного класса таких выражений в лексиконе, т.е. выражений, в которых координата "я" "встроена", присутствует всегда (хотя всегда, разумеется, относительно), в отличие от случаев речевых употреблений, количество которых может оказаться безграничным, целесообразно прежде всего применить критерий постоянных оппозиций. Таким путем устанавливается сначала слово "ты".

Не без влияния феноменологии на эту проблему обратил внимание французский лингвист Э. Бенвенист. Он удачно сформулировал ее в лингвистических понятиях в статье "О субъективности в языке" (1958). "Субъективность", о которой идет речь, есть способность говорящего представлять себя в качестве "субъекта". «Мы утверждаем, — писал Бенвенист, — что эта "субъективность", рассматривать ли ее с точки зрения феноменологии или психологии, как угодно, есть не что иное, как проявление в человеке фундаментального свойства языка. Тот есть „эго“, кто говорит „эго“... Осознание себя возможно только в противопоставлении. Я могу употребить я только при обращении к кому-то, кто в моем обращении предстанет как ты... Язык возможен только потому, что каждый говорящий представляет себя в качестве субъекта, указывающего на самого себя как на

226

я в своей речи. В силу этого я конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним по отношению к моему „я”, становится моим эхо, которому я говорю *ты* и которое мне говорит *ты*... Полярность эта к тому же весьма своеобразна, она представляется собой особый тип противопоставления, не имеющий аналога нигде вне языка. Она не означает ни равенства, ни симметрии: „эго” занимает всегда трансцендентное положение по отношению к „ты”, однако ни один из терминов немислим без другого; они находятся в отношении взаимодополнительности, но по оппозиции „внутренний—внешний” и одновременно в отношении взаимобратимости. Бесполезно искать параллель этим отношениям: ее не существует. Положение человека в языке неповторимо» [Бенвенист 1974, 294].

В противопоставлении „я” и „ты”, о котором говорит Бенвенист, скрыт кроме оппозиции еще один принцип. В самом деле, оппозиция предполагает просто сравнение двух предметов по одному общему для них основанию и осознание того, что остается сверх этого основания, как двух различных признаков, точнее — как одного и того же признака, взятого применительно к одному предмету со знаком +, а применительно к другому — со знаком —. Типичным случаем оппозиций (на основе которого это понятие действительно и было обобщено) служат противопоставления фонем; так, рус. „п” и „б” имеют общее основание — обе фонемы губные и смычные и различие — „п” глухая, а „б” звонкая. Различие может быть представлено снова в виде одного и того же общего признака, скажем „глухость”, и тогда у „п” этот признак наличествует со знаком +, а у „б” со знаком —, т.е. „звонкость” есть „глухость со знаком минус”. (Разумеется, это определение различий относительно; точно так же можно было приписать положительный признак к „б” как „звонкость со знаком плюс”, тогда соответствующий признак „п” был бы „звонкость со знаком минус”. Такой подход был применен И. Кантом к значению слов, см. гл. II, 1.)

Приблизительно в таком смысле оппозиция присутствует в противопоставлении „я” — „ты”. Общим основанием здесь будет „занятость в акте речи”, поскольку эти слова обозначают тех двух, и всегда только тех двух лиц, которые непосредственно обмениваются репликами в момент речи. Различие можно определить, скажем, так: „ты” — это „я”, взятое со знаком минус, „ты” равняется „не-Я”.

Но, конечно, это описание, вообще говоря, лингвистически приемлемое, не вполне может нас удовлетворить; интуитивно мы ощущаем в противопоставлении „я” и „ты” нечто более солидное. Это „нечто более солидное” есть просто тот факт, что „я” всегда есть синоним некоторого собственного имени — ска-

жем, в данном акте моей речи я есть синоним имени *Ю. С. Степанов*; в Вашей, читатель, мысленной реплике по поводу сказанного мною я есть синоним Вашего собственного имени и. т. д. А собственное имя означает всегда некоторую отдельную субстанцию — Вас, меня, любого. Что касается "я" в противопоставлении "ты", то, взятое в этом отношении, оно означает переменный ориентир речи — "тот, кто говорит в данный момент", и этот ориентир может переходить от одной субстанции, означенной одним собственным именем, к другой, означенной другим собственным именем; субстанция, оставшаяся на данный акт речи без обозначения "я", получает на время этого акта обозначение "ты" по отношению к действующему в данный момент ориентиру — к "я" говорящего. Таким образом, "ты" — это «тот, кто сейчас, вслед за окончанием моего акта речи, получит право в свою очередь называться „Я“, не получив моей субстанции». Как назвать такое отношение слов — передвижение слова "Я" на другую субстанцию, которая станет "Я" только в одном, не субстанциальном, отношении — в том отношении, что займет мое место в акте речи?

Прежде всего приходит на ум аналогия с карточной игрой, где "тот, кто ходит", "тот, у кого козырь", "покер" и т. п., в системе отношений, составляющих правила игры, есть всегда одно и то же место (подобно тому как "Я" в речи всегда есть место говорящего), но это место могут в каждом новом состоянии процесса игры — в "коне" или "партии" занимать разные игроки — разные субстанции, приходящие из внеигрового, субстанциального мира. (Здесь ясно видно отличие разбираемых отношений от простой оппозиции. Фонемы, например "п" и "б" в русском языке, как раз могут быть сведены, на основе их общих признаков, к более общему месту в системе, некоторые лингвисты называют это более общее "архифонемой", в данном случае "П". Кроме того, в языковых оппозициях в большинстве случаев бывает так, что каждому члену соответствует своя субстанция, и она не заменяется другой: в данном случае роль "п" и "б" выполняет звук, или звукотип, определенного материального состава, и эту роль не может выполнить материально другой звук. Когда при функционировании системы оппозиций в речи получается так, что некоторые признаки не проявляются, то возникает вопрос: как назвать данную субстанцию, например в конце слова *дуб*, где звучит [дуп], — перед нами фонема "п" или "б"? Фонологи бесконечно спорят по этому поводу, разделившись даже на этом основании на различные школы — московскую и ленинградскую.)

На аналогию с игрой постоянно наталкиваются философы языка, но нам кажется, что в данном случае можно обойтись без

нее. В отношении слов "я" и "ты", которое мы рассмотрели выше, нет ничего уникального, оно постоянно встречается в языке в других случаях и есть отношение метафоры. Действительно, при метафоре мы имеем дело с переносом наименования с одного предмета на другой (с одной субстанции на другую), так что одинаково поименованные субстанции уподобляются тем самым друг другу и вместе с тем продолжают мыслиться как разные субстанции. Дождь *идет*, солнце *встает* — как идет, встает человек; как сделал бы человек на месте этих объектов — дождя или солнца. Метафора — фундаментальное свойство языка, не менее фундаментальное, чем, например, оппозиция элементов языка. Посредством метафоры говорящий (следовательно, всякий человек) последовательно вычленяет из мира, определяемого координатами "я — здесь — сейчас" — из тесного круга, прилегающего к его телу и совпадающего с моментом его речи, другие миры. Есть языки, в которых это вычленение запечатлено по этапам. Например, в латинском языке круг говорящего определяется словами *Ego* — *hic* — *nunc* (я — здесь — сейчас); ближайший к говорящему, круг собеседника, — словами *tu* — *istic* — *tunc* (ты — здесь около тебя — теперь или тогда недавно); далекий от говорящего, круг 3-го лица, — словами *ille* — *illic* — *tum* (он — там — тогда). Несмотря на различную языковую технику выражения (например, на отсутствие в русском языке особых слов, указывающих место около "ты"* и время, соответствующее тому, что этот "ты" говорил), сами отношения универсальны и являются проекцией во все более отдаленный от говорящего круг одних и тех же трех координат его круга с центром "я":

Я — здесь — сейчас
ты — около тебя — теперь
он — там — тогда.

(Эти отношения должны рассматриваться как основание грамматики естественных языков, о чем писал Е.Курилович и др. [см.: Степанов 1975, 139].)

Надо обратить внимание на одно чрезвычайно важное обстоятельство — на совпадение, в некоторых отношениях, наиболее удаленного от говорящего круга "он — там — тогда" и понятия "пропозициональных установок" Рассела. Напомним, что под этим термином понимается в узком смысле выражение позиции говорящего по отношению к тому, что он затем хочет ска-

*Но, например, три различных "это" сохранились в сербскохорватской формуле: *eво мени, ето теби, ено њему* 'это мне, это тебе, это ему'; следовательно, рус. *это* первоначально означало 'это около тебя'.

зять; например, *Джон считает, что...* есть пропозициональная установка, а то, что Джон выставляет как объект своего мнения, например: *...Мери ничего подобного не говорила*, есть пропозиция, объект установки.

Мы хотим подчеркнуть, что пропозиция, включенная в ту или иную пропозициональную установку, относится по существу к некоему миру, определяемому координатами "он — там — тогда". Пропозиция, следующая после установки, и мир, определенный в названных координатах, — это один и тот же мир, просто описываемый в разных терминах. Действительно, нельзя ведь осмысленно употребить пропозициональную установку по отношению к миру "первого круга" говорящего, нельзя сказать чего-либо, подобного "Я считаю, что я сейчас говорю и что я нахожусь здесь".

В выражении пропозициональной установки после союза "что" не должен упоминаться мир, описываемый координатами "я — здесь — сейчас" (если, конечно, не имеются в виду раздвоенные личности говорящего или какая-либо метафора, но если имеется в виду это, то тем самым мы имеем дело с "третьим кругом", только выраженным в поверхностно иной форме — в форме 1-го лица; такие случаи мы здесь не рассматриваем).

Поэтому пропозициональные установки в только что описанном широком смысле (т.е. включая пропозиции, следующие за выражением самой установки) — это выражения, которые должны быть отнесены к классу эгоцентрических слов и выражений.

Таким образом, мы приходим к выводу, что между реальным миром, удаленным от говорящего, миром "он — там — тогда" (например, на корабле, находящемся в плавании далеко от нас), и миром лишь мыслимым, "интенциональным", нет непреходимой границы; дело, скорее, в ступенях отдаления.

Для наименования класса слов и выражений, связанного с координатами "я — здесь — сейчас" (хотя, что именно в него включать, может пониматься по-разному), в каждой крупной системе "философии языка" и логики появились специальные термины, в разных системах различные: "индексальные символы", или "символы-индексы" (indexical symbols) у Пирса; "эгоцентрические частицы", или "эгоцентрические частные термины" (egocentric particulars) у Рассела; "десигнаторы наличного бытия" (Dasein-designatoren) у Хайдеггера; "сдвигатели", или "шифтеры" (shifters), у Есперсена в книгах "Язык" (1922) и "Философия грамматики" (1924, в русском переводе — 1958 г.) — термин, впоследствии использованный Якобсоном; "автореферентные слова" (mots auto-référentiels) у Бенвениста; "знаково-рефлексивные слова" (token-reflexive words) у Рейхенбаха; "индика-

торные, или индексальные, выражения" (indexicals) у Гудмена; "невечные предложения" (occasion sentences в противопоставлении eternal s., standing s.) у Куайна; "индексные выражения" (indexical expressions) у Бар-Хиллела и др.

Упомянув последний термин, Р. Монтегю говорит, что логическая прагматика, логический эквивалент прагматики естественных языков, может быть определена как исследование «индексных выражений, то есть таких слов и предложений, значение которых можно определить, только зная ситуацию, в которой они использовались; примерами могут служить слова „я“, „здесь“, а также предложения, содержащие ссылку на время их произнесения» [Монтегю 1981, 255].

Индексальные выражения в общем виде описываются как функции. Понятие функции пронизывает все современные системы семантики и "прагматики" (этот термин мы теперь, когда ввели вместо него "дектика", употребляем часто в кавычках, которые в этом случае имеют то значение, которое видел в них акад. В.В. Виноградов, говоря, что мы употребляем кавычки вокруг слова, когда хотим снять с себя ответственность за его употребление).

Так, например, Р. Монтегю ставит перед собой задачу описания "прагматики" естественного языка и выполняет ее по аналогии с "теорией моделей" в семантике следующим образом. Он строит сначала особый формализованный язык, который называет "прагматическим языком L ", а затем дает его интерпретацию, которая и должна более или менее совпасть с "прагматикой" естественного языка. Он говорит: "При интерпретации прагматического языка L мы будем принимать во внимание возможные ситуации использования. Нет необходимости рассматривать их во всей сложности; вместо этого мы можем сосредоточить наше внимание только на тех чертах, которые влияют на значение используемых выражений. Таким образом, достаточно будет задать комплекс всех относящихся к делу аспектов подразумеваемых возможных контекстов использования. Мы можем назвать эти комплексы индексами, или... точками соотнесения" [Монтегю 1981a, 257]. Например, если единственными индексными выражениями в формальном языке являются временные операторы, то в качестве точек соотнесения берутся моменты времени высказывания. Если же этот язык, как в следующем ниже примере Монтегю, содержит еще и личное местоимение "я", то существенными моментами становятся два аспекта ситуации использования — говорящий и время произнесения, и тогда в качестве точек соотнесения естественно будет выбрать упорядоченные пары, состоящие из "я" и момента времени произнесения высказывания.

Если обозначить через I множество всех точек соотнесения для интерпретации, через U множество возможных объектов (возможных индивидов), а через i точку соотнесения, то можно дать следующее определение (читатель, не интересующийся формализацией, может его преспокойно опустить, удержав в памяти лишь одно: все это определение основано на понятии функции и функции от функции): «Возможная интерпретация для прагматического языка L есть упорядоченная тройка I, U, F — такая, что (1) I, U есть множества, (2) F — функция с областью определения L , (3) для каждого символа A в L F_A есть функция с областью определения I ; (4) если P есть n -местный предикат L , а i принадлежит I , то $F_P(i)$ есть n -местное отношение на U (то есть множество упорядоченных n -ок членов U); (5) если A — n -местный функциональный символ L , а i принадлежит I , то $F_A(i)$ есть $(n + 1)$ -местное отношение на U , такое, что для всех x_0, \dots, x_{n-1} , принадлежащих U , имеется в точности один объект y множества U , такой, что $\langle x_0, \dots, x_{n-1}, y \rangle$ принадлежит $F_A(i)$; (6) если N — n -местный оператор L , а i принадлежит I , то $F_N(i)$ есть n -местное отношение на множестве всех подмножеств I ... Я использую равным образом обозначения „ F_P ” и „ $F(P)$ ” для значения функции; это удобно тогда, когда, как в вышеприведенных случаях, значение функции само является функцией» [Монтегю 1981а, 259].

Иными словами, скажем, предикат понимается как отношение между двойками, тройками, n -ками членов множества объектов, и если это множество достаточно велико или тем более бесконечно, то это отношение естественно задать функцией, и т.д.

Конечно, само понятие “функция” здесь не то, что в математике начала нашего века, а это последнее кое-где сохранилось еще в школьных курсах, например при описании различных процессов, в элементарном изложении основ диалектического материализма и т.д.

Интересно привести в этой связи высказывание известного современного математика Дж. Литлвуда: «Что понимается под „функцией”? Я отвлекусь (имея в виду определенную цель) и приведу в интересах начинающего некоторые цитаты из книги Форсайта „Теория функций комплексного переменного”. (Книга Форсайта была устаревшей уже в 1893 г., когда она только писалась, но моему поколению приходилось часто встречаться с таким положением.) Тот факт, что регулярность функции комплексного переменного объясняется тут же, только углубляет общий кошмар, но мне не хотелось бы лишать читателя известного интеллектуального наслаждения. (Мы приводим только часть цитат из Форсайта, выписанных Литлвудом, не испытывав, впрочем, ни кошмара, ни особенного наслаждения. — Ю. С.)

Возникновение идеи функциональности вначале было связано с функциями вещественных переменных, и тогда эта идея была равнозначна идее зависимости. Так, если значение X зависит от значения x и не зависит ни от какой другой изменяющейся величины, то принято X рассматривать как функцию от x ; при этом обычно еще подразумевается, что X выводится из x при помощи ряда операций». Приведя еще длинные выписки, Литлвуд говорит: «В наше время, конечно, функция $y = y(x)$ означает, что имеется класс „аргументов” x и что каждому x поставлено в соответствие 1 и только 1 „значение” y . После некоторых тривиальных разъяснений (а может быть, и без них?) мы можем осмелиться сказать, что функция есть просто класс C пар (x, y) (с учетом порядка в скобках), подчиненный (только) тому условию, что x в различных парах должны быть различными. (И утверждение „между x и y есть зависимость R ” означает просто задание класса, который может быть любым классом упорядоченных пар.) В наше время, кроме того, x может обозначать элемент любой природы так же, как и y (например, класс или высказывание)... Вот и все. Такая ясность дневного света считается теперь сама собой разумеющейся, но она сменила мрак полуночи. (Несчастье состояло, конечно, в навязчивой мысли, что значение функции „должно” получаться из аргумента при помощи „серии операций”» [Литлвуд 1978, 64—67].

Обобщение понятия функции, т.е. прежде всего отказ от представлений о функции как о серии операций, о процессе, было сделано в России Н.И. Лобачевским и позднее на Западе — Г.-Л. Дирихле (в 1837 г.). Однако, говорит Черч, на долю Г. Фреге осталось сделать два важных шага (в работе „Begriffsschrift” 1879 г. и последующих): 1) замена расплывчатого понятия переменного количества понятием переменной как символа особого рода; 2) допущение функций с произвольными областями определений и отказ от взгляда, будто аргументами и значениями функции могут быть только числа. В 1879 г. Фреге ввел понятие высказывательной, или пропозициональной, функции [Черч 1960, 29]. Но, как отмечает Литлвуд, полное равноправие для функций высказываний было достигнуто лишь в 1920-х годах.

Итак, все представления о языке, складывающиеся в современных модальных и интенсиональных логиках, пронизаны разнообразными функциями, более того — понятие функции составляет самую основу системности этих представлений.

Вместе с функцией окончательно утвердилось понятие относительности языковых значений. Но, как мы видели выше, понятие относительности не внесено с понятием функции, а задано самим языком: его прообраз заключен в отношениях „я” — „ты” в актах речи. Вся историю вопроса можно теперь „перепи-

сать” логически: прочесть в обратном направлении и сказать, что наиболее “чистым”, обобщенным понятием функции является именно высказывательная, пропозициональная функция и что ее прообраз задан языком в виде отношений “я” — “ты” в актах речи, где субстанции (индивиды), скрывающиеся под ориентирами “я” и “ты”, постоянно меняются (не в том смысле, что изменяется субстанция каждого, а в том, что одна субстанция занимает место другой), в то время как сами ориентиры образуют чисто реляционный каркас, постоянный и неизменный.

Все же в этой сложной новой картине, имеющей тенденцию, по-видимому, превратиться в картину полной релятивизации всего, что есть в семантике языка, возникает опасность потери ориентиров. В отличие от других случаев, когда об “опасностях” разного рода говорят обычно противники, а не сторонники той или иной концепции (очень много говорили, например, об “опасностях” структурализма критики структурализма), здесь трудности ощущают, видимо, сами творцы новой картины. Это выражается в том, что постоянной и общей темой новых работ становится тема — с иной точки зрения она могла бы показаться совершенно частной — поисков “твердых десигнаторов”, собственных имен, которые остаются неизменными в потоке функций и переходов от одного возможного мира к другому. Этой темы мы коснемся в некоторых подробностях ниже (гл. VI, 3).

Но здесь я хотел бы — в предварительном порядке — высказать, может быть, “еретическую” мысль: собственное имя индивида является прямым обозначением этого индивида и косвенным обозначением другого индивида — “Я”, который обозначает первого. В таком случае собственные имена должны быть также отнесены к классу эгоцентрических слов.

Выскажем здесь лишь некоторые соображения, из которых, может быть, сложится в дальнейшем логическая часть теории собственных имен.

Прежде всего, собственное имя есть функция количества индивидов, из которых нужно выделить данного. Это можно заметить на европейских именах, которые имеют в некотором смысле одну и ту же структуру при всех различиях способов именования. Индивид в малом кругу своей семьи, в “первом круге” говорящего, означает обычно одним именем — *Ольга, Дима, Питер, Жан* и т.п., и это имя дают родители. Тот же индивид в более широком круге, скажем, школьном, университетском, служебном, цеховом, именуется с прибавлением некоторого второго имени: в русском языке — отчества (*Ольга Николаевна*), в английском, французском, испанском и т.д. — прибавлением сразу фамилии. Важно здесь, однако,

не то, что в русском прибавляется столь специфическое указание на отца (обычно эта черта отвлекает внимание от главного при исследовании собственных русских имен), а то, что собственное имя становится двухместным, точно так же, как в английском, французском и т.д. обиходе. Примем средний состав „первого (семейного) круга”, из которого можно выделить индивида одним именем, в 10 человек. Тогда прибавление в имени второго места дает возможность выделить индивида из 10×10 , из 100 человек, и это примерно как раз то количество, из которого требуется выделять индивида в школе, в университете, в цехе и т.д. Прибавление третьего места, делающее собственное имя трехместным, позволяет выделить индивида из количества индивидов в $10 \times 10 \times 10 = 1000$ человек, и поэтому трехместность собственного имени обычно достаточна для функционирования его в широких коллективах. Я думаю, что эта закономерность структуры собственного имени может быть достаточно удовлетворительно выражена логарифмической функцией: $\lg N$, где N есть количество людей, из которого нужно выделить данного индивида, а сам (десятичный) логарифм указывает на количество мест в структуре имени. Так, чтобы выделить индивида из коллектива в 1000 человек, необходимо ($\lg 1000 = 3$) трехместное собственное имя. Эта закономерность подмечена эмпирически, и возможно, конечно, что функция будет существенно другой для коллективов неевропейского типа, но, по-видимому, всегда можно установить какую-либо функцию.

Для выделения индивида из количества порядка миллиона человек — обычный случай юридической идентификации в практике, скажем, большого современного города — требуется шестиместное собственное имя. Для этого в европейских странах применяется обычно в качестве 4-й рубрики именованного указание на год рождения, в качестве 5-й — указание места работы, в качестве 6-й — адреса: (1) *Ольга* (2) *Николаевна* (3) *Иванова* (4) *1935 г. рожд.* (5) *Преподаватель Московского университета* (6) *Проживающая по адресу...* Рубрики 5-я и 6-я в зависимости от юридических обстоятельств могут меняться местами или опускаться, если окажутся избыточными. Кроме того, конечно, указание адреса, будучи точной локализацией индивида в пространстве, может оказаться достаточным для некоторых целей (например, при милицейском розыске — разыскивается ”(некая) Оля, проживающая по адресу...”), и тогда другие рубрики будут избыточными. Но инвариантная структура собственного имени сохраняется. При полной идентификации в масштабе многомиллионной страны требуется еще одна или даже более чем

одна рубрика, например указание места рождения (*Ольга Николаевна Иванова, 1935 г. рожд., уроженка деревни Раменки Московской области... и т.д.*).

Чем более мест в собственном имени, следовательно, чем более официально это имя, тем более универсальны заполнения его мест: места с большими номерами — 4, 5, 6-е и т.д. — заполняются в разных странах аналогично. Но чем ближе к центру имени, тем большую роль играют национальные особенности и традиции.

И наконец, самое интимное звено имени — его первое место, личное имя — заполняется под влиянием семейных традиций, памяти о том или ином родственнике, под влиянием увлечений или даже настроения мамы или папы.

Сказанного достаточно, чтобы дать понять, в каком смысле мы говорим о собственном имени как о функции и как о косвенном обозначении самого именуемого — мамы, папы или государства и почему собственные имена должны быть отнесены к классу эгоцентрических слов.

2. НОВЫЕ ПОНЯТИЯ В РАБОТАХ К.И. ЛЬЮИСА И Р.КАРНАПА 1950-х ГОДОВ

Можно определенно сказать, что новые идеи вошли в логическую концепцию языка через узенький мостик — через понятие об одной из пропозициональных установок Рассела, установку "мнения, или веры" (*belief*). Ближайшим образом с ней оказалось связанным понятие интенционала. Именно эти два понятия мы и рассмотрим в первую очередь, в том их виде, как они появились в работах К.И. Льюиса (1883—1964) и Р. Карнапа (1891—1970).

На наш взгляд, идеи этих авторов шли по пересекающимся, а не по параллельным линиям: Карнап, скорее, завершал предшествующую парадигму, в то время как Льюис открывал новую. На какое-то время их идеи пересеклись, и этот момент мы склонны фиксировать как начало новой парадигмы.

Новый подход к семантике был сформулирован в статье Льюиса "Виды значения" (или "Модусы значения" — "The modes of meaning", 1943 г.) [Семиотика 1983]. Взамен "треугольника" семантических понятий (см. гл. I, 1) Льюис предложил следующие четыре: 1) *денотация*, или *экстенсия*, термина (ср. *денотат*, *экстенционал*) — класс всех реально существующих предметов, к которым данный термин правильно приложим; 2) *компрегенсия* (иногда этот термин переводят на русский как "охват") — понятийное содержание термина,

классификация всех непротиворечиво мыслимых предметов (не обязательно реально существующих), к которым данный термин правильно приложим; например, термин "квадрат" охватывает все мыслимые и реально существующие квадраты, но не охватывает круглых квадратов; 3) *интенсия* (ср. *интенционал*) термина — правильное определение; традиционный термин "сущность" как *essentia*, подчеркивает Льюис, соотносим с интенционалом; 4) *сигнификация* (ср. *сигнификат*) термина — та совокупность признаков, которая существенна для правильного именованя предмета данным термином; эта совокупность может не совпадать с совокупностью признаков, составляющей интенционал; например, для правильного именованя чего-то как "овощей" в русском языке важна потенциальная возможность есть эти растения и плоды с солью (фрукты с солью не едят), но этот признак не входит в интенционал русского слова *овоци*.

На основе изложенного Льюис предложил различать два вида значения. Лингвистическое, или языковое, значение (*linguistic meaning*) — это интенционал, создаваемый отношениями данного выражения ко всем другим выражениям данного языка. Например, человек, изучающий французский язык по книгам и желающий узнать значение какого-либо слова, должен будет обратиться к словарю и установить сначала значение по определению в словаре, затем таким же образом установить значения всех слов, которые входят в это определение, и т.д. Льюис прозорливо замечает, что если бы эта процедура оказалась выполнимой (а практически она бесконечна), то в результате этот человек узнал бы все отношения данного слова к другим словам этого языка, но так и не узнал бы собственного значения этого и всех других слов; то, что он узнал бы, и есть лингвистическое значение [сходные мысли Р. Монтегю см. в кн.: Семиотика 1983, 285].

В этом примере Льюиса содержится прозорливое предвосхищение (а также критика) действительно проводившихся впоследствии в течение некоторого времени в США и в СССР лингвистических исследований по выявлению значений слов через их дистрибуцию, т.е. взаимную сочетаемость [хорошим примером такого исследования является кн.: Апресян 1967]. Как выяснилось в результате этих работ, существенная часть семантики слова — его лексическое ядро — таким способом не улавливается. Положение Льюиса также является критикой концепции английской философской школы "лингвистического анализа" Г. Райла, Дж. Уисдома, Дж. Остина и др. [ср.: Богомолов 1973, 262 и след.]. Льюиса иногда называют в

нашей литературе "неопрагматистом"; это верно по отношению к логико-лингвистическому смыслу его работ, поскольку они закладывают фундамент лингвистической прагматики (дектики), но, по крайней мере из изложенной здесь работы, не видно, чтобы он был прагматиком в философском смысле.

Смысловое значение (sense meaning) основывается на работе воображения (как выражается Льюис, а точнее, как следовало бы сказать с точки зрения диалектической логики на прогнозирующей функции мышления (см. Предисловие); некоторые советские авторы называют подобные процессы мышления "опережающим отражением"). В логическом смысле это — интенционал, создаваемый мысленным критерием, с помощью которого человек способен приложить или отказаться приложить данный термин к предъявляемой ему вещи (поименовать или не поименовать им эту вещь). Вслед за Кантом этот вид значения понимается как схема, т.е. правило, предписывающее приложение выражения к объектам, и предвосхищенный воображением результат этого процесса. Если, говорит Льюис, номиналисты в течение столетий сопротивлялись понятию смыслового значения и сводили значение только к лингвистическому, то они ссылались при этом на невозможность мысленно представить "кошку вообще" или "тысячеугольник". Но этого и не требуется. Достаточно иметь мысленную схему движения, например процесс счета сторон многоугольника, а 1000 сторон — лишь как предвидимый, воображаемый результат этого процесса. Разновидностью смыслового значения является, по Льюису, мысленный эксперимент, в частности такой, каким устанавливается непротиворечивость мыслимых вещей, что необходимо для понятия компрегенсии. Таким образом, понятие смыслового значения как схемы, пришедшее из логики, оказалось логическим коррелятом "схемы" в психологии Пиаже, Найссера и др. [см.: Степанов 1981, 235]. В частности, Найссер замечает: "Если умственные образы суть перцептивные предвосхищения, то описание зрительного образа должно быть описанием того, что человек готов увидеть" [Найссер 1981, 181].

Поскольку смысловое значение связано с процедурой узнавания, то Льюис говорит о нем еще следующее: тот, кто способен таким образом приложить или отказаться приложить языковое выражение в любых мыслимых, т.е. воображаемых, обстоятельствах, полностью владеет смысловым значением. Благодаря этому определению льюисовское смысловое значение можно связать с понятием "каузальная история", введенным в семантику позднее (см. ниже).

Остановимся теперь на краткой программной статье Р. Кар-

напа "О некоторых понятиях прагматики" (1955) [Карнап 1955]. Карнап считал, что прагматика — а время для этой дисциплины настало, подчеркивал он, — должна первоначально строиться как концептуальная рамка всего лишь для двух-трех понятий, в первую очередь интенционала и мнения (т.е. установки веры, *belief*), а затем расширяться, захватывая смежные понятия. Под интенционалом Карнап понимает, конечно, свой, "карнаповский интенционал", как он определен, в частности, в его известной работе "Значение и необходимость" [Карнап 1959]. Но поскольку он определяется в противопоставлении экстенционалу, т.е. в системе только из двух понятий (а не из четырех, как у Льюиса), то сравнительно с льюисовским это понятие более грубое. В общем (хотя, конечно, это еще большее огрубление), его можно уподобить "смыслу" выражения.

Понятие мнения, или веры, соответствующее пропозициональной установке веры у Рассела, Карнап определяет здесь довольно пространно. Он начинает с Черча, у которого вера понимается как отношение между лицом и пропозицией. По Черчу, следующий пример следовало бы записать так: *Джон считает* (установка веры), *что + Идет дождь* (пропозиция). Но, согласно Карнапу, это не прагматическое понимание, и нужно говорить об отношении между лицом и предложением (а не пропозицией) — установка веры должна характеризовать не положение дел и лицо, а употребление языка. Черчевское понятие (оно обозначено через *B*) может быть, по Карнапу, символизировано так:

$$B(X, t, p), \quad (1)$$

т.е. лицо *X* в некий момент времени *t* считает, что *p*. Все это понимается в слабом смысле, т.е. не предполагается ни то, что *X* создает факт своего "считания" — полагания чего-либо о чем-либо, ни то, что он способен выразить это словами, вербализовать. (Этот "слабый смысл" и соответствует, как мы сказали выше, такой картине языка, в которой носитель языка, в данном случае *X*, как и все другие, обладает знанием в меньшей степени, чем наблюдатель извне, в данном случае Карнап.)

Карнаповское понятие веры, обозначаемое через *T*, символизируется следующим образом:

$$T(X, t, S, L), \quad (2)$$

т.е. лицо *X* в момент *t* считает предложение *S* языка *L* истинным (сознавая это или нет).

После этого определяется прагматическое понятие интен-

сионала, выступающее связующим звеном между B и T :

$$Int(p, S, L, X, T), \quad (3)$$

т.е. пропозиция p есть интенционал предложения S в языке L для лица X в момент времени t .

В заключение своей статьи Карнап вводит понятие "высказывания" (*utterance*) как некоего "экземпляра" (*a token*) предложения, притом экземпляра "нормального". Эти понятия, хотя и едва намеченные, предвосхитили лингвистическую проблематику 1960-х годов — проблемы "нормальных, или отмеченных, предложений" и т.п.

В сущности, все здесь у Карнапа обстоит так, как в следующей картине, нарисованной А. Черчем. Представим себе людей, пользующихся формализованным языком, скажем, письменным формализованным языком, занятых выписыванием правильно построенных формул этого языка и составлением таких последовательностей формул, которые образуют цепочки непосредственных выводов или, в частности, доказательств. Представим себе далее наблюдателя, который не только не понимает этого языка, но вообще не верит, что это язык, т.е. не верит, что формулы имеют содержание. Он узнает, скажем, синтаксические критерии, в соответствии с которыми формулы признаются правильно построенными, и критерии, в соответствии с которыми последовательности правильно построенных формул признаются непосредственными выводами или доказательствами, но он думает, что наблюдаемая им деятельность есть просто игра наподобие игры в шахматы, решения шахматной задачи или раскладывания карточного пасьянса и что целью игры является нахождение неожиданных теорем или остроумных цепочек выводов и решение головоломок такого типа: можно ли и как именно доказать некоторую формулу или вывести ее из других данных формул?

"Для такого наблюдателя символы языка имеют только то содержание, которое дается им правилами игры, — только такое содержание, которым обладают, например, различные фигуры в шахматах. Для него формула аналогична позиции на шахматной доске и имеет значение лишь как один из этапов игры, который в соответствии с правилами ведет к различным другим этапам.

Все, что может быть сказано о языке такому наблюдателю и понято им, пока он продолжает смотреть на использование языка просто как на игру, составляет (теоретический) синтаксис языка. С другой стороны, к семантике языка относится то, что можно понять, лишь зная, что

правильно построенные формулы обладают содержанием в собственном смысле, т.е. что некоторые из них выражают суждения, или обозначают, или тем или иным путем принимают значения. Таким образом, изучение интерпретации языка как интерпретации называется семантикой" [Черч 1960, 60].

Но у Черча это как раз определение семантики в ее отношении к синтаксису в математической логике; мы хотим этим сказать, что Карнап мыслил прагматику именно по образцу своего же логического синтаксиса и в этом смысле его план принадлежит старой парадигме философии языка.

В каком-то смысле прагматика действительно пошла первоначально по этому пути, в том смысле, что два названных понятия — "интенционал" и "мнение, вера" — сыграли определяющую роль. Но, кажется, реально построенная прагматика 1980-х годов — в работах Хинтикки, Монтегю, Крипке и др. — оказалась далекой от карнаповского замысла. По современным представлениям, прагматика встроена в систему языка, может быть, в самый ее центр. Карнап же смотрел на прагматику так, что его следовало понимать (во всяком случае, он так был понят) таким образом: "прагматика изучает отношение использующего знаковую систему к самой знаковой системе" [Философская энциклопедия 1967, 338] (впрочем, без ссылки на Карнапа). При таком понимании, как у Карнапа и как в "Философской энциклопедии", прагматика — это нечто вроде метаязыка, с помощью которого некий носитель знания наблюдает за языком-объектом и за его носителями, причем предполагается, что последние обладают знанием в меньшей мере, чем наблюдатель. Все это — фантастическая картина. Но, нам кажется, это и имел в виду Карнап, когда в указанной статье писал: "Я полагаю, что базовые понятия прагматики лучше всего понимать не как бихевиористски определенные диспозициональные концепты (disposition concepts) в языке наблюдения, а как теоретические конструкторы в теоретическом языке, введенные на основе постулатов и соотнесенные с языком наблюдения посредством правил корреспонденции (rules of correspondence)" [Сарнап 1955, 90]. (За определением понятия "диспозициональный концепт", для нас здесь не существенного, но игравшего довольно важную роль в системе взглядов Карнапа, мы отсылаем читателя к статье Д. Лахути "Диспозициональный предикат" [Философская энциклопедия 1962, 20].)

Как мы уже сказали, понятие метаязыка в отношении к языку-объекту у Карнапа является абстракцией некоего представления о действительном неравенстве интеллектов — интеллект тех, кто пользуется языком (языком-объектом), и ин-

теллект того, кто наблюдает их и этот язык с позиций метаязыка, неравны: второй выше первых; и эта картина представляется нам фантастической. Какие выводы могут быть сделаны из нее в гуманитарной (или, скорее, антигуманитарной) сфере, показывает следующее рассуждение А.И. Уемова, которое как раз и является таким выводом в его в целом интересном послесловии к книге Л. Тондла: "Автор (Л. Тондл. — Ю.С.) признает возможность существования психических состояний, не находящихся языкового выражения. Вместе с тем, чем более развит интеллект, тем более тесной становится его связь с языком. В связи с этим возникает заманчивая идея определения меры рациональности психики. Такая точка зрения, несомненно, вызовет возражения, в частности, со стороны лингвистов (вышесказанное нами можно рассматривать как таковое. — Ю.С.). Однако нам хотелось бы поддержать саму идею дифференциации связи языка и мышления применительно к различным психическим состояниям... Быть может, максимум рациональности сдвинут относительно максимума возможности адекватного языкового выражения. Эта возможность связана с тем, что язык создается людьми, психика большинства которых, естественно, не находится на максимальном уровне рациональности. Поэтому для меньшинства, достигшего этого уровня, может просто не найтись языковых выражений, адекватно представляющих их психическое состояние" [Уемов 1975, 452—453].

Повторим еще раз, что идея Карнапа осталась, к счастью, в пределах старой парадигмы философии языка.

3. КАРТИНА ЯЗЫКА В КОНЦЕПЦИЯХ МОДАЛЬНЫХ И ИНТЕНСИОНАЛЬНЫХ ЛОГИК 1980-х ГОДОВ

Модальные и интенциональные логики, несмотря на довольно большое разнообразие концепций в них, представляют собой с логико-философской точки зрения достаточно единую сферу исследований. Об этом говорит и характер книг, которые часто являются сборниками статей разных авторов, читающихся как главы одной книги [ср., например: Семантика модальных и интенциональных логик 1981; Арутюнова 1982; *Contemporary perspectives in the philosophy of language* 1979]. (В последней представлены такие статьи, как "Референция говорящего и семантическая референция" С. Крипке, "Референция говорящего, дескрипция и анафора" К. Доннеллана, "Неоклассическая теория референции" Дж. Катца, "Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность" Б. Холл Парти, "Пересмотр понятия интенционала" У. Куайна и др.)

Мы подойдем к этим концепциям именно как к единой сфере, выделяя в ней прежде всего те понятия, которые являются преобразованиями соответствующих понятий философии предиката и прямым продолжением некоторых понятий К.И. Льюиса и Р. Карнапа. (Следующий раздел построен на соотношении основных понятий новой парадигмы с соответствующими понятиями концепции Б. Рассела, см. гл. IV, 3.)

Понятие имени. Собственно говоря, единого понятия имени в этой философии языка нет. Оно распалось еще в предыдущий период, будучи замененным, под влиянием концепций Рассела, различными комбинациями дескрипций и кванторов. Даже понятие собственного имени (сингулярного термина, имени индивида, индивидуального имени), сохранявшее некоторые позиции у Рассела, оказалось сильно преобразованным. Теперь, как, например, в концепции Я. Хинтикки, исчезло само понятие обычного индивида и соответственно этому место собственного имени заняла индивидуализирующая функция. Следует кратко охарактеризовать взаимосвязь всех этих изменений с точки зрения философии языка.

В связи с понятиями имени в новой парадигме философии языка часто рассматривается следующая ситуация. Положим, я утверждаю:

(1) "Автор этого романа — талантливый человек".

Субъект этого предложения выражен определенной дескрипцией в смысле Рассела; предложение в целом может быть истолковано двояким образом:

(1a) "Автор этого романа (кто бы он ни был, положим, я действительно не знаю, кто он, и не связываю с дескрипцией никакое определенное лицо) — талантливый человек". В этом случае дескрипция употреблена атрибутивно (с точки зрения Рассела, это дескрипция, референцией которой является пустой класс);

(1б) "Автор этого романа (вот он, я говорю об этом единственном лице, я только забыл его имя) — талантливый человек". В этом случае дескрипция употреблена референтно, с целью выделить единственное лицо и указать на него, она приближается по значению к собственному имени, и притом употребленному в функции указания (Рассел сказал бы, что это "логически собственное имя").

Названное различие — атрибутивное и референтное употребление дескрипций — было предложено К. Доннелланом в 1966 г. [Доннеллан 1982]. Но очень скоро выяснилась его недостаточность. Положим, что ситуация, о которой идет речь, усложняется, и притом таким образом, как часто

случается в действительном употреблении языка: я по-прежнему утверждаю (1б), но лицо, о котором я говорю, в действительности не автор этого романа; я хочу сказать, что этот человек талантлив, он действительно талантливый человек, но я неправильно называю его "автором этого романа", — получается, при той же форме, утверждение (1в). Что в таком случае можно сказать об истинности моего высказывания? Рассел и Фреге сказали бы, вероятно, что оно не имеет смысла. А если бы к тому же действительный автор романа (которого я вовсе не имел в виду) оказался лицом бездарным, то Рассел и Фреге сказали бы, что мое утверждение (1в) ложно. Между тем вся наша языковая и логическая интуиция говорит нам, что это не так: мое утверждение (1в), что человек, которого я имею в виду, талантлив, истинно; я только неправильно называю его (и я вовсе ничего не говорю о действительном авторе романа).

Рассмотрев ситуацию таким образом, С. Крипке дал решение, отличное от предложенного Доннелланом [Kripke 1979 (первая публикация — в 1977 г.)]. Положим, говорит Крипке, и в действительности чаще всего так оно и бывает, мой собеседник прекрасно понял, что я имею в виду (как, я полагаю, и читатель понял, что мы имели в виду в предыдущем параграфе). Чтобы логически описать эту ситуацию, следует ввести иные, чем у Доннеллана, различия, установив следующие два понятия: "семантическая референция" — референция, которую имеет определенная дескрипция в соответствии со смыслом своих компонентов — "автор", "этот", "роман", т.е. в соответствии с семантикой языка; "референция говорящего" — та референция, которую с помощью этой дескрипции устанавливает говорящий (статья Крипке так и называется — "Speaker's reference and semantic reference"). Крипке показал, что это различие не совпадает ни с различием атрибутивного и референтного употребления референций до Доннеллану, ни с традиционным (идущим от античности) различием выражений *de dicto* и *de re*, хотя между всеми ними имеются пункты пересечений и совпадений. Но все же как можно логически описать мое утверждение (1в)? Так: "Ю.С. Степанов считает, что + Автор этого романа — талантливый человек"; известно, кого он имеет в виду под дескрипцией "автор этого романа", и он прав. Таким образом, в общем виде референция говорящего логически описывается как дескрипция в не прямой речи, в интенциональном контексте, а последняя не является ни референтной, ни атрибутивной [ср.: там же, с. 12; Donnellan 1979].

Прервем здесь рассуждение об имени, чтобы сделать не-

сколько замечаний общего характера. Хотя на первый взгляд кажется, что разница между решениями Доннеллана и Крипке лишь в логических терминах, однако в действительности она, по-видимому, более глубока. Решение Доннеллана по типу принадлежит к предыдущей, расселовской парадигме философии языка (хотя субъективно Доннеллан выступает против Рассела): язык рассматривается абстрагированным от ситуации употребления, в частности не предполагается, что у человека, произносящего фразы с дескрипциями, есть слушатели. Тонко разбирается, "что значит данное высказывание" (the sentence means), но не учитывается, "что имеет в виду говорящий" (the speaker means). А между тем различие этих двух вопросов характеризует различие двух парадигм философии языка.

Крипке именно на этом различии, учитывая оба вопроса, основывает свой подход. Таким образом, он вводит в контекст логического анализа "теорию речевых актов", и имена ее создателей — Стросона, Грайса и др. — часто упоминаются в этой связи. Однако теория речевых актов играет при этом, скорее, роль источника материала и практических наблюдений; созданная под влиянием прагматических взглядов, сама по себе она стоит все еще вне глубокой философской традиции и далека от современной логики и философии языка.

Вернемся к понятию имени. В указанной статье [там же] вводится различие между "определенными дескрипциями" и "твердыми определенными дескрипциями" (rigid definite descriptions). Первые (в формульном обозначении они вводятся йота-оператором: $\iota x \varphi(x)$) определяются как в общем виде "нетвердые": каждая такая дескрипция выбирает единственный объект (если таковой имеется) в каждом возможном мире, такой, что он имел бы свойство φ в данном мире (пустые дескрипции при этом не рассматриваются). Например, дескрипция "число планет", в некотором мире, где было бы восемь планет (этот мир не является действительным миром), имела бы денотатом число восемь, и в ситуации этого мира предложение "Число планет четно" было бы истинным относительно этой ситуации.

Вторые, "твердые определенные дескрипции" (в формульном виде, предложенном Крипке, они обозначаются видоизмененным знаком йота-оператора: $\iota x \varphi x$) вводятся семантически следующим соглашением: пусть $\iota x \varphi x$ имеет денотатом, по отношению ко всем возможным мирам, единственный объект, который в данном действительном мире имеет свойство φ ; тогда предложение "Число планет нечетно" (поскольку в действительном мире планет — девять) выражает

необходимую истину. Теоретически оба вида дескрипций могут быть введены в рамках одного формализованного языка [там же, с. 10].

Можно заметить определенную связь между этими понятиями Крипке и понятиями Льюиса. Во-первых, оба типа крипковских дескрипций отвечают понятию коннотации, или интенционала Льюиса; вспомним, что последний, по Льюису, ограничивается любым правильным определением термина (см. выше). Во-вторых, оба типа дескрипций отвечают льюисовскому определению сингулярного термина: последний есть термин, коннотация, или интенционал, которого исключает его приложение более чем к одной актуальной вещи. Наконец, в-третьих, имеется, по-видимому, связь, никем, кажется, не отмечавшаяся, между нетвердой дескрипцией Крипке и компрегенсией ("охватом") Льюиса: последний термин Льюис определяет как классификацию всех непротиворечиво мыслимых вещей, к которым термин правильно приложим независимо от того, существуют эти вещи или нет. Но тогда естественно напрашивается также связь между твердыми дескрипциями и денотацией, или экстенционалом, по Льюису, который есть класс всех актуальных, или существующих, вещей, к которым термин правильно приложим.

Но в этом случае, конечно, возникает вопрос о правомерности выделения такого класса из одного элемента, так как это влечет необходимость ввести "понятие индивида", "индивидуальный концепт". Именно последнее понятие (независимо от его связи с льюисовскими) вызывало резкие возражения со стороны некоторых логиков — приверженцев старой парадигмы взглядов на язык (такие возражения как раз и являются одним из самых важных признаков этой парадигмы). (Особенно сильно протестовал У. Куайн, называя индивидуальные концепты "вредными порождениями мысли", "исчадиями тьмы" [Quine 1956].) Но это понятие несколько не пугает, например, Хинтикку, о чем мы будем говорить ниже.

Уже из сказанного выше можно видеть, что центральное положение во всей этой проблематике занимает понятие имени, или, точнее, "именование индивида". Обнаруживается также тесная связь между: а) этим понятием, которое распадается по крайней мере на два — "нетвердые" и "твердые" дескрипции, б) понятием "интенциональный контекст", в особенности в) понятием контекста, или пропозициональной установки, со значением мнения, веры, г) понятиями "действительный мир" и "возможные миры", по отношению к которым определяется единственность индивида и соответственно твердый или нетвердый характер дескрипции, д) наконец, понятием

"иерархия языков". Но определяющим пунктом во всем этом комплексе проблем, стержнем, на который нанизывается все остальное, является понимание имени как функции.

Понятие предиката. Это понятие не играет в новой философии языка никакой особенной роли. Можно даже сказать, что оно в известной мере сливается с понятием имени. Основание для этого было обнаружено (хотя тогда на него не обратили большого внимания) уже в философии предиката: предикат есть по существу то же, что пропозициональная функция, хотя и определенная некоторым более абстрактным образом (см. гл. IV, 1). И понятие имени теперь — разумеется, за пределами философии имени — тоже рассматривается как функция.

В формализованных языках уже давно, в соответствии с классическими концепциями Фреге и Черча, денотат имени рассматривается как функция смысла имени. Иными словами, если дан смысл, то этим определяется денотат, хотя, как тонко замечает Черч, последний и не обязательно должен быть известен каждому знающему смысл [Черч 1960, 20, 27]. Это положение в известной мере верно и для естественных языков, в особенности для их явно производных слов такого типа, как, например, рус. *укладчик* = тот, кто или то, что укладывает, или англ. *the speaker* = тот, кто говорит; говорящий [см.: Степанов 1964]. Описания подчиняются этому определению. Производными понятиями от имени как функции являются два более частных специальных понятия: йота-оператор, или оператор описания $i x A(x)$ — "тот x , который имеет свойство A " (см. также выше в применении Крипке), и лямбда-оператор λx , или оператор абстракции, абстрагирующий саму функцию, заключенную в имени, это — "та функция, которая, будучи применена к смыслу имени x , дает его денотат" (см. также гл. I, 1).

Понимание и имен и предикатов как функций, влекущее в известной мере их отождествление, играет большую роль в рассматриваемой парадигме.

Иерархия языков. По-видимому, полнее всего она изложена у Я. Хинтикки, в частности в статье 1969 г. "Семантика пропозициональных установок" [Хинтикка 1980; см. также: Садовский, Смирнов 1980].

Первопорядковый язык, наиболее простой в иерархии, или первопорядковая логика, состоит, как обычно, из индивидуальных констант ("имен") и предикатных констант (предикатов). В соответствии с только что отмеченной чертой всей данной парадигмы и те и другие понимаются как функции и объединяются в одну "функцию интерпретации" φ . Иными

словами, функция интерпретации обладает следующими свойствами:

1) для каждой индивидной константы a первопорядкового языка $\varphi(a)$ — элемент индивидной области I (она, как всегда, представляет собой совокупность объектов, о которых говорит этот язык);

2) для каждой предикатной константы Q (скажем, n -местной) $\varphi(Q)$ есть некоторое множество кортежей элементов области I длины n .

Хинтикка очень тонко подметил, что для такого первопорядкового языка значение — это и есть референция (нет никакого "значения", отличного от референции сингулярных терминов и предикатных констант). А поэтому и теория референции является вместе с тем теорией значения [там же, с. 68] (нечто подобное имеет место и в нашем "Языке-1", описанном в гл. VII).

На наш взгляд, первопорядковый язык, как он описан Хинтиккой, не исключает пропозициональных установок — они могут быть в нем выражены (хотя Хинтикка, кажется, предполагает обратное). Но это пропозициональные установки в смысле Черча, в самом "слабом смысле", как говорит о них Карнап (см. гл. VI, 2): говорящий на этом языке не знает, что он выражает пропозициональную установку; он может сказать: "Я считаю, что идет дождь" или "Джон считает, что идет дождь", но для него это предложение того же типа, что "Я вижу, что идет дождь", "Я слышу, как играет музыка", "Джон видит, как..." и т.п.

Следующий в иерархии (вверх) язык — это язык с пропозициональными установками. Здесь они понимаются в "сильном смысле" — говорящий знает, что он выражает пропозициональную установку, и в дальнейшем рассуждении имеется в виду не просто содержание этой установки, а именно тот факт, что некоторое лицо обладает ею. Для характеристики этого языка Хинтикка сразу вводит понятие возможных миров. Когда мы используем пропозициональные установки в этом языке, например говоря (a — субъект установки) " a знает, считает, помнит, надеется, хочет, что p ", мы рассматриваем сразу несколько возможных состояний нашего мира в будущем или в прошлом. «Здесь кажется более естественным, — отмечает Хинтикка, — говорить о различных возможных состояниях нашего "действительного" мира, чем о нескольких возможных мирах. Однако с позиций логического и семантического анализа второе словосочетание значительно уместнее первого, хотя и приходится признать, что оно звучит несколько странно и, по-

жалуй, даже склоняет к предположению, что речь идет о чем-то гораздо менее привычном и реальном, чем это есть на самом деле. При нашем словоупотреблении всякий, кто когда-либо готовился к более чем одному направлению развития событий, тем самым имел дело с несколькими „возможными направлениями развития событий“, или, иначе говоря, „возможными мирами“» [там же, с. 74].

Приписывание пропозициональной установки некоторому лицу a связано с разделением всех возможных миров (различимых средствами данного языка) на два класса: один — возможные миры, согласующиеся с данной установкой, другой — несовместимые с ней. Например, в случае „ a помнит, что...“ к первому классу относятся возможные миры, совместимые со всем, о чем помнит a .

Каждый возможный мир (μ) содержит некоторое множество индивидов $I(\mu)$. Теперь интерпретацией индивидуальных констант и предикатов становится двухместная функция $\varphi(a, \mu)$ или $\varphi(Q, \mu)$, которая зависит также и от мира μ , о котором идет речь.

Субъект установки может иметь различные установки в различных мирах, о которых идет речь в рамках данного языка. Поэтому функция интерпретации становится отношением, которое с данным субъектом и с данным возможным миром μ ассоциирует некоторое множество возможных миров — альтернатив μ , становится отношением альтернативности. Обозначив установку через B , получаем две следующие формулировки:

B_{ap} истинно в некотором возможном мире μ тогда, и только тогда, когда p истинно во всех альтернативах μ ; и, вторая формулировка, при выражении через функцию: B_{ap} истинно в μ тогда, и только тогда, когда p истинно в каждом элементе множества $\varphi_B(a, \mu)$.

Хинтиikka отмечает, что во всем остальном интерпретация осуществляется точно так же, как в первопорядковом языке, и его семантические правила остаются действительными и здесь, включая и правила для кванторов, кроме тех случаев, где выражения для пропозициональных установок встречаются в области действия квантора [там же, с. 76]. Но это и означает, по нашему мнению, что хинтикковский первопорядковый язык уже содержит в неявном виде пропозициональные установки, но только особого („слабого“) вида: субъект установки (a) не знает, что он выражает установку; в сфере действия установки не должны встречаться кванторы. Может быть, есть и еще какие-то ограничения, которых мы пока не видим.

Все-таки с точки зрения лингвистики реального языка во

всем этом у Хинтикки остается какая-то большая неясность: если на языке, следующем в иерархии за первопорядковым, возможны высказывания типа "а считает (помнит, надеется и т.д.), что...", то кто их произносит? Очевидно, не сам *a*. Но тогда возникает вопрос: произносящий это высказывание (положим, сам Хинтикка) является носителем этого языка или же рассматривает его извне, являясь носителем какого-то следующего в иерархии языка, метаязыка, по отношению к которому рассматриваемый язык выступает как язык-объект?

Все эти вопросы уже возникали в настоящей книге в связи с иерархией языков Рассела (см. гл. IV, 3). Но у Рассела было ясно, что язык, на котором возможно обсуждение пропозициональных установок, сам является языком высшего типа относительно того языка, которому принадлежат пропозициональные установки.

С точки зрения лингвистики возможно, однако, предположить и другое, а именно что Хинтикка в сущности рассматривает разные фрагменты одного и того же языка, но только под названием первопорядкового языка такой его фрагмент, в котором не встречаются пропозициональные установки, а во втором случае — другой фрагмент, в котором они встречаются, а в следующем разделе речь идет о третьем фрагменте того же самого языка: там Хинтикка рассматривает сингулярные термины и квантификацию в контексте с пропозициональными установками (это как раз название раздела). Если данное предположение верно, то "фрагмент" здесь совпадает с "возможными случаями употребления": 1) сначала (первопорядковый язык) рассматривается употребление языка в простейших случаях — без пропозициональных установок (возможность которых, однако, предусмотрена всем строем этого языка); 2) затем речь идет об использовании того же языка в более сложных случаях — когда надо выразить пропозициональные установки; 3) наконец, рассматривается употребление того же языка в наиболее сложных случаях — когда в контексте с пропозициональными установками встречаются сингулярные термины и кванторы.

Второе предположение тем более правдоподобно, что вся эта работа Хинтикки направлена к установлению как бы "сквозных" — для всех и все более усложняющихся случаев — функций интерпретации, которые в результате и получают обобщение в виде "индивидуализирующих функций" (мы сейчас к ним вернемся).

Но, поскольку трудно решить, какое из двух предположений вернее, я склоняюсь к первому, т.е. рассматриваю три группы хинтикковских случаев как три различных языка,

расположенных в определенной иерархии; впрочем, уже видно, что это иерархия не расселовского вида.

Третий язык и понятие индивидуализирующих функций. Третий язык (или, может быть, третья группа употреблений того же языка) — это, как уже было сказано, язык, позволяющий правильно употреблять сингулярные термины и производить квантификацию в контекстах с пропозициональными установками. Что это реальная проблема, показывают случаи действительного употребления языка. Ср. два случая применения сингулярных терминов в следующей реальной ситуации (пример, приведенный С. Крипке в указанной работе). Двое говорящих, А и Б, смотрят на некую пару и обсуждают, как нежно Он обращается с Ней, причем А считает, что Он — Ее супруг, а Б знает, что нет и что Ее действительный супруг груб и жесток с Ней:

1-й диалог. А. Ее муж нежен с ней.

Б. Нет, ее муж не
нежен с ней. Че-
ловек, о котором
вы говорите, не
ее муж.

2-й диалог. А. Ее муж нежен с ней.

Б. Он нежен с ней,
но только это не
ее муж.

В концепции Крипке ситуация должна быть описана таким образом. А использует выражение *ее муж* в обоих случаях одинаково, т.е. равно и как семантический референт, и как референцию говорящего А и соглашается с ним, но, зная, что логически он использует выражение *ее муж* только как семантический референт, и для референции к тому лицу, о котором говорит А, ему требуется другое выражение — *человек, о котором вы говорите*. Во втором диалоге Б сразу использует референцию говорящего А и соглашается с ним, но, зная, что это не семантическая референция, использует для нее местоимение *он*.

С нашей точки зрения, эта ситуация может быть описана и иначе: говорящий А говорит на собственном диалекте (идиолекте), который во всем совпадает с диалектом говорящего Б, кроме некоторых частных: так, выражение *ее муж* означает у него другое лицо, нежели в диалекте Б. Возможно еще и третье описание: в двух индивидуальных "диалектах", А и Б, одно и то же лицо — тот мужчина,

который находится в данный момент с данной женщиной, называется по-разному: у *A* — "ее муж", у *B* — "он".

Нам кажется, точка зрения Хинтикки была бы ближе всего к третьему описанию. Действительно, говорящие *A* и *B* рассуждают как бы в разных мирах, в которых действуют разные пропозициональные установки: *A* считает, что этот мужчина — муж этой женщины; *B* знает, что этот мужчина — не муж этой женщины. Чтобы не усложнять излишне описание ситуации, мы могли бы принять, что установка *B* является простым отрицанием установки *A*: *B* не считает, что этот мужчина — муж этой женщины. Тем не менее и *A* и *B* говорят об одном и том же мужчине.

Эту задачу Хинтикка и разрешает в общей форме. Семантическая теория, говорит он, должна дать способы "перекрестного отождествления" индивидов, т.е. отвечать на вопросы о тождественности индивидов, принадлежащих к разным возможным мирам [Хинтикка 1980, 87]. Хотя мы рассмотрели только пример на употребление сингулярного термина, но основное назначение хинтикковского понятия заключается в том, "чтобы придать смысл квантификации контекстов с пропозициональными установками" [там же, с. 91].

Для перекрестного отождествления вводится множество функций *F*, каждый элемент которого $f \in F$ выделяет из индивидной области *I* (μ) каждого данного мира μ не более одного индивида. При этом в некоторых случаях элементы множества *F* фактически можно рассматривать как имена или как индивидные константы, которые выделяют один и тот же индивид во всех возможных мирах, т.е. имеют один и тот же референт. В других же случаях удобнее пользоваться самими функциями $f \in F$, поскольку значение сингулярного термина определяется не столько случайно присущим ему референтом, сколько способом установления этого референта. Таким образом способ установления референта (определенная функция) становится самостоятельной семантической сущностью, становится, как сказали бы многие, интенционалом особого рода. В связи с этим возникает целый ряд важных логико-философских проблем.

Во-первых, как отмечает Хинтикка, использование этого понятия функции "хорошо подчеркивает один из наших чрезвычайно важных и нетривиальных врожденных концептуальных навыков, а именно способность распознавать тождество индивида при различных обстоятельствах и при различных направлениях развития событий" [там же, с. 89].

Во-вторых, сами по себе «элементы *F* не являются элементами возможного мира; они не являются частью наших

представлений о „содержании” этого мира. Они должны „иметь место” или, пожалуй, даже „существовать”, они, безусловно, „объективны”, но не играют никакой онтологической роли» [там же, с. 94].

Возникает соблазн трактовать такие функции как особый класс „индивидуальных концептов”, но эти два класса не совпадают: индивидуализирующие функции, или функции отождествления, задают „способ индивидуализации”, но не обязательно находят определенный индивид; с другой стороны, не каждому произвольному сингулярному термину рассматриваемой области I (μ), выделяющему в ней некоторый индивид, т.е. „обычный индивид”, может сопутствовать функция из класса F [там же, с. 95].

Теперь можно вернуться к упомянутому вопросу: является ли система Хинтики иерархией языков или обобщениями различных комплексов ситуаций использования языка? На основании изложенного нам ответ неясен.

Система Монтегю в этом отношении построена более прозрачно. Три координаты Монтегю, как они резюмированы В.З. Демьянковым [Демьянков 1982, термины 2569—2571], в основном совпадают, на наш взгляд, с тремя измерениями, о которых идет речь в нашей книге: 1) „координата отнесения” (assignment coordinate), т.е. «бесконечная последовательность объектов, рассматриваемая как задающая значения переменных в выражениях типа „ x высок” или „ A — сын B », — это координата *семантики*; 2) „координата контекста” (contextual coordinate), по существу „несколько координат — времени, места, говорящего, аудитории, указываемого объекта, предшествующего дискурса”, — это расширенно понятая координата *синтактики*; по крайней мере „координата предшествующего дискурса” определенно относится к синтактике; 3) „координата возможного мира” (possible world coordinate), в которую „входят факторы истинности или ложности относительно конкретных возможных миров”, — это координата *прагматики*.

У Монтегю его так называемый прагматический язык L является формальным метаязыком по отношению к естественному языку, хотя при интерпретации языка L „прежде всего мы должны определить множество всех возможных ситуаций использования” [Монтегю 1981а, 226] (см. также выше, гл. VI, 1). Иерархия языков у Монтегю представляет собой иерархию логических метаязыков, каждый из которых описывает соответствующие множества ситуаций использования. В порядке увеличения силы этих метаязыков естественными системами являются: 1) узкая модальная логика,

т.е. содержащая только индивидуальные термы и логический оператор (необходимости); 2) прагматика, в которой содержатся произвольные внелогические пропозициональные операторы (одноместные или многоместные, но не связывающие переменных); 3) расширенная прагматика, которая содержит произвольные операторы, связывающие переменные; 4) второпорядковая система, набросок которой был сделан самим Монтегю; 5) системы высших порядков, построенные по этому образцу [Семантика модальных и интенциональных логик 1981, 316].

Система Монтегю более ясна в отношении иерархии: речь в ней идет об иерархии метаязыков. Но с лингво-логической точки зрения она менее интересна, чем система Хинтикки.

Понятие причинной истории, или каузальной истории (causal history), — одно из понятий новой семантики, ориентированной на прагматику (дектику). В сущности, прежде всего это понятие — неформальный аналог формального понятия твердого десигнатора и индивидуализирующих функций. Если говорящий (и в более общем случае всякий носитель языка) должен уметь отождествлять одного и того же индивида в разных возможных мирах, — а мы уже видели выше, что это понятие описывает некоторые весьма обычные случаи употребления языка, — то говорящий должен уметь связывать одно имя с разными превращениями одного индивида и, наоборот, разные имена, соответствующие разным ситуациям и мирам, — с одним и тем же индивидом. Примером первого может служить, скажем, такая ситуация: мы спрашиваем: *А как теперь Ванечка?*, и нам отвечают: *Спасибо, он уже Иван Иванович, женился, сам имеет сына, кстати тоже Ванечку*. Несмотря на возможную путаницу и спрашивающий и отвечающий прекрасно понимают друг друга в силу знания "истории" имени *Ванечка* в их идиолекте. Более сложный случай — имена родов и видов животных. Почему имя *кит* в наше время связывается с тем же животным, с каким связали его наши предки в незапамятные времена? Очевидно, потому, что имеется некая непрерывная история передачи имени — его "причинная история". И хотя наши предки, скорее всего, помещали кита в иной мыслимый мир (в некоторых языках, скажем в английском и русском, он прямо связывается с рыбами — рус. *рыба-кит*, англ. *whale-fish*), а мы твердо знаем, что это млекопитающее, тем не менее мы прилагаем это имя к тому же животному, и, главное, мы уверены, что это то же самое животное.

Примером второй ситуации может служить такой случай, когда мы отождествляем как одного и того же индивида чело-

века, которого называют то *Иван Иванович*, то *отец Ванечки*, то *завотделом*, то *наш толстяк* и т.п. Могут встретиться и ситуации иного рода — когда носитель языка должен уметь различать индивидов, обладающих одним и тем же именем типа нетвердой дескрипции: например, *ее муж — Она каждый раз приходила на Новый год со своим мужем* (но ее мужем был каждый раз иной мужчина).

Конечно, само явление, называемое теперь причинной историей имени, для исследователей семантики не ново. Оно известно в частном случае как "внутренняя форма слова" в концепции А.А. Потебни, как "этимология", как "семантическая история слова" и т.д. Его ближайшим прообразом является "порядок вхождения дескрипций в текст" в концепции Б. Рассела (см. гл. IV, 3). Новым в новом понятии является то, что оно связывает причинную историю с семантической структурой имени, а последняя освещается теперь существенно иначе, чем, скажем, во времена А.А. Потебни. В частности, большой и интересной проблемой является следующая. Если принять наиболее тонкую концепцию смысловой структуры имени, концепцию К.И. Льюиса, в которой выделяются четыре "модуса значения" (см. гл. VI, 2), то с каким из модусов связана фиксация имени на протяжении истории — с денотатом? интенционалом? компрегенсией? или сигнификацией? Мы видели выше, что уже со времен схоластов — и, в общем, справедливо — устойчивость имени связывали с его сигнификацией. Но теперь, когда рядом с этим семантическим понятием появились еще два — "интенционал" и "компрегенсия", не следует ли уточнить это утверждение? (На наш взгляд, конечно, следует.) В рамках новой парадигмы вопрос обсуждался, пока без окончательного результата, в целом ряде работ [см., например: Холл Парти 1983, там же библиография].

Вот, пожалуй, и все, что мы можем сказать о новой парадигме в рамках этой книги.

Не создается ли впечатление, что в области философских проблем языка постепенно снова возвращаются к уже оставленным вопросам, прежде всего к семантике, причем даже к семантике имени? Да. Нам кажется, что такое впечатление не обманчиво, а отражает самую суть дела. Завершив описание прагматики или находясь близко к его завершению, парадигма начинает новый виток спирали — описанием семантики, за которым последует, вероятно, описание синтактики, но уже обогащенное прагматикой, и, наконец, снова описание прагматики на новом, более высоком уровне.

Что значит, например, что начнется новое описание син-

тактики с учетом прагматики? Как это можно себе представить? Видимо так, что в описании будут учитываться все более длинные текстовые последовательности — не только предложения, но и их последовательности — абзацы, и не только абзацы, но и последовательности абзацев и т.д. И параллельно этому ситуация использования языка будет все более глубоко освещаться — по мере увеличения длины текста будет все более проясняться личность автора, характер его адресата, представления того и другого о мире и т.д. — все это станет предметом единого, унифицированного, строгого описания языка. (Но, конечно, слово "прагматика" не следовало бы употреблять, во всяком случае без кавычек, после того как введен термин "дектика").

Чтобы перейти к поэтикам этой новой парадигмы, — а они связаны в особенности с понятием индивидов в разных возможных мирах, — вернемся еще раз к уже рассмотренной ситуации. Положим, Она каждый раз являлась на Новый год со своим мужем (но мужем был каждый раз иной мужчина). Разновидностью этой ситуации, относящейся к будущему, будет, например, следующая: Я ищу маляра, который будет делать мне ремонт; но при этом в одном случае я могу искать индивида, с которым я уже знаком и лишь на время потерял его, а в другом случае — еще не известного мне индивида, который должен удовлетворять единственному признаку — "он будет делать мне ремонт"; многие языки имеют средства, с помощью различных артиклей и наклонений, легко различить эти два случая, русский тоже — *Я ищу маляра, который будет делать...*; *Я ищу маляра, который сделал бы...*

Однако в общем случае, т.е. логически, при неограниченно возрастающем количестве индивидов и миров, описать эти различия оказывается сложной задачей. К таким ситуациям можно отнести следующее высказывание Хинтикки: "Дело в том, что индивидуальная константа, встречающаяся в области действия некоторого оператора пропозициональной установки типа *B* (т.е. мнения, веры. — Ю.С.), не выделяет из множества всех индивидов какой-либо единственный индивид. Скорее, она выделяет по индивиду в каждом из возможных миров, которые нам приходится рассматривать. Попробуйте заменить эту константу индивидуальной переменной, и вы не сможете описать результат этой замены, даже используя все индивиды, по которым пробегает эта переменная. Поэтому мне кажется, что в данной ситуации вообще не существует однозначно определенных индивидов" [Хинтикка 1980, 82].

Подобные логические проблемы являются аналогами некоторых основных положений "поэтик эгоцентрических слов".

4. ПОЭТИКИ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИХ СЛОВ

4.0. Вводные замечания

Нет необходимости подробно говорить здесь (это сделано в гл. IV, 5), что соответствия между поэтиками и филологиями языка могут быть соответствиями по содержанию и по методу (последние мы назвали формальными). Нет, разумеется, ничего общего с формальной стороны между утверждениями Хинтикки, которыми мы закончили предыдущий раздел, и следующим ниже стихотворением Лермонтова, но есть большое сходство в содержании. Индивиды в логическом возможном мире могут "расщепляться" в том смысле, что одному имени будет отвечать иной индивид, чем в действительном мире, или несколько индивидов, тогда как в действительном мире он был один. И разве не о чем-то подобном говорит стихотворение (1841) Лермонтова? Стихотворению предпослан эпиграф из Гейне (да оно и является свободным переводом из Гейне):

Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt' es dem andern gestehn.

Heine

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но как враги избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье,
И милый образ во сне лишь порою видали. —
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

Последняя (выделенная нами) строчка, — а нам кажется, ради нее и написано все стихотворение, — содержит предчувствие новых реальных и трагических человеческих проблем в реальном разделенном на противопоставленные миры мире и предчувствие новых прекрасных поэтик.

Содержательные (различные) поэтики эгоцентрических слов — впрочем, все в той или иной мере связанные с поисками в области формы речи — это поэтика Музиля, поэтика Пруста и отчасти поэтика Горького в его автобиографической трилогии и в романе "Жизнь Клима Самгина". Сюда же нужно отнести отчасти теорию театра Брехта.

Формальные поэтики эгоцентрических слов — это разнообразные "малые" экспериментальные поэтики многих авторов и литературных течений XX в. — от русского имажинизма до "нового романа" во Франции. Формальные поэтики также в определенной мере связаны с поисками нового содержания,

но последнее занимает в них гораздо меньше места по сравнению с поэтиками первого типа. Собственно говоря, "формальный" здесь означает "экспериментирующий над речью произведения", но экспериментирующий в особом направлении "эгоцентрических координат".

Параллельно сдвигам в художественном сознании быстро развивалась "теория художественной речи". Уже в книге В.Н. Волошинова "Марксизм и философия языка" (Л., 1929) вся третья часть "К истории форм высказывания в конструкциях языка" посвящена вопросу о том, как на протяжении веков происходит постепенная переориентация речи изображаемого персонажа — прямых реплик или так называемой косвенной речи на новые координаты — на "Я" автора, вследствие чего возникают различные формы "несобственной прямой речи". В XX в. новые формы выдвигаются на центральное место в художественной литературе, и это значит, что вместе с ними выходят на первый план и соответствующие им новые поэтики. В той мере, в какой последние занимаются проблемой речи, они формальные поэтики, а занимаются этой проблемой по необходимости должны они все, это вытекает из самой природы новых речевых отношений. «„Чужая речь“, — писал Волошинов, — это речё в речи, высказывание в высказывании, но и в то же время это и речь о речи, высказывание о высказывании» [Волошинов 1929, 136]. Прообраз этого теоретического положения мы увидим в поэтике М.Горького (см. ниже).

В те же годы быструю эволюцию в направлении к эгоцентрическим словам (в нашей терминологии) проходит концепция художественной речи акад. В.В. Виноградова [1971]. "Образ автора, — пишет акад. Д.С. Лихачев, — как предмет изучения и в еще большей мере как особая сфера, в которой лежит объяснение единства различных стилистических пластов языка художественной литературы, был особенно существен для той новой науки о языке художественной литературы", которую создавал В.В. Виноградов [Лихачев 1971, 212]. Но «„образ автора“, — отмечает другой исследователь взглядов В.В. Виноградова, — родился как дитя „языкового сознания“, сначала почти не отличимое от родителя; как и „языковое сознание“, свой первый и самый общий контур он получил в размышлениях над лирикой — Ахматовой, Есенина, Некрасова, И. Анненского, Вл. Соловьева, символистов. Но теперь в анализе поэзии Виноградов решительно переключается от „символики“ к „субъективности“» [Чудаков 1980, 310]. А это переключение в свою очередь было связано с иной, не "синтактической" философией языка вообще. А.П. Чудаков отме-

258

чает: "Для Виноградова... формальный метод, к которому он был так или иначе близок, не исключал внутреннего тяготения (невозможного для членов Оползня) к противоположному полюсу — феноменологическому. Напряжение между этими методологическими возможностями и обуславливало своеобразие его научной позиции начала 20-х годов" [там же, с. 312].

Учитывая опыт "теории художественной речи", мы стараемся, однако, ниже более непосредственно проследить некоторые, по большей части никем не отмеченные, параллели новой философии языка и ряда зачастую предшествующих ей и опережающих ее поэтик.

4.1. Поэтика "человека без свойств" в XX в. Р. Музиль

Войти в мир Роберта Музиля (1880—1942), пишет А.В. Карельский, одного из крупнейших австрийских и вообще немецкоязычных писателей XX в., — нелегкая задача. Музиль показывает мир сознания современного человека — и даже, сказали бы мы, не один, а разные "возможные интенциональные миры", — и действие в его произведениях происходит, строго говоря, внутри этого сознания; через него преломлены все предметы и люди внешнего мира, оно их отбирает и располагает по значимости, оно их интерпретирует [Карельский 1980, 3]. Из всех художников слова XX в. Музиль, пожалуй, наиболее прямо создает своей поэтикой аналог логической концепции возможных миров.

Мы бегло упомянем лишь трехтомный роман Музиля "Человек без свойств" ("Der Mann ohne Eigenschaften", 1930—1943), название и тема которого явно стоят в связи с "человеком без свойств" Ибсена и Достоевского (гл. IV, 5.1). Музиль по-своему последовательно шел к этой теме, очищая понятие "свойство" от слишком конкретных черт реальности. Новелла "Тонка" (1923) первоначально должна была называться "Человек без чувств"; позднее Музиль пишет рассказ "Человек без характера" и, наконец, параллельно — "Человек без свойств". Чувства — черты характера — свойства — таковы последовательные ступени восхождения от частного к общему.

«Ведь каждый житель страны, — писал Музиль в „Человеке без свойств“, — имеет по меньшей мере девять характеров: профессиональный, национальный, государственный, классовый, географический, половой, осознаваемый, неосознаваемый и еще, наверно, личный характер, который все их в себе объединяет, но они размыывают его, и он, собственно, не что иное, как маленькая лощинка, затопленная водой

многих ручейков»; десятый, последний характер противостоит всем остальным: «он разрешает человеку всё, кроме одного: всерьез воспринимать все эти девять характеров» [Musil 1980, 380]. Пожалуй, эта концепция ближе всего к ибсеновской в "Пер Гюнте". Но "человек без свойств" в музилевском романе — это уже продукт XX в.

В романе есть глава с названием "Если есть смысл действительности, то должен быть и смысл возможности". Она начинается словами:

«Если кто-либо хочет успешно пройти в открытую дверь, он должен учитывать тот факт, что двери имеют твердые косяки: этот принцип, согласно которому всегда жил старый профессор, есть всего лишь требование, вытекающее из смысла действительности. Но если есть смысл действительности и никто не оспаривает, что он обладает полномочиями наличного бытия, то должно быть и нечто, что можно назвать смыслом возможности.

Тот кто им обладает, никогда не скажет, например: „Здесь произошло то-то и то-то, произойдет то-то и то-то, должно произойти то-то и то-то“; он устанавливает: „Здесь может или должно произойти то-то“, а если ему объясняют, что дело обстоит именно так, как оно обстоит, он думает: „А могло бы быть и иначе“. И смысл возможности можно определить именно как способность мыслить всё, что могло бы быть с такой же вероятностью, с какой произошло всё, что произошло, а то, что есть, не считать более важным, чем то, чего нет» [там же, с. 131].

Ульрик, герой романа, говорит: "В необозримой протяженности времени бог создал не одну только эту жизнь, которой мы сейчас живем, она ни в коей мере не истинна, она лишь одна из его многих — и, будем надеяться, осмысленных — попыток; он не вложил в нее для нас, для тех, кто не ослеплен данным мгновением, никакой обязательности" [там же, с. 13]. Понятно, почему мы рассматриваем поэтику Музиля в контексте философии возможных миров и эгоцентрических слов.

Возможный мир, "иное состояние" (*der andere Zustand*) — вот мир, или, точнее, миры, его романа, и им, естественно, соответствует герой, не обладающий раз навсегда закрепленными за ним свойствами одного данного, реального мира. Музиль был неудовлетворен психологизмом Гауптмана и Ибсена, потому что у них характеры были детерминированы обстоятельствами данного мира, психологически (кроме, конечно, Пера Гюнта). Музиль же хотел детерминировать характер этически, т.е. возможными, притом всеми возмож-

ными, обстоятельствами "возможных миров" [ср.: Карельский 1980, 19].

По-видимому, именно в таком, втором, значении следует понимать и слова Достоевского о себе: "я не психолог, а реалист в высшем смысле" (Биография, письма, заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб., 1883, с. 373). Быть писателем-реалистом "в высшем смысле" — значит описывать поступки персонажей как детерминированные не психологически и не обстоятельствами конкретной действительности (среды, обстановки и т.д.), а как детерминированные их, и соответственно автора, представлениями об этически должном, но, по отношению к действительности, лишь возможном мире.

4.2. Русский имажинизм — "малая поэтика эгоцентрических слов"

Русские имажинисты 1920-х годов, главным образом теоретики — В. Шершеневич, А. Мариенгоф, Р. Ивнев, создали, главным образом в теории, поэтику имажинизма (от франц. *image* 'образ'). Имажинизм был слабым литературным течением, но провозглашенная им поэтика оказалась едва ли не первой "поэтикой эгоцентрических слов" (это название, разумеется, дали не имажинисты, а мы в этой книге). Вообще все поэтики модернизма — формалистов, футуристов, имажинистов, позднее структуралистов и даже, хотя в меньшей степени, символистов — некоторыми чертами, в особенности "операциями над словом", близки друг к другу. Для части поэтик — формалистов и символистов — этот факт уже отмечался [Мясников 1975]. Посмотрим теперь на их различия в отношении к слову в большем приближении.

Подобно футуристам и особенно Хлебникову, имажинисты устремлялись к глубинному образу слова: «Необходимо помнить всегда первоначальный образ слов, забывая о значении. Когда вы слышите „деревня“, кто, кроме поэта имажиниста, представляет себе, что если *деревня*, то значит все дома из *дерева*, и что *деревня*, конечно, ближе к *древесный*, чем *село*. Ибо *город* это есть нечто огороженное, *копыто* копающее, *река* и *речь* так же близки, как уста и устье» (В. Шершеневич. Ломать грамматику, 1920 г. [Литературные манифесты 1929, 103]).

Подобно Рембо и символистам, и особенно Вяч. Иванову, имажинисты видели основное слово в имени существительном: «Существительное — это тот продукт, из которого готовится поэтическое произведение. Глагол — это даже не печальная необходимость, это просто болезнь нашей речи,

апендикс поэзии. И поэтому началась ревностная борьба с глаголом; многочисленные опыты Мариенгофа („Магдалина“, „Кондитерская солнц“), Шершеневича (в „Плавильные слов“, в „Суламифь городов“) и др. наглядно блестяще доказали случайность и никчемность глагола. Глагол — это твердый знак грамматики (т.е. буква „ъ“, которая в то время была почти исключена из русского правописания. — Ю.С.); он нужен только изредка, но и там же можно обойтись без него... Поэтому так радостно встретить каждую неправильность грамматики, каждую аграмматичность.

Где дикий крик безумной одиночки,
Где дикий крик безумного меня»

[там же, с. 107].

”Существительное есть сумма всех признаков данного предмета, прилагательное — лишь один признак... прилагательное — это обезображенное существительное” [там же, с. 109].

«Протяните цепи существительных, в этом правда Маринетти (имеется в виду итальянский футурист. — Ю.С.)... Маринетти, потерявший когда-то фразу „поэзия есть ряд непрерывных образов, иначе она только бледная немочь“, фразу, которую все книги имажинистов должны были бы носить на лбу, как эпиграф, уже требовал разрушения грамматики» [там же].

”Мы хотим славить несинтаксические формы. Нам скучно от смысла фраз: доброго утра! Он ходит!.. Нам милы своей образностью и бессмысленностью несинтаксические формы: доброй утра! или доброй утры! или он хожу!” [там же, с. 112].

Сходным образом В. Шершеневич рассматривает все части речи — от существительного до предлогов, возводя их в ранги сообразно степени аграмматичности. И тогда делается понятным — столь важное для имажинистов — отличие их от футуристов: ”Не заумное слово, а образное слово есть материал поэтического произведения” [там же, с. 110]; «Когда-то Хлебников пытался найти внутреннее склонение слов. Он доказывал, что „бок“ это есть винительный падеж от „бык“, потому что бок — это место, куда идет удар, бык — откуда он идет. Лес — это место сволосами, а лыс — без волос. Он хотел доказать невозможное, потому что образ не только не подчинен грамматике, а всячески борется с ней, изгоняет грамматику» [там же, с. 106].

В своем требовании ”аграмматической формы” русские имажинисты выступили предвестниками будущего французского структурализма в поэтике.

Необходимо все же, хотя бы бегло, коснуться обществен-

ной позиции имажинизма. В 1927 г. группа имажинистов распалась, а уже в 1928 г. В. Шершеневич писал: "Имажинизма сейчас нет, ни как течения, ни как школы.

Причины зарождения и кончины имажинизма закономерны, как и всё в истории литературы.

Имажинизм появился как противовес футуризму. Футуризм был возрождением натурализма. Исконная борьба натурализма с романтизмом должна была выдвинуть противника футуризму, и этим противником явился имажинизм.

Борьба была крепкая и насмерть" [там же, с. 127].

По-видимому, эта самооценка в основном верна. Но, устанавливая новый канон, имажинизм не мог не прийти в противоречие со своей романтической сутью и не распасться. Это уже задолго до того пророчили слова временного "имажиниста в теории" Есенина.

Еще в 1920 г. Есенин писал: «Они хотят стиснуть нас руками проклятой смоковницы, которая рождена на бесплодие; мы должны кричать, что все эти пролеткульты есть те же самые, по старому образцу, розги человеческого творчества. Мы должны вырвать из их звериных рук это маленькое тельце нашей новой зры, пока они не засекли его. Мы должны сказать, так же, как сказал придворному лжецу Гильденштерну Гамлет: „Черт вас возьми! Вы думаете, что на нас легче играть, чем на флейте? Назовите нас каким угодно инструментом — вы можете нас расстроить, но не играть на нас“. Человеческая душа слишком сложна для того, чтобы заковать ее в определенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии или сонаты. Во всяком круге она шумит, как мельничная вода, просасывая плотину, и горе тем, которые ее запружают... Так на этом пути она смела монархизм, так рассосала круги классицизма, декаданса, импрессионизма, футуризма, так сметет она и рассосет сонм кругов, которые ей уготованы впереди» ("Ключи Марии") [там же, с. 119].

Обращенные против всякого стесняющего канона в поэзии, эти слова разили и имажинизм.

В заключение нужно лишь сказать, что лучшие образцы поэтической практики имажинистов, стихи самого Есенина, его "имажинистского периода", не имеют, к счастью, почти ничего общего с их теоретической поэтикой.

4.3. "Поэтика очевидца"
в автобиографической трилогии
и в "Жизни Клима Самгина" М. Горького

Уместно ли хотя бы упоминать имя великого писателя социалистического реализма рядом с именами модернистов? Разрешение на это дал сам Горький. «Поясняю, — говорил он, по свидетельству И. Груздева, — именуя себя самого „типичным“, я титул этот отношу также и к бывшим товарищам моим: Андрееву, Арцыбашеву, Бунину, Куприну и еще многим. Пора отметить, что во всех нас было и есть нечто общее, не идеологически, разумеется, а — эмоционально. Догадаться о том, что именно это было, это я предоставляю критикам». К словам "и еще многим" Горький сделал примечание: «В.В. Вересаева — исключаю, ибо из всех нас он один наиболее устойчиво удержался в позиции „чистого“ литератора» (И. Груздев. Мои встречи и переписка с Горьким. — Звезда, 1961, N 1, с. 159).

В примечании Горький указывает по крайней мере на одну из тех черт, которые составляли это "эмоционально общее" — не оставаться на позиции "чистого" литератора. Но ведь социально и политически и Вересаев не был "чистым" литератором в "башне из слоновой кости". Очевидно, Горький имеет в виду сам характер литературной продукции.

Мы считаем, что новаторская поэтика самого Горького в трилогии и "Климе Самгине" — это поэтика очевидца (и этим, в частности, она противостоит поэтике Вересаева, который творит по канонам "литературности"). "Позиция очевидца" помогает понять и стянуть в пучок яркие своеобразные черты горьковской поэтики, отмечавшиеся некоторыми исследователями.

Отношение к "Я". Как мы (и не первые) уже отмечали, европейский роман нового времени, в особенности, вероятно, начиная со Стерна, неуклонно вычленил в своей форме различные "Я" — "Я" персонажа, "Я" рассказчика о персонаже, причем рассказчик в свою очередь персонаж, "Я" повествователя о рассказчике, "Я" автора, пишущего о рассказчике, а тем самым и обо всех остальных. У Горького же с необыкновенной силой представлены различные "Я" самого автора — расслоение "Я" переходит внутрь личности автора. Форма повествования о самом себе, автобиографии, как нельзя лучше способствовала этому. Обратимся к тексту "Детства" (здесь и далее цит. по изд.: М. Горький. Собр. соч. в 30-ти т. М.: ГИХЛ, 1951, т. 13). Эпизод, когда Алеша нападает с ножом на отчима, разговор с матерью:

”Я совершенно искренно и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины.

Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит...” (с. 185).

Н.К. Гей отмечает, что здесь мы явственно различаем два голоса, принадлежащих единому ”Я” автора-рассказчика, — голос персонажа (Алеши в прошлом) и голос повествователя. «Столкновение этих голосов и становится структурой горьковского повествования. Первый голос: „Я совершенно искренно и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что...” и т.д. Второй голос: „Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя...”» [Гей 1977, 411].

Это верно, но расслоение ”Я” идет глубже. В ”первом голосе” уже два ”Я” — одно ”Я” несомненного и подлинного Алеши в момент события: ...Зарежу вотчима и сам тоже зарежусь”; другое ”Я” — перед союзом *что*: ”Я... вполне понимая, что говорю, сказал ей, что...”, это ”Я” субъекта пропозициональной установки, типичный предмет изучения логиков. Но кто этот ”Я” с точки зрения повествования? Это и не Алеша события, не тот Алеша, который кричит: ”Зарежу!”, и это не мудрый автор Максим Горький, который несколькими строками ниже говорит: ”Вспоминая эти свинцовые мерзости...” Это ”Я” Алеши, как бы осознающего себя со стороны. Но в какое время? Сколько ему, этому осознающему себя Алеше, лет? Ответить на эти вопросы невозможно, да они и не требуют точного ответа. Он и не молодой и не старый, он в промежутке между двумя — мальчиком и писателем. Это тот Алеша, которому принадлежат промежуточные строки приведенного абзаца: ”Я думаю, что сделал бы это...; Даже сейчас я вижу эту подлую, длинную ногу...” — видит, конечно, теперешний автор, но видит и тогдашний Алеша, разрыва нет: ”Я вижу эту ногу (тогда) и вижу ее сейчас”.

Членение ”Я” естественно связано с расслоением временных планов. Уже первая сцена ”Детства” привлекает с этой точки зрения внимание читателя и исследователей.

”В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук,

смирно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет...

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов...

Меня держит за руку бабушка — круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом..." (с. 9).

Сколько лет тому, кто это говорит? Он мальчик или он писатель? И то и другое, то — в одной фразе ("...лежит..., пальцы растопырены..."), другое — в другой ("...черной гребенкой, которой я любил перепиливать..."). Почему не "люблю перепиливать", почему "любил"? Потому, что это уже взгляд из другого времени.

Более того, переплетаются не только два временных плана и два грамматических времени ("...лежит... — я любил..."), но и два способа видения. Н.К. Гей точно формулирует: «Взгляд ребенка, но слово писателя... Выражение, словесное закрепление этих подробностей — из другого времени, чем сама изображенная сцена», это «сложная иерархия этих двух единств, за которой в литературе всегда стояла иерархия слова звучащего и слова письменного. Горький во многом вернул прозаическое литературное слово в естественную разговорную стихию, в стихию рассказывания; в то же время горьковское рассказывание не есть сказ или выработанные литературой XIX в. и особенное развитие получившие в прозе XX в. формы стилизации письменного повествования, подчас подчеркнуто нарочитые, под разговорную речь. (У Лескова и особенно у Ремизова.)» [Гей 1977, 412]. Это мы и называем рассказыванием рассказчика-очевидца.

«Горький сделал рассказывание, словесный эквивалент динамики жизни, — заключает Гей, — как бы равноправным предметом произведения наряду с непосредственным воссозданием фактов, явлений, событий. Рассказывание для Горького стало не только средством организации повествования (но прежде всего все-таки именно этим средством. — Ю.С.), но и в известном смысле особого рода „персонажем“. Из техники повествования и средства организации содержания произведения оно превращается в способ художественного мышления» [там же, с. 413]; в "Жизни Клима Самгина" — другое глубоко верное наблюдение Гея — сама форма рассказывания, повествование, "становится моментом документализации".

Горьковский текст, особенно в "Климе Самгине", хотя местами это заметно уже в "Детстве" и в других частях трилогии, подчиняясь принципу документализации, начинает напоминать газетный текст, где без видимой внешней связи, —

кроме той чрезвычайно сильной связи, что все это имеет отношение к сегодняшнему дню и очень важно сегодня, — сопоставлены факты и события разных сфер жизни и даже разных стран.

Принцип сказочного повествования "откуда ни возьми" доминирует в первой части трилогии, и он там естественно мотивирован особенностями детской памяти: "...Во время болезни — я это хорошо помню — отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек. — Ты откуда пришла? — спросил я ее" (с. 10). "Потом он вдруг исчез и его заменила бабушка" — типичная форма появления и исчезновения персонажей в мире "Детства". Но этот прием сохранится и в "Жизни Клима Самгина". Мотивировки появления персонажей, причинная связь, или, как можно сказать по аналогии с логикой, "причинная история" разных появлений одного и того же персонажа, отходят на второй план, мотивировки здесь — это требование самого повествования: так нужно, чтобы складно рассказать.

Вследствие этого при каждом новом появлении персонажи предстают как до некоторой степени новые личности; изменения совершились в них за пределами мира Алеши и рассказчика, и внезапно, "откуда ни возьмись", возникший персонаж приносит с собой нечто из нового мира; он каждый раз персонаж нового мира. В "Детстве" это особенно заметно при многократных появлениях и превращениях матери и одним, но решающем превращении деда.

В начале повести мать "чистая, гладкая и большая, как лошадь; у нее жесткое тело и страшно сильные руки" (с. 10); "ее большое, стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос — вся она, мощная и твердая..." (с. 17).

В середине: "...Я поглядел им вслед, прикрыл ворота, но когда вошел в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, ее отчетливые слова... Она стояла среди комнаты, наклонясь надо мною, сбрасывая с меня одежду, повертывая меня, точно мяч; ее большое тело было окутано теплым и мягким красным платьем, широким, как мужицкий чапан... Лицо ее показалось меньше, чем было прежде, меньше и белее, а глаза выросли, стали глубже и волосы золотистее... от нее исходил освежающий, вкусный запах... В сравнении с матерью все вокруг было маленькое, жалостное и старое..." (с. 127).

Чуть позже, и тоже внезапно: "Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у нее легли

темные пятна, она целыми днями ходила непричесанная, в измятом платье, не застегнув кофту, это ее портило и обижало меня: она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая — лучше всех!” (с. 136).

Еще чуть позже, перед новым замужеством: “Мать всходила на чердак ко мне редко, не оставалась долго со мною, говорила торопливо. Она становилась все красивее, все лучше одевалась, но и в ней, как в бабушке, я чувствовал что-то новое, спрятанное от меня, чувствовал и догадывался” (с. 163).

И в конце, опять внезапно: “Мать явилась вскоре после того, как дед поселился в подвале, бледная, похудевшая, с огромными глазами и горячим, удивленным блеском в них. Она все как-то присматривалась, точно впервые видела отца, мать и меня...” (с. 174); “Я ушел в сени, сел там на дрова и окоченел в изумлении: мать точно подменили, она была совсем не та, не прежняя...” (с. 175).

Тот же прием, уже постоянно и без какой-либо мотивировки памятью повествователя, действует на всем огромном пространстве романа “Жизнь Клима Самгина”. Подмеченная М.Б. Храпченко [1982, 372] другая особенность этого романа — самостоятельность многих его эпизодов, — очевидно, стоит в связи с рассматриваемым приемом.

“Клим не видел Сомову больше трех лет; за это время она превратилась из лимфатического, неуклюжего подростка в деревенскую ситцевую девушку... Инокков похож на придурковатого сельского пастуха. В нем тоже ничего не осталось от гимназиста, каким вспомнил его Клим” (т. 19, с. 271). Персонажи появляются внезапно (хотя это внешне и мотивировано обстоятельствами приезда Клим) и предстают изменившимися до неузнаваемости, потому что они пребывают в независимых, отчужденных и непересекающихся мирах.

Уже к концу первой части мотивировки появления персонажей конкретными обстоятельствами их жизни все больше перестают играть роль и в противовес им усиливается внутренняя необходимость их появления в рамках художественного повествования — они необходимы как точки опоры в нескончаемом диалоге Клим с людьми и с самим собой. Вот кусок, который идет в пейзажном повествовательном стиле (он мог бы быть переписан во “вневременном настоящем” времени): «Готовясь встретить молодого царя, Москва азиатски ярко раскрашивала себя, замазывала слишком уродливые морщины свои... Сотни маляров торопливо мазали длинными кистями фасады зданий... Маракуев, плохо притворяясь не верующим в то, что говорит, сообщал (езде разрядка наша; заметим несовершенный “пейзажный” вид глагола. — Ю.С.): подряд на

иллюминацию Кремля взят Кобозевым... Кобозев... в день коронации взорвет Кремль.

— Конечно, это похоже на сказку, — говорил Маракуев, усмехаясь, но смотрел на всех глазами верующего, что сказка может превратиться в быль. (Маракуев уже выступил из пейзажа; собственно, следовало бы сказать „...—сказал Маракуев”, ибо он выступил и „сказал” один раз; но этот однократный глагол слишком дисгармонировал бы с предыдущим описанием. Но уже следующая без перерыва фраза — с однократным глаголом. — Ю.С.) Лидия сердито предупредила его:

— Не вздумайте болтать об этом при дяде Хрисанфе.

Дядя Хрисанф имел вид сугубо парадный...» (с. 439).

Вот и всё. Никто никуда не приезжал, не приходил и не сходил — персонажи просто выступили из пейзажа, из фона, и — заговорили; сцена началась.

В эпизоде Ходынки, в конце первой части, встречи персонажей следуют одна за другой, что нельзя объяснить реальными обстоятельствами: десятки тысяч травмированных, потрясенных людей разбрелись по Москве. (Можем мы встретить в большом городе, в толпе нескольких своих знакомых подряд?) А между тем:

” — Я больше не могу, — сказал он (Клим, бредущий с Макаровым. — Ю.С.), идя во двор. За воротами остановился, снял очки... Макаров за воротами, удивленно (внезапность встречи! — Ю.С.) и вопросительно крикнул:

— Стойте, куда вы?

Вслед за этим он втолкнул во двор Маракуева, без фуражки, с растрепанными волосами...” (с. 453).

Через час или около того, выйдя из квартиры, ”они шли пешком, когда из какого-то переуллка выехал извозчик, в пролетке сидела растрепанная Варвара...” (с. 459).

Эти неожиданные и почти невозможные встречи усиливают впечатление апокалиптического хаоса реального, ”ходынского” мира.

В последней части романа, где уже нет деления на главы, в частности во французских сценах, неожиданные появления и исчезновения персонажей в поле зрения Климата начинают свидетельствовать уже не о чрезвычайности событий, а о постоянном хаосе жизни, как она предстает в сознании Климата.

Рассказ о речи у Горького еще не стал ”речью о речи”, непрямая, или ”включенная” в авторскую, речь персонажа у него не встречается, — так и следовало ожидать в повествовании с ”позиции очевидца”, — но часто он рассказывает о речи персонажа. Этот горьковский прием широко известен,

и мы лишь напомним, что имеется в виду: "Говорила она (бабушка. — Ю.С.), как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные" (т. 13, с. 15); "Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться" (там же, с. 25); "Трудно было понять, что говорит отец (Клима. — Ю.С.), он говорил так много и быстро, что слова его подавляли друг друга, а вся речь напоминала о том, как пузырится пена пива или кваса, вздымаясь из горлышка бутылки. Варавак говорил немного и словами крупными, точно на вывесках" (т. 19, с. 18).

Замена смысла речи впечатлением от речи в "Климе Самгине" начинает играть все большую роль по мере продвижения от начала романа, это соответствует эгоцентризму и Клима и самого романа: повествователь-автор как бы отождествляется с Климом. То, что речь такого-то человека, скажем, "булькает" или "пенится", для Клима подчас оказывается важнее того, что она сообщает: "Вначале ее (Марини. — Ю.С.) восклицания показались Климу восклицаниями удивления или обиды. Стояла она спиной к нему, он не видел ее лица, но в следующие секунды понял, что она говорит с яростью..." (там же, с. 225). Смысл речей, которые слышит Клима, перестает играть определяющую роль, теряется среди других элементов восприятия мира; и это еще усиливает ощущение непонятности и хаоса происходящего, которое рождают и другие элементы романа, такие, как внезапные появления и исчезновения людей в поле зрения Клима.

В инсценировке романа на сцене театра им. В. Маяковского в Москве речи персонажей подчас были как бы разделены на отдельные яркие реплики и в ином порядке снова розданы персонажам (не всегда тем, кому реплики принадлежат в романе); но это не отразилось отрицательно на инсценировке (т.е. если что и отразилось отрицательно, то не это); по-видимому, возможность такого "прочтения" отчасти коренится в поэтике романа.

Если сравнить статью на слово "говорить" из "Словаря автобиографической трилогии М. Горького" (вып. 2. Л., 1977) и из "Словаря языка Пушкина" (т. 1. М., 1956), то бросается в глаза, что у Горького этот глагол окружен колоссальным (в совокупности) количеством наречий и других характеризующих слов, а у Пушкина выступает чаще всего кратко и по сравнению с горьковским говорением голо.

4.4. Эгоцентрическая поэтика М. Пруста

Марсель Пруст (1871—1922), автор грандиозного романа "В поисках утраченного времени", признан в своей национальной литературе, во Франции, как создатель величайшего шедевра и основоположник новой поэтики. Разумеется, здесь нет никакой возможности обрисовать эту поэтику во всей ее сложности и противоречиях. Мы остановимся лишь на нескольких ее чертах, которые непосредственно связаны с рассматриваемой парадигмой, — на ее "эгоцентризме". (Частично мы повторяем здесь свой комментарий ко 2-му тому романа [Степанов 1982]. Роман цитируется по полному французскому изданию в 3-х томах: *Proust M. A la recherche du temps perdu*. Т. 1—3. Р., 1954. Римская цифра в скобках обозначает том, арабская — страницу; перевод всюду наш.)

Следуя за Бергсоном, Пруст полагает материальным центром своего мира "образ своего тела". Бергсон писал: "Среди всех образов имеется один, находящийся в преимущественном положении; он воспринимается в своих глубинах, а не просто с поверхности; он является вместилищем аффектов и в то же время источником действия; именно этот образ я принимаю в качестве центра моего мира и в качестве физической основы моей личности" [Bergson 1954, 21]. Весь роман начинается с ощущения этого образа: иной раз, проснувшись среди ночи, "я в первое мгновение даже не знал, кто я, я испытывал только — в его первоначальной простоте — ощущение, что я существую, какое, наверно, бьется и в глубине существа животного; я был простой и голый, как пещерный человек" (I, 5).

Но дальше в разных ситуациях, не подряд, но последовательно снимаются телесные пласты и остается внутреннее "Я", которое в свою очередь расслаивается на "Я" пишущего, "Я" вспоминающего, "Я" того, о ком вспоминают, на Марселя в детстве и т.д., пока не остается глубинное, предельное "Я" — "Эго". И, в сущности, о его перипетиях и идет речь. Оно — подлинный герой романа. И оно всегда — в настоящем, для него нет прошедшего. То, что прошло, что, казалось бы, должно было быть "Я в прошлом", — для Пруста уже другое "Я". «Я стал понимать, что умирать — это не что-то новое, что, напротив, начиная с детства, я уже умирал много раз. Если взять самое далекое время, то разве я не держался за Альбертину больше, чем за жизнь? Разве я мог тогда вообразить себя живущим, если прекратится моя любовь к ней? И вот — я ее больше не люблю, я перестал быть тем существом, которое ее любило, я стал другим существом, которое ее не любит. Я перестал любить ее, когда стал другим человеком. И вот же — я не страдаю от того, что больше не люблю Альбертину.

И, конечно, в один прекрасный день не иметь больше тедá — это никак не может показаться мне чем-то таким же страшным, как когда-то казалось, что будет страшным, если я перестану любить Альбертину. А теперь — мне безразлично, что я ее больше не люблю! Эти происходившие одна за другой смерти, которых так боялось мое „Я“, потому что они должны были его уничтожить, стали такими безразличными, нежестокими, когда они совершились и когда того, кто их так боялся, уже больше нет и он их не чувствует» (III, 1038).

И если одна из задач человека — избавиться от страха смерти и достойно встретить ее, то Пруст разрешил эту задачу: "Если мысль о смерти раньше омрачала мне любовь, то уже давно воспоминание о любви стало помогать мне не бояться смерти" — и далее следует приведенное выше место.

Отношения авторского "Я" к персонажам в романе оказались противоположными общепринятым. Обычно от всякого писателя-реалиста требуют, чтобы его персонажи в романе развивались, но развивается ли авторское "Я" — это никого не беспокоит. В романе Пруста все обстоит наоборот — персонажи иной раз неподвижны, как статуи, иной раз возникают и исчезают и снова появляются уже как новые личности, преобразование которых совершилось где-то там, за пределами видимого мира художника (как в "Детстве" Горького), но зато авторское "Я" непрерывно движется, живет, вибрирует, развивается.

Естественно, что по отношению к "Я" как живому центру его мира персонажи и должны появляться, каждый раз после отсутствия на страницах романа, в виде новых личностей. То, что у Горького возникает как простое, хотя и яркое, следствие принятого способа повествования, у Пруста возводится в эстетический принцип. Одно из наиболее ярких превращений такого рода — художник Эльстир, в котором видят Ренуара или даже Ренуара, Моне и Гогена, а может быть, еще и Дюфи, вместе взятых. В первом романе цикла "В сторону Свана" он довольно часто появляется в светском кружке как некий "господин Биш", незначительное лицо, над которым подсмеиваются. Потом он исчезает со страниц романа, и вдруг, во втором романе, "Под сенью девушек в цвету", к удивлению читателя и самого автора, он возникает снова, и автор узнает его в ныне знаменитом художнике Эльстире. Можно сказать, что такие превращения личностей — это романский принцип. Но Пруст проецирует его в реальную жизнь.

Он считает, что личность человека способна бесконечно раскрываться, обнаруживая тем самым неисчерпаемое богатство творения. И поэтому, в зависимости от того, в какой момент

она предстанет перед наблюдателем, она может быть принята за новую личность. Так, Пруст описывает свое впечатление от личности своего друга — офицера Робера де Сен-Лу: «Иногда моя мысль открывала в Сен-Лу некое более общее существо, чем он сам, „дворянина“, которое, подобно внутреннему духу, двигало его членами, распоряжалось его жестами и поступками. В такие моменты, хотя и рядом с ним, я оставался в одиночестве, как перед раскрывшимся передо мною пейзажем, гармонию которого я еще не постиг» (I, 736).

И на том же принципе Пруст основывает свои наблюдения над материей личности — над телом. Вот он, сам еще юноша, весело проводит время в кругу знакомых девушек на лугу или в роще, на курорте в Бальбеке: «Заря молодости, которая розовела еще на лицах этих девушек и уже сошла с моего, поскольку я был старше их, заливала своим светом все, что их окружало, и, как в живописи некоторых старых итальянских мастеров, выделяла самые незначительные детали их жизни на золотом фоне. В большинстве своем самые лица этих девушек представляли как бы еще размытыми в этом заливающим все золотистом свете зари, и их подлинные черты еще не проступили»; они проступают — и застывают — с возрастом очень скоро: «Конечно, когда женщина уделяет нам внимание, часы, проводимые около нее, окрашиваются, если мы ее любим, новым очарованием. Но она уже не предстает перед нами всякий раз новой женщиной. Ее веселость остается чем-то внешним на ее уже навсегда неизменном лице» (I, 905).

Как у Горького, рассказ о людях сопровождается у Пруста рассказом об их речи. Местами целые страницы романа — это речь о речи. Любимые, симпатичные Прусту персонажи почти никогда не говорят прямо, за них говорит автор, и их речь сливается с его речью. Но когда персонажи говорят, то это значит, что они отчуждены от автора, и тогда их речь почти всегда вызывает ироническое отношение и производит слегка комический, как бы пародийный эффект. Зачастую он распространяется на окружающую такую пересказанную речь персонажа собственную авторскую речь, сливается с нею — возникает особый стиль литературной имитации, «пастиш». Пруст проявил себя как замечательный мастер такого подражания и выпустил целую книгу «Пастиши и смесь» (*Pastiches et Mélanges*, 1913).

Из похожей исходной точки, «эгоцентризма», у Горького и у Пруста возникают два различных стиля и две разные поэтики. У Горького «повествование очевидца» ведет к документальности и к активной, публицистической позиции автора.

У Пруста — к углубленному созерцанию происходящего, в конечном счете к углублению в свое внутреннее "Я", и на этом пути, как бы противоположном первоначальному движению от "Я" к миру, сброшенные ранее оболочки "Я" воздвигаются снова, все более и более отгораживая автора от текущей поверх этих оболочек жизни.

Здесь позиции Пруста и Бергсона снова совпали. Пруст идеально отвечал бергсоновскому представлению о писателе как о человеке, у которого природа забыла связать способность восприятия со способностью действия (слова А. Бергсона приведены в гл. VI, 0.1).

Но, правда, Пруст как бы прямо возразил на это (в письме к издателю Ж. Ривьеру): "Нет, если бы у меня не было интеллектуальных убеждений, если бы я хотел только вспоминать... то, будучи столь больным, не взял бы на себя труд писать. Но я хотел не абстрактно анализировать эту эволюцию мысли, а воссоздать ее, заставить жить" (M. Proust et J. Rivière. Correspondance. P.: Plon, 1955, p. 3). И это ему удалось.

В заключение следует отметить, что Пруст был тонким наблюдателем языка вообще, логики языка, и ему принадлежит, например, замечательное маленькое открытие, которое одобрили бы сторонники "глубинных семантических структур", — союз *несмотря на то что* "скрывает под собой" союз *потому что*: «Моя мать восхищалась, что он (маркиз, дипломат. — Ю.С.) был столь точен, несмотря на то что столь занят; столь любезен, несмотря на то что столь избалован светским обществом; ей не приходило в голову, что „несмотря на то что“ — это всегда неопознанные „потому что“ и что те же самые привычки позволяли маркизу де Норпуа выполнять его многочисленные обязанности и аккуратно отвечать на письма, блистать в обществе и быть любезным с нашей семьей (точно так же, как старики удивляют бодростью для своего возраста, государи — своей простотой, а провинциалы — тем, что они в курсе всего)» (I, 438).

4.5. Элементы эгоцентрической эстетики в театре Б. Брехта

Суть дела заключается в том, что в театре Брехта не признается раз навсегда данная и закрепленная общественным установлением связь имени и вещи, видимости вещи и ее сущности, обычной оценки вещи и ее подлинной ценности. В буржуазном обществе "мать" — это та женщина, которая родила "сына" (или "дочь"), но уже у Горького в романе "Мать" в глубине скрыты другие взаимоотношения, и Брехт, инсце-

нируя горьковский роман, показал это в явной форме: "мать" — это женщина, которая, телесно родив "сына", духовно способна родиться от него. (Не лежит ли подобное ощущение в основе культа девы Марии?)

Брехт в каждой постановке перестраивает названные типы отношений так, как видит их социально активный художник, и в этом смысле в его эстетике театра заложен принцип "эгоцентризма".

Как мы уже отмечали (гл. VI, 0), в середине XX в. представление о несвободе говорящего "перед лицом знака", сущности которого — означаемое, означающее, предмет — связаны как бы беспрекословным социальным законом, сменилось представлением об известной свободе говорящего, в силах которого — в известных пределах — изменять эти связи. Отсюда до изменения социальных ценностей оставался только один шаг. Нечто подобное уже имело место в истории: во времена "Великой французской" — идеи революции были подготовлены революцией идей.

Брехт, отвергая "естественность" связи между изображаемым и изображающим, также преследовал глубокие социальные цели. Этим разрывом на сцене одновременно отвергалась "естественность", "единственность" поведения изображаемого персонажа и изображаемой жизни, показывалась возможность его иного поведения и в конечном счете возможность переустройства самой жизни.

В одной из своих теоретических работ ("Покупка меди. Вторая ночь") Брехт устами Философа говорил: «Помните, что мы с вами собрались в мрачное время, когда отношение людей друг к другу особенно отвратительно, а преступные происки определенных групп людей окутаны почти непроницаемой завесой. Поэтому нужно особенно много раздумий и усилий, чтобы выявить подлинные общественные отношения. Чудовищный гнет и эксплуатация человека человеком, милитаристская резня и „мирные“ издевательства всякого рода, охватившие всю планету, едва ли не стали чем-то обыденным... Очень многим войны представляются столь же неизбежными, как землетрясения, словно за ними стоят не люди, а лишь стихийные силы природы, перед которыми род человеческий бессилён» [Брехт 1965, 311].

Сразу вслед за этим Брехт переходил к объяснению принципов нового театра. Его прообразом он считал уличные сцены, когда, скажем, свидетель несчастного случая показывает толпе, как это случилось. Свидетель-рассказчик так изображает поведение шофера и пострадавшего, чтобы люди, не бывшие

очевидцами, смогли составить себе полное представление о происшедшем и вынести свое суждение.

"Наш рассказчик, — продолжает Брехт, — выводит характеры целиком только из поступков действующих лиц. Имитируя их, он дает таким образом возможность сделать выводы. Театр, следующий в этом отношении его примеру, начисто порывает с привычным для обыкновенного театра обоснованием поступков — характерами, причем поступки ограждаются таким театром от критики, так как они с естественной закономерностью вытекают из характеров лиц, их совершающих. Для нашего уличного рассказчика характер изображаемого лица остается величиной, которую он не может и не должен полностью определить. В пределах известных границ он может быть и таким и иным — это не имеет никакого значения. Рассказчика интересуют те его свойства, которые способствовали или могли бы воспрепятствовать несчастному случаю" [там же, с. 322]. Неоднозначная детерминированность характера в воображаемом мире — вот о чем говорит Брехт и что объединяет его и Музила и Пруста.

Для характеристик новых отношений между актером—"изображающим" и персонажем—"изображаемым" (эти термины аналогичны тем, которые применяются для характеристики двух сторон языкового знака, — "означающее" — "означаемое") Брехт предложил новый термин — "очуждение". Брехтовский термин *Verfremdung* — "очуждение", отличный от термина политэкономии *Entfremdung* — "отчуждение", в известной мере сопоставим с термином русской формальной школы "остранение"; в англоязычной литературе утвердился перевод *alienation*, *alienation effect* или "A-effect".

Возможность, которую предоставлял философии языка и поэтике театр Брехта, не преминули уловить позднейшие, в особенности французские, семиологи. Театр Брехта оказал непосредственное влияние на формирование семиологии Р. Барта. Сам Барт уже в 1956 г. писал: «Следует признать, что драматургия Брехта, его теория эпического театра, теория „очуждения" и вся практика театра „Берлинер Ансамбль" в отношении декорации и костюмов ставят явно семиологическую проблему. Ибо постулат всей театральной деятельности Брехта, по крайней мере на сегодняшний день, гласит: драматическое искусство должно не столько выражать реальность, сколько означивать, сигнифицировать ее. Отсюда необходимо, чтобы была известная дистанция между означаемым и означающим: революционное искусство должно принять известную произвольность знаков... Брехтовская мысль... враждебна эстетике, основанной на „естественном" выражении реальности» [Barthes 1964, 87—88].

Один из ранних семиологических очерков Барта, признаваемый современными прагматиками образцовым по точности и афористичности (он занимает всего три страницы), был посвящен брехтовской инсценировке повести А.М. Горького "Мать" [там же, с. 143]. Известно, что одной из идей горьковского романа была идея пробуждения масс под влиянием революционной агитации, что в своеобразной форме и развил Брехт в своем спектакле, по-новому представив отношения "мать — сын".

Таким образом, в основу новой парадигмы, распространяющейся и на поэтику, начиная с 1950-х годов был положен тезис об отсутствии "естественной" связи между "означаемым" и "означающим" как двумя сторонами знака — материальной и психической, а также об отсутствии такой связи между знаком в целом (состоящим из означаемого и означающего) и предметом. Более того, этот тезис был дополнен положением об отсутствии сколько-нибудь "беспрекословной" социальной связи между тремя сущностями. Этим положениям суждено было сыграть значительную, в основном положительную, но кое в чем и отрицательную роль в дальнейшем развитии этой парадигмы.

В зависимости от того, какой, так сказать, "щели" придавалось решающее значение — "щели" между означающим и означаемым или "щели" между знаком и предметом, семиологический анализ в последующие годы осуществлялся по двум линиям. В первом случае акцент переносился на анализ психических ассоциаций между означаемым и означающим и на их перестройку в индивидуальном творчестве. Таким был, например, знаменитый этюд Барта "S/Z" (1970) о новелле Бальзака "Сарразин". Семиологические исследования по этой линии привели к соединению семиологии с психоанализом, причем точкой соединения явилась как раз проблема субъекта. Но здесь мы не будем дальше следовать за перипетиями семиологии. Упомянем лишь — деталь немаловажная для нашей темы, — что это привело к необходимости разработки лингвистики текста [ср.: Барт 1978].

Результатом всего этого развития стал следующий тезис: каждый акт высказывания должен рассматриваться как практика, преобразующая и обновляющая значение (семантику); значение и субъект одновременно производится в динамике текста, в "дискурсе".

Итак, что же нового внесла новая парадигма философии языка в гуманитарную сферу?

Она разрушила фетишизм слова, особенно печатного. Она внедрила в умы относительную свободу человека "перед лицом знака". Она утвердила принцип "Человек — автор событий", но тут же ограничила его — "По крайней мере

событий, заключающихся в говорении". Это унижительное ограничение, несомненно, связано с тем, что со сцены сошли великие практики искусства — такие, как Горький или Брехт. Акцент переместился в "теорию искусства", к тому же в ее облегченном варианте "семиотики".

Для Декарта "Cogito" — "Я мыслю, следовательно, я существую" означало утверждение человека как мыслящего, через его мысль. И это послужило началом новой философии.

В отличие от этого новым принципом становится "Loquor" — "Я говорю, следовательно, я существую". И при чтении многих современных работ по философии языка нельзя отделаться от впечатления, что "Говорить — это все, что они умеют делать".

Глава VII

ОБЩАЯ КАРТИНА ЯЗЫКА В СВЕТЕ ЭТАПОВ (ПАРАДИГМ) ЕГО ПОЗНАНИЯ. ТРИ МОДЕЛИ

0. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Мы изложили три наиболее общих подхода к языку в виде трех парадигм — "философии имени", "философии предиката", "философии эгоцентрических слов". Каждая из них представляет собой более или менее законченную логическую систему. Но являются ли их отличия только чем-то субъективным, т.е. отличиями во взглядах на язык? Как мы старались показать, — нет. Каждая из систем основывается на каком-либо объективном параметре языка, но лишь рассматривает его как доминирующий.

Можно ли из трех разных картин языка сложить одну целую? Представляется, что это можно сделать, используя модель, которая будет моделировать прежде всего те объективные параметры языка, которые легли в основу каждой парадигмы. Но затем модель должна быть построена таким образом, чтобы показать (смоделировать), как отвлечение, гипостазирование этих параметров языка, одного за другим, заставляет наблюдателя извне определенным образом смотреть на язык, принуждая его к определенной точке зрения, и как вовлечение другого параметра заставляет наблюдателя переходить к другой точке зрения. Мы полагаем, что это лучше всего сделать в виде трех разных моделей, первая из которых влечет вторую, а вторая — третью.

Остановимся теперь на некоторых технических вопросах. Мысль о том, что в одном естественном языке каким-то

образом сочетаются языки разных логических типов, неоднократно приходила в голову логикам. Одним из первых, если мы не ошибаемся, ее высказал Б. Рассел, и сама его логическая теория типов восходит к этому наблюдению, а впоследствии и другие его идеи [см., например: Russel 1980]. Я. Хинтиikka использует похожую мысль как одно из оснований своей концепции "возможных миров", в частности когда он выделяет для первоначального анализа семантики "первопорядковые" языки, а затем особым образом расширяет их [Хинтиikka 1980, 69 и след.]. Обособление же с этой целью первопорядковых языков можно рассматривать как параллель к выделению в качестве особой области математической логики "узкого исчисления предикатов", или "чистого функционального исчисления первого порядка" [см., например: Черч 1960]. Но это уже — по отношению к естественному языку — параллель более отдаленная.

У Рассела и у Хинтиikka обнаружение внутри естественного языка разных "языков" и построение для них различных логических аналогов связываются с понятием пропозициональных установок, т.е. выражений мнения, веры и т.п. (типа "Джон полагает, что...").

Со своей стороны, исходя сначала из чисто лингвистических наблюдений, мы давно уже считаем, что грамматика естественного языка, в особенности такого развитого, как древнегреческий, русский или английский, может быть наиболее естественно описана как сочетание разных "слоев", "пластов" или "языков" в одной системе. Эта мысль, но взятая уже в более логическом аспекте, лежит в основе и трех моделей языка, предлагаемых ниже. Они, как нам кажется, позволяют наиболее естественным образом, по крайней мере естественным с лингвистической точки зрения, показать не только различия "языков" в системе одного языка, но и способ их соединения (именно последнее в представлении Рассела и Хинтиikka остается не вполне ясным). Так, в частности, мы думаем, что возможность выражать на каком-либо языке пропозициональные установки как критерий отличия такого, более развитого, языка от другого, более примитивного (причем и тот и другой сочетаются в одну систему), критерий достаточно сложный, покоится на некотором более простом основании. Последнее как раз и можно обнаружить в естественном языке при его предлагаемом моделировании. Возможность пропозициональной установки оказывается определенным образом связанной с тем, сколько имен (индивидуальных переменных) может охватить предложение данного языка, т.е. связанной со степенью пропозициональных функций этого

языка. Если, например, это такой язык, что в нем возможны только предложения степени 1, типа "Клубника — красная", то и пропозициональные установки в нем невозможны.

Представленные ниже три модели, Язык-1, Язык-2 и Язык-3, позволяют моделировать на материале естественного языка и некоторые другие важные логические понятия, которые традиционно рассматриваются также и в философии. Кроме того, те же модели позволяют ввести и некоторые понятия поэтики.

Как уже было сказано, тремя измерениями языка являются семантика, синтактика, прагматика (дектика), предварительное определение которых дано в Предисловии. Ниже эти понятия будут объяснены более полным и естественным образом, через три модели языка. Мы увидим, что семантика заключается не прямо в отношениях знаков к объектам, а в отношениях знаков к объектам, как они, эти отношения, предстают через синтактику и прагматику; синтактика заключается не прямо в отношениях между знаками, а в отношениях между знаками, как эти отношения предстают через семантику и прагматику; прагматика же заключается не прямо в отношениях знаков к носителю языка, а в отношениях знаков к носителю языка, как эти отношения предстают через семантику и синтактику. (Чтобы эти определения можно было кратко и вразумительно изложить, мы употребили в них слово "знак", но в действительности всюду имеются в виду, конечно, и знаки языка, и другие его элементы, например предложения, и язык в целом.) Эти определения уже были даны нами в других работах [Степанов 1981], но здесь мы введем их более пространным и наглядным способом, используя прием, который можно назвать "принципом Лобачевского".

Н.И. Лобачевский считал, что основные понятия геометрии должны быть непосредственно заимствованы из опыта, а не "составлены", т.е. не быть результатом комбинации абстрактных понятий. Для заимствования из опыта Лобачевский наметил точный путь. Он предложил считать основным объектом геометрии тело, а основным отношением между телами их прикосновение. Все остальные основные понятия, такие, как "поверхность", "линия", "точка", "прямая", "плоскость" и т.д., должны быть определены через понятие основного объекта, "тело", и понятие основного отношения, "прикосновение". Сущность этого отношения — в движении, "прикосновение" совершается в движении, и соответствующее определение понятия вводится указанием способа производства "прикосновения". По существу Лобачевский вводит таким образом общий принцип порождения геометрических понятий. Так, в работе "Пангеометрия" (1855) Лобачевский пишет: "Вместо

280

того, чтобы начинать геометрию прямой линией и плоскостью, как это делают обыкновенно, я предпочел начать сферой и кругом, которых определение не подлежит упреку в неполноте, потому что в этих определениях заключается способ, каким эти величины происходят. Потом я определяю плоскость как поверхность, где пересекаются равные сферы, описанные около двух постоянных точек. Наконец, определяю прямую линию как пересечение равных кругов в плоскости, описанных около двух постоянных точек в той же плоскости” [Лобачевский 1956, 138].

Таким же путем пойдем мы здесь. В качестве основания выбираем явление языка, непосредственно данное в опыте, — **высказывание**; выделяем его абстрактную основу — **пропозициональную функцию**; затем конструируем три модели естественного языка, начиная с самой простой, — **Язык-1**, **Язык-2** и **Язык-3**, различающиеся прежде всего своими высказываниями, а следовательно, и пропозициональными функциями; и, наконец, переходя от **Языка-1** к **Языку-2** и далее к **Языку-3**, вводим некоторые основные проблемы семантики, синтактики и прагматики (дехтики). Модели, а затем переход от модели к модели, сама динамика этого перехода позволяют ввести основные понятия короче и яснее, чем их можно было бы представить, рассуждая на материале сразу всего языка во всей его сложности или на материале тех или иных абстракций.

Лингвист может спросить, являются ли эти модели диахроническими, т.е. моделируют ли они историю языка. Нет. Моделируется последовательное возникновение определенных черт языка, **существующих в настоящее время, т.е. синхронических**.

1. ЯЗЫК-1 (С СЕМАНТИКОЙ ТОЛЬКО)

Под **Языком-1** будем понимать естественный язык, все основные показатели которого характеризуются числом 1: на этом языке можно производить высказывания только степени 1, только уровня 1; имена этого языка группируются только в один класс; предикаты — тоже только в один класс. Конечно, такой язык лишь очень условно можно назвать естественным, и лучше скажем так: это очень бедный естественный язык.

На первый взгляд столь назойливое повторение числа 1 в разных характеристиках кажется либо случайностью, либо чем-то мистическим. На самом деле ни то, ни другое. Поскольку степень есть число термов в предикате, постольку степень 1 определенным образом связана с тем, что и класс имен здесь только один. Эти две единицы связаны с уровнем “один”,

конечно, не столь явным и более опосредованным путем. По мере изложения будет видно также, какая связь существует между этими свойствами Языка-1 и тем его свойством, что он обладает семантикой, но почти не имеет синтактики и вовсе лишен прагматики (дектики).

Степень 1 означает, что в высказывании только один терм, или актант; разумеется, что в таком случае этот терм — субъект. Предикаты в этом языке, следовательно, никогда не имеют объекта, и если предикаты — глаголы, то это глаголы всегда непереходные: *Кошка сыта*; *Кошка мурлычет* — типичные высказывания этого языка. Высказывание *Кошка лижет лапу* на этом языке уже невозможно.

Уровень¹ (или порядок) 1 означает, что ни имя, ни предикат высказывания не могут быть сведены трансформацией к какому-либо другому более простому выражению: они сами предельно простые выражения 1-го уровня; выражения *Сытость кошки* или *В доме с кошкой — уют* на этом языке невозможны: первое потому, что *сытость* есть трансформация от *сыт*, второе потому, что слово *уют* есть замещение слова *уютно*, т.е. предикат второго уровня (порядка).

Имена этого языка группируются только в один класс; это означает: если мы примем вполне естественное условие, что классы имен соответствуют классам естественных объектов — что в этом языке можно говорить об объектах только одного класса, например о видах некоторых животных — о кошках, собаках, барсуках, лисах, медведях, курах, гусях, воронах и т.п. "Кошка", "собака", "барсук" и т.д. — имена этого языка. Говорить о животных на этом языке вообще нельзя: слово "животное" является именем класса, а не именем члена класса и отсутствует в этом языке. Отношение имени класса к именам членов класса составляет первую фундаментальную проблему семантики (1), с которой мы сталкиваемся в этой модели (в настоящей книге она специально не затрагивается [см.: Степанов 1981, 59 и след., 85 и след.]).

Предикаты этого языка также группируются только в один класс, именно тот, который содержит обозначения свойств объектов, названных именами этого языка (глаголы здесь выступают также как обозначения свойств): "мяукает", "лает", "кудахчет", "хрюкает", "умывается", "сидит", "бежит", "спит", "ест", "сыт", "болен", "красив", "зол", "лохмат" и т.п. Итак, предикаты здесь — это обозначения свойств. Отличие предикатов

¹Уровень, или порядок, в нашем смысле есть тот "шаг" в ряду "шагов" трансформаций, на котором данное выражение получено из исходного, элементарного.

от имен связано с отличием свойств от вещей — вторая фундаментальная проблема семантики и философии языка вообще (2). Она рассматривается в связи с понятием имени (гл. I, 1, 2; гл. V, 1), в связи с понятием предиката (гл. IV, 1, 3) и затрагивается в других разделах.

Естественно также принять условие, что свойства здесь понимаются как объективные свойства, не зависящие от мнения или психического переживания говорящего (о говорящем пока еще вообще не было речи). Поэтому "красив" и "зол" здесь такие же объективные свойства, как "лохмат" или "ест"; говорящий здесь всегда знает так же уверенно, является ли данное животное "красивым", как он знает, "лохмато" ли оно. Но по существу, поскольку все же предвидится вопрос об отличии объективных свойств (типа "лохмат") от субъективных ("красив", "приятен"), здесь коренится новая семантическая проблема (3). В этой книге она затрагивается лишь попутно, в связи с понятием пропозициональных установок, например установки мнения, или веры (гл. IV, 3; гл. VI, 3 и др.). Вообще же это одна из самых существенных проблем семантики естественного языка, с ней связаны различные гипотезы о "языковой картине мира", вопрос о грамматических категориях и мн. др. В самом деле, можно, например, представить себе язык, — а это представление недалеко от действительных языков, — в котором объективные качества выражаются в одной грамматической категории, а субъективные — в другой. Тут мы оказываемся в самом центре этой проблемы. Модальность вообще, и в частности различие "модальностей вещей" (*de re*) и "модальностей высказываний" (*de dicto*), также, очевидно, относится к этому комплексу вопросов.

Теперь мы подошли к самой сути высказывания — к сочетанию имени (терма, актанта) с предикатом. В Языке-1 очевидно, что сочетание имени с предикатом основано на объективной связи объекта и его свойства. И это объективное основание единственно только и принимается в расчет в этом языке при образовании высказываний. Иными словами, Язык-1 — экстенциональный язык, имена и предикаты в составе его выражений, и в частности высказываний, заменяемы при соблюдении только одного условия — сохранения того же отношения имен к объектам и предикатов к свойствам. В этом языке действует, следовательно, принцип обычной, т.е. экстенциональной, синонимии. (Когда язык усложнится и этот принцип — принцип замены равного равным — перестанет действовать, т.е. язык не будет экстенциональным языком, то в области синонимических замен возникает новая проблема семантики, но пока здесь проблем нет.)

Сочетание имени с предикатом и его результат суть предикация, или пропозиция². Таким образом, сущность предикации, как мы ее понимаем, состоит в предцировании, т.е. в приписывании предиката имени в составе высказывания, на том основании, что объект имени в действительности обладает свойством, выражаемым предикатом. Отсюда проистекают два важных следствия.

Во-первых, предикация должна обладать непосредственной убедительной силой для рассудка. Ч.С. Пирс, который впервые открыл это свойство, назвал его "непосредственной убедительной рациональной силой" [Пирс 1983, 167]. Модель Языка-1 позволяет видеть, откуда проистекает это свойство: если класс имен соответствует классу известных носителю языка объектов, а класс предикатов соответствует классу столь же известных носителю языка свойств этих объектов, то данное сочетание предиката с именем содержит нечто уже известное слушателю из знания языка и действительности; новым для него будет только факт выбора говорящим именно данного сочетания из возможных. Поскольку носитель языка всегда знает значения имен и предикатов этого языка и всегда обладает некоторыми знаниями о мире, постольку предикация всегда будет обладать для него убедительной рациональной силой. Но степень непосредственности этой убедительности будет убывать по мере усложнения языка: чем большее количество классов объектов и свойств охватывает язык, тем труднее знать их, знание о мире все больше отстает от знания языка; мир предстает в ограниченном круге непосредственного или опосредованного опыта, а язык выходит далеко за этот круг; понимая сочетание имени с предикатом, слушатель все с бóльшим трудом убеждается в их соответствии действительности. Это также семантическая проблема (4). Но, подчеркнем еще раз, названное соответствие в той или иной степени имеется всегда, в силу самого устройства языка: ни один язык не устроен так, чтобы его имена называли какие-то одни объекты, а его предикаты — свойства каких-то вовсе иных объектов.

Второе следствие касается различия аналитических и синтетических предложений. (Существует, как известно, два основных понимания "аналитичности" — "синтетичности" (истин, или предложений) — по Лейбницу и по Канту. Ниже эти термины понимаются по Канту: "Аналитические суждения высказывают в предикате только то, что уже действительно мыслилось в

² В полностью естественном языке это лишь первый этап предикации; второй этап заключается в утверждении или отрицании предикации относительно действительности (в ее истинности или ложности).

понятии субъекта, хотя не столь ясно и не с таким же сознанием" [Кант 1965, 80]; синтетические суждения содержат в предикате нечто такое, что в понятии субъекта еще не мыслится. Кроме того, с современной точки зрения деление на аналитическое и синтетическое может быть проведено лишь в пределах той или иной фиксированной семантической системы. О высказывании, взятом вне таковой, бессмысленно спрашивать, является ли оно аналитическим или синтетическим [Смирнова 1962, 358]. Существенные оттенки, возможно даже "третье понимание" названных терминов, внесены Пирсом [1960, 155, 188], который называет синтетические суждения "ампливативными", т.е. "расширяющими". Лейбницевское и пирсовское понимания, по-видимому, также могли бы быть здесь моделированы.)

В Языке-1 все предложения являются равно и аналитическими и синтетическими. Это ясно уже из предыдущего. Предложения заключаются в предцировании свойства объекту, причем и свойства и объекты существуют как независимые сущности (в силу первого признака Языка-1 его имени и предикаты описывают объективные сущности, не сводимые друг к другу), и в этом смысле предложения Языка-1 синтетические. Но в то же время они и аналитические, так как обладают непосредственной убедительной рациональной силой в максимально возможной степени: носитель этого языка знает, что данный предикат необходимо должен сочетаться с данным именем, поскольку в этом языке нет иных предложений, кроме необходимых. Различие между аналитическими и синтетическими предложениями появляется за пределами Языка-1 и возрастает в меру усложнения языка. Таким образом в Языке-1 наглядно моделируется то понимание проблемы аналитичности и синтетичности (5), которое гласит: "определенное суждение будет аналитическим или синтетическим лишь относительно данной языковой системы" [Смирнова 1962, 362].

По мере усложнения языка-модели в том направлении, о котором мы только что сказали, он начинает также моделировать различие между глубинными и поверхностными структурами, и в частности между глубинными и поверхностными аналитическими предложениями (тавтологиями). В самом деле, пока носитель Языка-1 может непосредственно контролировать соответствие обозначений объектов и обозначений их свойств (имен и предикатов) действительным объектам и действительным свойствам объектов, т.е. усматривать это прямо из высказанного предложения, до тех пор носитель имеет в этом предложении и глубинную и поверхностную структуру одновременно (та и другая не различаются). И если данное предложение — тавтология, то это одновременно и поверхностная и

глубинная тавтология. Поскольку, как мы уже видели, в Языке-1 в сущности каждое предложение есть одновременно и аналитическое и синтетическое, то аналитическими в узком смысле, тавтологиями, можно было бы назвать некоторый более узкий круг предложений Языка-1, такой, что даже самый факт сочетания имени и предиката, который произвел говорящий, слушателю уже заранее известен по тем или иным причинам, например оба находятся близко друг к другу, практически в одной точке пространства. Но по мере того как язык начинает охватывать все большее количество объектов и их свойств (причем оба этих процесса не обязательно должны идти параллельно — пример непараллельности см. в иерархии языков Р. Карнапа, гл. IV, 4), свойства аналитичности и синтетичности перестают совпадать, расходятся все дальше и одновременно аналитические предложения в узком смысле, тавтологии, бывшие прежде и поверхностными и глубинными сразу, становятся поверхностно нетавтологиями, оставаясь глубинно таковыми.

Аналогом одной из стадий этого процесса может служить первопорядковая логика, по поводу которой Я. Хинтикка замечает, что в ней все правильные логические выводы должны быть глубинными тавтологиями, но не все они поверхностные тавтологии. Из подобных фактов Хинтикка делает вывод: "Таким образом, в результате мы, по-видимому, впервые получаем четко определенное и интуитивно ясное понятие информации (в хинтикковском смысле. — Ю.С.), которое показывает, что правильное логическое или математическое рассуждение не является тавтологическим, а может увеличивать имеющуюся в нашем распоряжении информацию" [Хинтикка 1980, 59].

Итак, в Языке-1 все предложения равно и аналитические и синтетические; структура предложений — одновременно и поверхностная и глубинная структура; можно представить себе более узкий класс аналитических предложений в узком смысле, тавтологий, одновременно и поверхностных и глубинных; по мере расширения Языка-1 (т.е. превращения его в какой-то иной язык, в нашем случае в Язык-2) эти свойства, попарно тождественные и притом образующие параллельные пары, начинают расходиться.

В Языке-1 нет логических слов типа "или", "некоторые", "все" — введение их составляет особую проблему. Но, таким образом, в Языке-1 не может быть и отрицания. Это можно представить себе так, что говорящие на этом языке не могут говорить об отсутствующем, они всегда говорят только о том, что есть. Это еще одна проблема (6), она рассматривается

выше в связи с иерархией языков Рассела (гл. IV, 3). Конечно, тут же возникает вопрос: в таком случае, т.е. при невозможности говорить об отсутствующем, могут ли говорящие на Языке-1 лгать? Эти и другие свойства предикации и предложения станут ясны после введения координат говорящего.

В Языке-1 говорящий присутствует только как "говорящий о чем-то", он не может говорить о себе самом: его имени — "я" нет среди имен объектов. И, следовательно, в некотором смысле он не присутствует в этом языке вовсе. Все, что произносится на этом языке, соотносится с говорящим самим фактом его говорения: когда говорящий говорит, он тем самым задает себя как существующего (хотя не может сказать об этом), задает свое время и место. При этом, естественно, время — это всегда время говорения, а место — всегда место нахождения говорящего. Координата "я — здесь — сейчас" задана в этом языке фактом говорения на нем, но не выражена, и нет никаких средств выразить ее на этом языке, т.е. сказать о ней. В полном смысле слова координата говорящего появится с противопоставлением координат: "я — здесь — сейчас" — "я — там — тогда" — "ты — там — тогда" — "он — там — тогда" и т.д. Но это будет уже другой язык (в нашей модели — Язык-3), а введение координат говорящего и эгоцентрических слов будет явлением прагматики (дектики) — новой проблемой (7) (она рассматривается в гл. VI).

Тем не менее предикация на этом языке существует, и возможность ее существования при отсутствии координат говорящего проливает свет на ее важнейшее свойство. Если рассматривать предикацию вне координат говорящего, то сама предикация, как и ее результат, пропозиция, — это не "истина" и не "ложь", она станет тем или другим только в координатах говорящего. Но как возможность, предопределенная объективным основанием имен и предикатов, предикация выражает истину (невозможное было бы неистинно). Все сказанное составляет еще одну фундаментальную проблему семантики (8) (которая затрагивается в гл. IV, 2, 3; в гл. VI, 2, 3).

Следовательно, координаты говорящего — его "я", место и время, а также модальность и связанные категории не имеют отношения к сущности предикации и пропозиции, они накладываются на пропозицию, образуя, сочетанием этих двух слоев, высказывание.

Однако на Языке-1 возможны высказывания о прошлом, но только говорящий не будет знать, что это "прошлое", — оно будет таковым лишь для некоторого наблюдателя извне (если бы таковой нашелся). Для говорящего на Языке-1 прошлое должно представлять не как то же самое, что в "настоящем", сочетание

предиката с субъектом, но только отнесенное к иному времени, а как сочетание субъекта с иным предикатом. Если в языке, имеющем координаты времени, один и тот же признак (предикат) может мыслиться в разных временах, то в Языке-1 одним и тем же мыслится само время — это всегда время говорения, а меняется признак (предикат). Например, чтобы выразить различие между *Собака лохмата* и *Собака была лохмата*, на Языке-1 вместо одного признака "лохматый" должно быть два признака: "лохматый₁" — "то, что является лохматым в момент речи", и "лохматый₂" — "то, что было лохматым раньше".

В действительности, конечно, описание этого различия признаков должно было бы быть более сложным, поскольку понятия времени, а следовательно, и изменения, "теперь" и "раньше", не могут быть выражены на этом языке. Признак "лохматый₂" мог бы быть несколько точнее описан так: "то, что является лохматым, но не тогда, когда об этом говорится". Но поскольку носители Языка-1 не могут говорить об отсутствующем, то при этом следовало бы мыслить какие-то следы лохматости в момент говорения. Представление об этом вообразимом модальном различии могут дать некоторые факты естественных языков. Так, в языке тубатулабал (один из языков американских индейцев) различаются *hani'l* 'дом' и *hani'ri'l* 'дом в прошлом', т.е. "то, что было домом и больше им не является", но, несомненно, "то, что было домом в прошлом", должно в момент речи не отсутствовать, а присутствовать в виде чего-то другого (вполне аналогично "следам лохматости" в нашей модели); в некоторых индоевропейских языках противопоставляется наклонение очевидца и наклонение неочевидца события и т.п.

Имя является именем объекта, предикат — обозначением свойства этого объекта, и то и другое — понятия семантические; поэтому сочетание имени с предикатом — тоже понятие семантическое. Назовем его термином "семантический длинный компонент", который выражает объективный элемент действительности, соответствующий принадлежности данного объективного свойства данному объекту.

Наличие семантических длинных компонентов в высказываниях несомненно, но их классификация, а значит, и название, квалификация того компонента, который присутствует в данном конкретном высказывании, — трудная задача. Она соответствует выявлению наиболее общих семантических категорий — более общих, чем по отдельности категории имен и категории предикатов. В более сложном языке, чем Язык-1, сравнительно нетрудно обнаружить по крайней мере различия некоторых длинных компонентов. Например, сравнивая два высказывания

русского языка: *Человек сто́ит* и *Дерево сто́ит*, нетрудно видеть, что в первом проходит длинный семантический компонент "живое, активное", во втором — "неживое, неактивное". Частично эти компоненты (категории) могут совмещаться, что обнаруживается как совпадение высказываний по форме и содержанию, например в приведенной паре; частично же они резко противопоставлены, что обнаруживается в несовпадении по форме и содержанию высказываний *Человек встал* — **Дерево встало* (невозможно). Факт несовпадения как раз и говорит о том, что перед нами две различные категории.

Применительно к слабо развитому Языку-1 провести различие длинных компонентов — семантических категорий очень трудно, ведь все они принадлежат к одному и тому же классу имен и предикатов, и трудно обнаружить контрасты. Тем не менее эта очень существенная проблема одновременно синтактики и семантики остается (9). В этой книге она не затрагивается, но подробно рассматривается в другой [Степанов 1981, гл. IX].

Таким образом, Язык-1 — это язык, развитый очень не гармонично — главным образом в отношении семантики; синтактика в нем почти целиком подчинена семантике, а прагматика (дектика) вовсе отсутствует.

Можно ли представить себе искусство на таком языке? Поскольку на этом языке нельзя говорить о "я" — главном элементе прагматики (дектики), то, очевидно, лирика на таком языке невозможна, так же как и драма, предполагающая прямую речь и диалоги между "я" и "ты". При некоторых дополнительных условиях можно было бы представить себе "эпос" как повествование о предметах действительности, охватываемых именами этого языка. Но такой "эпос" должен был бы быть очень скучен: он повествовал бы только о том, что и без того известно на практике и о чем говорится в обыденной практической речи носителя этого языка. К тому же без координат говорящего (которые появятся только в Языке-3) "эпос" нельзя было бы отличить от практической речи.

Все же, думается, искусство слова на этом языке было бы возможно и, как ни странно, должно было бы с самого начала принять весьма утонченный (с современной точки зрения) характер: оно должно было бы быть или символическим, или формальным. (Поскольку в искусстве при этом мыслимо более чем одно направление, то возможна была бы и борьба направлений, а следовательно, одно могло бы быть сочтено прогрессивным, а другое реакционным и т.д. — всё как в действительности! Словом, модель действует.) Не имея возможности ни говорить о "я", ни придавать метафорические

значения именам (что было бы равносильно созданию новых классов объектов), носитель языка должен был бы ограничиться тем, чтобы извлекать наслаждение из сочетаний одних и тех же знаков, комбинируя их каким-нибудь новым способом. Но так как и при этом синтаксические перемещения запрещены или, во всяком случае, очень ограничены, то сочетания должны были бы касаться только формы, прежде всего звуковой, самих знаков. Если в практической речи этот язык разрешает своему носителю все сочетания имен с предикатами, то в поэтической речи носитель должен был бы ограничиться тем, чтобы выбирать имена и предикаты, скажем, созвучные друг другу (или, напротив, контрастные по звучанию). Если, например, в практической речи язык разрешает сочетания *Кот ежится; Барсук катится; Еж барахтается*, то "поэтическими" могли бы стать сочетания *Кот катится; Еж ежится; Барсук барахтается*. Подобно всякой рифме, эта внутренняя рифма подчеркивала бы более сильные связи признака и субъекта, не предусмотренные первоначальной семантикой языка. Теоретики поэзии на этом языке (если бы они были) могли бы видеть в этом свидетельство "познавательной роли искусства" и с полным правом утверждать, что "поэтическое", "художественное" высказывание, такое, как *Еж ежится*, обнаруживает новые качества ежа, незаметные в практической речи. Это символическое искусство (10). (Мы видели выше, в гл. I, б. 4, что аналогия едва ли не в большей степени, чем символ, выражает суть настоящего, исторического символизма.)

Поэзия на этом языке могла бы принять и иное, формальное, направление в виде, например, "синтаксического параллелизма" и "семантического параллелизма". "Простейший пример, — пишет Р. Якобсон об этих приемах в реальной поэзии, — в бесконечных путевых и рыболовных песнях кольских лопарей два смежных лица совершают одинаковые действия и служат как бы стержнем для автоматического, бессюжетного нанизывания таких самодовлеющих парных формул:

Я³ Катерина Васильевна, ты Катерина Семеновна;
У меня кошелек с деньгами, у тебя кошелек с деньгами;
У меня сорока узорчатая, у тебя сорока узорчатая;
У меня сарафан с казами, у тебя сарафан с казами

и т.д. В русской повести и песне о Фоме и Ереме ... :

Ерему в шею, а Фому в толчки!
Ерема ушел, а Фома убежал,

³Появление слов *я, ты* здесь, конечно, несущественно для модели, в которой они отсутствуют, это слова иллюстрации.

Ерема в овин, а Фома под овин,
Ерему сыскали, а Фому нашли,
Ерему били, а Фоме не спустили,
Ерема ушел в березник, а Фома в дубник.

Различия между сопоставляемыми выступлениями обоих братьев лишены значимости, эллиптическая фраза *Фома в дубник* вторит полной фразе *Ерема ушел в березник*, оба героя одинаково бежали в лес, и если один из них предпочел березовую рощу, а другой дубовую, то только потому, что *Ере́ма* и *березник* — равно амфибрахии, а *Фома́* и *дубни́к* — оба ямбы (ср. сказанное выше о созвучии имен и предикатов. — Ю.С.) [Якобсон 1983, 466]. Более детальные наблюдения над особенностями такой народной поэзии показывают, что последние вполне можно было бы и дальше моделировать в духе модели Языка-1. Удвоение языковой характеристики Фомы — Еремы достигается путем употребления:

- 1) синонимов: Ерема кричит, Фома верещит;
Ерему сыскали, Фому нашли;
- 2) имен одновидовых (для данной ситуации) предметов:
У Еремы были гусли, у Фомы орган;
У Еремы деревня, у Фомы сельцо;
На Ереме зипун, на Фоме кафтан и т.д.;
- 3) части и целого или целого и части:
У Еремы клеть, у Фомы изба;
Ерема вошел в церковь, Фома в алтарь и т.д.;
- 4) названием симметричных предметов:
Ерема встал на крылос, Фома на другой.

В.В. Лепяхин резюмирует это так: "Фома является языковой тенью Еремы" [Лепяхин 1981, 68; ср.: Лихачев, Панченко 1976, 51]. Продолжая подобные наблюдения над "Повестью о Горе-Злочастии", тот же исследователь отмечает, что языковой повтор, параллелизм, сравнение, например действий человека с действиями животного, перерастают в персонификацию последнего, в создание двойника главного персонажа. "Процесс шел не от образа к языковым средствам, к языковому воплощению, а, наоборот, от языковой практики, от устойчивых языковых форм к их персонификации и образованию двойничества" [Лепяхин 1981, 72]. При этом в терминах синонимического параллелизма описаны не только главные персонажи, например братья Фома и Ерема, но и все, что их окружает: *Одна уточка белёшенька, а другая-то что снег* [Якобсон 1983, 465—466].

Если все подобные примеры могут быть обобщенно названы семантическим параллелизмом, то примеры, приведенные вначале (*У меня кошелек с деньгами, У тебя кошелек с деньгами*), — скорее параллелизмом синтаксическим. Но как

назвать такое формальное искусство в целом — семантическим (принимая во внимание, что оно играет семантикой, не обращаясь к внешнему миру)? Или синтаксическим (поскольку основой игры оказывается параллелизм синтаксического построения)? Пожалуй, все-таки семантическим, поскольку внимание художника направлено на параллелизм семантики, обрабатывается и варьируется именно семантика, а синтаксис выступает как неизменная и не поддающаяся варьированию основа (ведь никакие изменения построения в Языке-1 не разрешены); эта основа-синтаксис выражается здесь сама собой, без намеренного участия художника. Справедливо было замечено, что то в языке, что выражается самой его формой, в известном смысле — для носителя языка, не выражается вовсе [Витгенштейн 1958].

Не только семантический, но и звуковой параллелизм, возникший в модели, находит реальные соответствия в языке древнейшей индоевропейской поэзии; она свидетельствует тем самым, что символическое и формальное направления могут не только бороться, но и совмещаться.

Ф. де Соссюр, который много (хотя большей частью для себя, не для публикации) занимался вопросом о звуковой форме знаков языка, пришел к выводу, что от стихотворных созвучий (аллитераций, рифм всякого рода) нужно отделить созвучия совсем иного типа, назначением которых было выделение сакральных связей слов, особенно имени божества, восплаемого лица, умершего и т.п. Он назвал их анаграммами, и они виделись ему повсюду в древнейшем индоевропейском поэтическом и культовом слове. В одном стихе в эпитафии на гробнице Сципиона Бородатого Соссюр находил зашифрованным имя *Сципион* — *Scîpio*:

Taurasia Cisauna Samnio cêpit,

т.е. в переводе на классическую латинскую прозу — *Taurasiam, Cisaunam, Samnium cêpit* 'Он взял (местности) Тауразию, Цизауну, Самний'.

Соссюр писал: «Если... признается, что все слоги могут участвовать в звуковой симметрии, то тогда из этого следует, что такие звуковые сочетания никак не зависят от стиха и от его ритма и что данная поэтическая форма образуется сочетанием ритмической схемы стиха со вторым принципом, от него не зависящим. Чтобы удовлетворить этому второму условию формы *сагтеп* (латин., первоначально „ритмическая магическая формула, заклинание“, позднее „песня, стихотворение“. — Ю.С.), условию, которое совершенно не зависит от образования стоп и размещения ударений, я действительно утверждаю (и в

дальнейшем это будет моим исходным допущением), что поэт полностью отдавался звуковому анализу слов, который становится его обычным занятием: эта наука о произносимой форме слов с самых древних индоевропейских времен была причиной превосходства, особых качеств индийских *kavis*, латинских *vates* и т.д.» [Соссюр 1977, 639]. (Др.-инд. *kavi* 'мудрец, поэт' (здесь во мн. числе); латин. *vates* 'пророк, оракул, поэт'; пророчества обычно изрекались в ритмической форме.) Проблема "формальных поэтик" (11) рассматривается подробнее выше (гл. IV, 5).

Впрочем, не только "поэтика" Языка-1, но и весь он в целом довольно хорошо отвечает одному фрагменту протоиндоевропейского языка, восстанавливаемому сравнительно-историческим методом. Вот этот фрагмент.

Реальный аналог Языка-1. Выше мы неоднократно убеждались в том, что какая-либо модель языка моделирует не весь естественный язык, а лишь один его фрагмент, но при этом сама модель имеет вид полного языка. Так обстоит дело, в частности, с каждым из "языков" (моделей) в иерархии языков Б. Рассела и Р. Карнапа. Именно в этом смысле мы говорим о реальном аналоге модели в данном случае: им является один фрагмент естественного протоиндоевропейского языка.

Еще в 1901 г. в статье "Агенса и пациенсы в падежной системе индоевропейских языков" Х.К. Уленбек выдвинул положение о том, что исторически засвидетельствованной системе из восьми падежей (номинатив, вокатив, аккузатив, генитив, аблатив, датив, локатив, инструменталис) предшествовала в протоиндоевропейском другая система, лишь с двумя основными падежами. Уленбек назвал их активом и пассивом. Актив был падежом действующего лица, агенса, т.е. падежом субъекта при переходном глаголе: он характеризовался показателем *-s*. Пассив был падежом пациенсы, т.е. безразлично лица или вещи, о которых нечто говорится, но которым не приписывается активного, переходного действия. Это был, таким образом, падеж объекта при переходном глаголе и падеж субъекта при непереходном глаголе, причем последнее и было его определяющей ролью. Падеж пассив характеризовался отсутствием специальных показателей, в его роли функционировала чистая основа, и только в основах на *-o* он приобретал показатель *-m* [Уленбек 1950].

Из изложенной теории прямо вытекало утверждение (самим Уленбеком не сформулированное): в протоиндоевропейском существовали три различных типа предложения, т.е. три типа сочетания имени-субъекта с глаголом-предикатом: 1) активный субъект (лицо или подобное лицу) + переходный глагол

(показатель субъекта *-s*); 2) неактивный субъект (вещь или подобное вещи) + непереходный глагол (показатель субъекта "нуль" или, в основах на *-o*, *-m*); 3) активный субъект + переходный глагол + неактивный объект (показатель субъекта *-s*, показатель объекта "нуль" или *-m*). Третий тип — явно комплексный и производный от двух первых. Любой из двух первых, взятый по отдельности, может рассматриваться как аналог Языка-1. Субъекты предложений первого типа составляли класс активных предметов, под который в языке протоиндоевропейцев подпадали активно действующие взрослые люди, божества, активные силы природы, небесные светила, плодовые деревья и т.п. Этот класс в дальнейшем разделился на два грамматических рода — мужской и женский. Субъекты предложений второго типа образовывали другой класс — неактивных предметов, впоследствии преобразованный в грамматический средний род: неактивные люди, прежде всего дети, плоды ("дети плодовых деревьев"), вещи. Каждому классу субъектов соответствовал свой тип предикатов-глаголов, хотя установить их в деталях гораздо труднее, чем классы субъектов-имен. Однако несомненные следы двух типов предложений сохранились в современных индоевропейских языках: в английском — 1) *The man raises something* 'Человек поднимает нечто', но 2) *The wind rises* 'Ветер поднимается', так же в литовском — 1) *Vygas kelia kažką*, но 2) *Vėjas kyla*⁴ — корни глаголов варьируются.

Более последовательно аналогичное деление на два типа предложений с соответствующими делениями имен и глаголов проведено в языках так называемого активного строя, в частности во многих индейских языках. Интересно, что как раз в этих языках реально засвидетельствовано отсутствие категории времени, предсказываемое нашей моделью. По данным Б.Л. Уорфа, в языке хопи, например, можно различить только: а) действие, происходящее в поле зрения говорящего (соответственно в русском, например, *Он бежит*); б) действие, уже исчезнувшее из поля зрения говорящего, но являющееся для него фактом (рус. *Он бежал*), в хопи та же самая форма, что и в случае "а"; в) действие, восстанавливаемое говорящим по памяти (рус. *Он бежал*, та же форма), в хопи особая форма; г) действие, являющееся ожидаемым (рус. *Он будет бежать*), в хопи особая форма; д) действие, являющееся законом, правилом (рус. *Он бегаёт*), в хопи особая форма.

Индоевропейский реальный аналог показывает, как мог бы

⁴В современном литовском языке возможна также форма *Vėjas keliasi*.

развиваться такой язык дальше: достаточно, путем простого соположения в речевой цепочке, после предиката поставить второе имя (кроме имени субъекта), чтобы это имя превратилось в обозначение либо инструмента, посредством которого совершается действие, вышедшее за пределы субъекта, либо объекта, на который действие переходит. В действительности индоевропейский язык, по-видимому, так и развивался. В абстрактном представлении этому будет соответствовать то, что появятся высказывания степени 2, и это свойство будет моделировано ниже, в Языке-2.

2. ЯЗЫК-2 (С СЕМАНТИКОЙ И СИНТАКТИКОЙ)

Язык-2 — это такой естественный язык, все основные показатели которого характеризуются числом 2. Как мы увидим ниже, это изменение по сравнению с Языком-1 связано с тем, что у Языка-2 появляется более развитая, чем у Языка-1, синтактика.

Степень 2 в высказываниях означает, что кроме термина-субъекта должен быть еще один терм, объект. (В нижеследующем рассуждении "объект" понимается как "терм", противопоставленный "субъекту", а не как "предмет внешнего мира", "вещь"; последние равно соответствуют и "субъектам" и "объектам".) *Кошка ловит мышь; Кошка ест мышь* — типичные высказывания этого языка. Так как все предикаты в них двухместные, то все глаголы здесь переходные.

Присутствие термина-объекта, отличного от термина-субъекта, естественно согласуется с другой характерной чертой этого языка: его имена группируются в два класса, указывающие на два множества объектов действительности; один класс составляет термины субъектов, второй — термины объектов. Естественно связать различающий их, контрастный признак с различием предметов в действительности, например с активностью предметов и особой первого класса, противопоставленной неактивности предметов и особой второго. Таким образом, различие субъекта и объекта в этом языке является семантическим признаком (и одновременно, конечно, признаком синтаксическим). Кошка имеет свойства (признаки) ловить мышей, есть мышей, но мышь не имеет свойства ловить кошек, есть кошек; мышь в данном языке относится к предметам второго класса.

Теперь можно поставить вопрос о предикатах. Сколько их классов должно быть в этом языке? Наличие одного класса предопределено: это обозначения признаков тех объектов, которые обозначаются первым ("активным") классом имен. Все эти предикаты — обозначения активных свойств, соответствующие переходным глаголам таких языков, как русский или английский, — "ловить", "есть" и т.п. Но что сказать о признаках второ-

го ("неактивного") класса? Приходится признать, что в Языке-2 объекты этого класса либо лишены признаков, но это было бы слишком далеко от естественного языка, либо характеризуются вторичными признаками, т.е. в зависимости от объектов первого класса, как трансформации предикатов первого класса: если, например, "ловить" — предикат первого класса предикатов, характеризующий объект первого класса объектов (Кошка ловит; способна ловить), то "ловиться" — предикат второго класса (Мышь ловится; способна быть ловимой). Это представление несколько ближе к естественному языку, примем его и ниже рассмотрим подробнее. (На самом деле в естественном языке при процессе развития типа "от Языка-1 к Языку-2" трудность разрешалась бы просто тем, что сохранялись бы все классы Языка-1; в языках североамериканских индейцев, так называемых активных, имена активного класса имеют свои предикаты, имена неактивного класса — свои, т.е. как в Языке-1, но при развитии в сторону номинативного строя, к переходным предикатам, изначальные классы не исчезают.)

Вернемся к классам имен Языка-2. Очевидно, однако, что взятый для иллюстрации признак слишком дробный, мелкий. Он соответствовал бы тому объективному положению дел, при котором Язык-1, рассмотренный выше, развивался бы таким образом, что единственный класс предметов, о котором можно говорить на этом языке (животные), дробился бы на все более мелкие классы (кошки, мыши, барсуки и т.п.); в то же время никаких других классов предметов помимо и вне класса животных в языке не появлялось бы. Такая линия развития имеет место в реальной истории, но если допустить, что только она одна и существует, то это, конечно, неестественный путь развития языка. Гораздо естественнее в первую очередь предположить, как это и имеет место в действительности, что рядом с одним классом (например, животных) появляются другие, столь же крупные классы объектов, которые начинает охватывать этот язык, например класс растений. Поэтому для иллюстрации модели Язык-2 мы примем следующие два класса его объектов: класс "животные" (существовавший уже в модели Язык-1) и второй, новый класс "растения". В высказываниях Языка-2 имена первого класса выступают всегда только субъектами, имена второго класса — только объектами. Типичными высказываниями будут, следовательно, такие: *Гусь ест траву; Кошка не ест траву; Свинья подрывает дерево; Синица обклеивает рябину* и т.п. (Чтобы здесь излишне не усложнять рассуждение, будем считать, что отрицание каким-то образом уже введено в модель, хотя, как мы видели в предыдущем разделе, это особая, четко формулируемая проблема.)

Появление второго класса имен (объектов) и второго класса предикатов (признаков объектов) изменяет уже отмеченные в Языке-1 проблемы семантики (1—11) и ставит новые.

Отношение имени класса к именам членов класса. Эта проблема обнаруживает тенденцию к своеобразному градуальному (рекурсивному) усложнению, но эта же тенденция содержит и зародыш решения. В Языке-1 имя "животные", обозначающее класс имен в целом, само отсутствовало. Его можно было бы представить себе только в метаязыке — в языке некоего наблюдателя извне, который поставил бы своей целью описать класс имен Языка-1 как целое. Что касается Языка-2, то появление второго, противопоставленного класса имен — "растения" создает контраст классов в пределах уже самого этого языка. Хотя имена "животное" и "растение" в Языке-2 по-прежнему отсутствуют, но место для этих терминов уже предопределено самим этим языком; будет поэтому вполне в духе модели представить себе дело таким образом, что носитель Языка-2 ощущает этот контраст и может дать ему название, например "животные" и "растения". Таким образом, Язык-2 чреват появлением общих терминов и, следовательно, превращением в Язык-3. Процесс носит рекурсивный характер в определенных пределах.

Исторически первой формулировкой отмеченного процесса было "дерево Порфирия" (ниже ветви одного уровня разделяются тире, а уровень от уровня — точкой с запятой; читатель легко может перевести описание в графическую схему):

0. Субстанция; 1. Бестелесная — 2. Телесная (Тело); 2.1. Недушевленное — 2.2. Одушевленное (Живое); 2.2.1. Нечувствующее (Растение) — 2.2.2. Чувствующее (Животное); 2.2.2.1. Неразумное — 2.2.2.2. Разумное (Человек).

"Дерево Порфирия" было создано как описание первой из категорий Аристотеля — категории Сущность. Пределы процесса ограничены естественным языком, что хорошо отражено схемой Порфирия. Верхним пределом выступает понятие "субстанция", уже не имеющее естественного выражения в естественном языке. Нижним пределом выступает понятие "индивид" в сфере "человек", имеющее бесчисленное множество выражений в естественном языке. Оба понятия являются предметом философии языка, начиная с античности и особенно в средневековье; в общей форме значение "имени класса" и "общего имени" рассматривалось многими в новое время (см. гл. I, 1; гл. IV, 3).

Имена класса "животные" выступают субъектами, а имена класса "растения" — объектами предложений в Языке-2. Поэтому, как уже сказано, типичными высказываниями

являются здесь предложения типа *Гусь ест траву*; *Свинья подрывает дерево*. Высказывания с обратным употреблением терминов при том же предикате, т.е. такие, чтобы термин класса "растения" стал субъектом, а термин класса "животные" — объектом, невозможны. Невозможны, следовательно, высказывания **Трава ест гуся*; **Трава не ест кошку*; **Дерево подрывает свинью*; **Рябина обклеивает синицу* и т.п.

Этот запрет вытекает из ранее принятого (уже для Языка-1) соглашения: свойства, выражаемые предикатами, соответствуют объективным свойствам классов предметов. Таким образом, основная характеристика предикации, уже данная для Языка-1, в Языке-2 сохраняется.

Однако в Языке-2 ничто не мешает сделать терм-объект термом-субъектом при условии трансформации предиката; это как раз и будет соответствовать той особенности Языка-2, что в нем разрешены высказывания уровня 2 (или порядка 2). Проблема трансформаций и перифраз (12) в этой книге не затрагивается [о ней см.: Степанов 1981].

Уровень (порядок) 2 означает, что в этом языке некоторые высказывания могут быть получены из более простых, первичных высказываний уровня 1 (или, в обратной последовательности, высказывания уровня 2 могут быть сведены к высказываниям уровня 1). Например, из высказывания уровня 1 *Свинья подрывает дерево* может быть получено высказывание уровня 2 *Дерево подрывается свиньей*. Здесь заложена возможность представить одно и то же объективное отношение предмета и признака двумя логически равноценными способами, по субъективному выбору говорящего (*Свинья подрывает дерево* — *Дерево подрывается свиньей*). Эта черта языка далее получит отражение в различии экстенционала и интенционала. Этот вопрос (13) рассматривается выше (гл. IV, 4; гл. IV, 2).

Координаты говорящего в Языке-2 по-прежнему отсутствуют; они появляются в том языке (Языке-3), где среди классов имен возникнет особый класс "я" и это имя сможет попеременно присваивать себе каждый носитель языка.

Существенной новой чертой Языка-2 становится сочетаемость. Конечно, всякое предложение есть сочетание субъекта с предикатом, но в Языке-1 — это именно лишь сопутствующая черта предложения.

В Языке-2, где имеется по два класса имен и предикатов, ничто не запрещает его носителю нарушить первоначальную сочетаемость и сочетать с субъектами одного класса предикаты, определяющие второй класс субъектов. Поскольку предикат выбирается при этом из класса, который не является первоначальным

чальным определением субъекта, то полученное таким образом предложение в системе Языка-2 уже не является аналитическим, но только синтетическим.

Таким образом, в Языке-2 существуют, казалось бы, предложения, являющиеся одновременно аналитическими и синтетическими, как в Языке-1, — это те именно предложения, которые основаны на "старой" сочетаемости субъектов с предикатами "своего" класса, и предложения синтетические, основанные на "новой" сочетаемости субъектов с предикатами "не своего" класса. Однако согласиться с этим можно лишь в том случае, если Язык-2 имеет какое-либо формальное средство различать "старую" и "новую" сочетаемость. Например, субъекты и предикаты "старой" сочетаемости имеют один морфологический показатель, а "новой" — другой; иллюстрацией может служить согласование по роду в русском предложении, т.е. наличие или отсутствие показателя *-а*: *Береза стар-а — Дуб стар-*; другой иллюстрацией будет наличие или отсутствие частицы *-ся* в предикате: отсутствие ее свидетельствует о "старой" сочетаемости (*Синица обклеывает рябину*), а наличие — о "новой" (*Рябина обклеывается*). Но если такая формальная черта не задана, то появление класса синтетических предложений, формально ничем не отличающихся от предложений, являющихся одновременно аналитическими и синтетическими, спутывает всю картину, и перед носителями Языка-2 встает проблема, аналогичная той, которую пытаются разрешить носители естественного языка, желая отграничить аналитические предложения от синтетических. (Остается вопрос, в который мы не будем сейчас углубляться: возможны ли при новом условии чисто аналитические предложения в Языке-2?)

По определению языка каждый из первоначальных классов субъектов означает некоторые предметы реального мира, имеющие в действительности те признаки, которые составляют класс их предикатов; между классом субъектов и классом предикатов существует связь, обусловленная реальным миром. Теперь, когда сочетаемость расширяется и субъекты одного класса получают возможность сочетаться с предикатами не своего класса, естественное, обусловленное реальным миром основание их связи нарушается. Тогда что же выражают "новые" предложения?

Каждое из них выражает сочетание смыслов, не запрещенное правилами этого языка (и, следовательно, логически правильное), но, возможно, не определяющее никакой реальный объект в мире, описываемом Языком-2 в его "старых" предложениях. Это осмысленные языковые выражения, не "увенчанные" объектами. Их естественно назвать интенционалами. В

отличие от интенционалов реальные объекты, описываемые выражениями Языка-2, будем называть экстенционалами.

Если в Языке-2 становится разрешенной "новая" сочетаемость, описанная выше, то он перестает быть экстенциональным языком и становится языком интенциональным. Различие этих двух типов языков (14) в этой книге затрагивается в связи с пропозициональными установками (гл. IV, 3, 4).

По-новому предстает в Языке-2 проблема различения имен и предикатов. По определению имени в языке соответствуют вещам (предметам) в действительности, а предикаты — свойствам вещей в действительности. Но где критерий разграничения "вещей" и "свойств" в самой действительности? Почему одно считается "вещью", а другое "свойством" вещи, а не наоборот?

Язык-1 заставляет смотреть на это различие именно как на условность, вызванную свойствами самого данного языка. Действительно, в Языке-1, где имеется только один класс объектов и соответствующий ему один класс свойств, вообще говоря, безразлично, представить ли объекты через их свойства или свойства через их объекты. Можно определить "кошку" как "тот, кто мяукает" или, напротив, определить "мяукать" как "свойство кошки". Иными словами, в Языке-1 полностью действует "принцип объемности": свойство определяет класс, а класс может быть представлен его свойством, в некотором смысле — сведен к свойству.

Поскольку в Языке-1 существует только один класс имен, а противопоставленный ему класс слов — это класс предикатов, то, вообще говоря, даже с чисто лингвистической точки зрения второй класс тоже может быть назван классом имен, но только в синтаксическом (или синтаксическом) смысле. В самом деле, предикаты в этом языке как бы именуют свойства вещей, но только в отличие от имен вещей делают это в составе предложения. Рассел сформулировал подобный тезис почти афористически: «Такие слова, как "красный", "синий", "твердый", "мягкий" и т.п., являются, по моему мнению, именами в синтаксическом смысле» [Russel 1980, 95] (этот семантический вопрос (15) см. также в гл. IV, 3 и в гл. I, 1). Некоторые логики, занимавшиеся проблемами языка, положили эту черту в основание моделирования языка вообще [Карнап 1959]. Но язык открывает несравненно более сложную картину и возможности совсем иных путей. Применить отождествление объекта со свойством, т.е. "принцип объемности", даже к Языку-2 простым и естественным образом кажется невозможным.

В Языке-2 все имена по-прежнему определяют классы объектов. Что касается предикатов, то те из них, которые

300

соответствуют "старой" сочетаемости, также по-прежнему определяют классы объектов (в обоих случаях имеются в виду классы объектов, реально существующих в данном мире); но предикаты, соответствующие "новой" сочетаемости, перестают определять классы объектов в этом смысле, они определяют как реальные, существующие объекты, так и некие сущности, которые лишь могли бы существовать в мире. Иными словами, предикаты теперь определяют как экстенционалы, так и интенционалы, а последние не обязательно "завершены" объектами. Если в Языке-1 "— мяукает" всегда определяло класс "кошки", то в Языке-2 этот предикат определяет класс "мяукающие сущности" — как кошек, так и каких-то иных предметов, которые могут обладать признаком "мяукать", не являясь кошками (их можно назвать объектами в новом, широком смысле термина). Определение "X мяукает" адресует к "мяукающим объектам", в который включаются прежде всего "кошки" (а для обычного говорящего в практической речи и единственно только "кошки"). Определение "Кошка издает звук у" адресует к "классам, являющимися кошками", этот класс пересекается с классом "мяукающие объекты", но может характеризоваться и иными признаками (например, *Кошка имеет хвост*). Если "кошки" объективно существуют в виде множества индивидов (в данном случае — вид кошек), то "мяукающие объекты" или тем более "объекты, имеющие хвост", существуют не как единый класс индивидов, а лишь как совокупности, собранные абстрагирующей деятельностью человеческого разума.

Благодаря этой черте в рамках Языка-2 возникает понятие интенционального, или возможного, мира, отличного от реального мира экстенционалов. Оно связано с тем, что интенционалы занимают срединное положение между выражениями языка и предметами внеязыкового, объективного мира. Тем не менее все три вида сущностей: 1) языковые выражения, 2) интенционалы, 3) реальные предметы — существуют. Но, естественно, "существование" тогда следует понимать в трех различных смыслах. Это было темой философии языка на протяжении столетий (см. гл. 1, 2, 3, 4). Рассел (в "Проблемах философии" [Рассел 1914], т.е. в то время, когда он еще не отвергал понятие "сущности" за его "метафизичность") удачно резюмировал древнюю традицию в трех различных выражениях: существование вообще (все его виды) обозначается термином "существование" (англ. being); реальные предметы и языковые выражения (как чувственно воспринимаемые знаки, т.е. виды бытия 3 и 1) "экзистируют" (англ. exist, от лат. existentia); интенционалы же (вид бытия 2) "субзистируют" (англ. subsist,

от лат. *subsistentia*). Логические и математические истины, числа (в платоновском понимании) также "субзистируют". В аспекте "существования" эта проблема (16) рассматривается в гл. I, а в аспекте "возможных миров" — особенно в гл. IV, 3.

Используем вместо примера с кошкой три выражения, заимствованных для наглядности не из Языка-2, а из вполне естественного языка: 1) *Победитель при Ваграме*, 2) *Тот, кто победил при Ваграме*, 3) *Побежденный при Ватерлоо*. Все три определяют один и тот же индивид в реальном мире — Наполеон (экстенционал); они экстенционально тождественны. При этом (1) и (2) имеют один и тот же интенционал (смысл), они интенционально тождественны, в (3) — отличный интенционал.

В практической речи (мы все еще, для иллюстрации, находимся за рамками Языка-2, в естественном языке), где обычно отсутствуют длинные тексты и контексты, значение по экстенционалу играет определяющую роль, а иногда только оно вообще и играет роль. В какой-нибудь отдельной фразе, которой мы в беседе желаем намекнуть на Наполеона, мы можем безразлично сказать: *победитель при Ваграме* или *побежденный при Ватерлоо*. Но если речь идет о научном труде по истории, который мы, скажем, переводим с английского языка на русский, то мы никак не можем перевести выражение *победитель при Ваграме* выражением *побежденный при Ватерлоо*. Контекст играет здесь важную роль. Параллельно этому возрастает и роль интенционалов.

Наконец, там, где длинный контекст, дискурс является сам по себе целью сообщения, — например, в художественной речи, в романе, — понятие интенционала выходит на первый план, в то время как понятие экстенционала может играть роль очень незначительную. Например, какой-нибудь роман, повествующий об определенном периоде жизни Наполеона, может иметь весьма отдаленное отношение к реальному индивиду Наполеону, но зато интенционал "победитель при Ваграме" будет исключительным значением этого имени, а замена этого выражения на "побежденный при Ватерлоо" будет вообще бессмыслицей. (Но в "Озарениях" Рембо (см. гл. I, 2.6) так "склеены" персонажи двух разных миров на том основании, что они были одним и тем же лицом в действительном мире.)

Таким образом, каждый интенционал индивидуального имени определяет некоторый индивид в некотором возможном, но не обязательно актуальном существующем мире. Каждый интенционал вообще определяет некоторую сущность, "вещь" возможного, хотя не обязательно актуального мира.

Сам же возможный мир — это мир, состоящий из предметов, индивидов, сущностей, соответствующих интенционалам какого-либо языка. Возможный мир создается средствами языка. Если, например, в естественном языке (который описывает актуальный мир) трем разным приведенным выше выражениям соответствует один экстенционал — Наполеон, то в одном из возможных миров, который будет создан с помощью естественного языка таким образом, что каждому интенционалу будет приписан отдельный, соответствующий ему индивид, не будет "одного Наполеона", а будет некий индивид, соответствующий "победителю под Ваграмом", и некий другой индивид, соответствующий "побежденному при Ватерлоо". При другом соглашении относительно языка этот воображаемый мир может быть разведен на два новых, также воображаемых мира, в одном из которых будет существовать только индивид, соответствующий первому интенционалу, а в другом — второму. Возможный мир строится по законам логики, он внутренне целесообразен и логичен, но его интенционалы не завершены экстенционалами, для них не находится существующих "вещей" в действительном мире. Все сказанное действительно и для Языка-2.

На Языке-2 возможна прекрасная содержательная поэзия. Ее основное выразительное средство будет состоять в новой сочетаемости субъектов с предикатами и, шире, в снятии ограничений на сочетаемость. Ее содержанием будет "интенциональный" мир смыслов, построенный по законам логики, но не обязательно "завершенный" реальными объектами.

Поэзия в этом смысле отвечает двум замечательным определениям ее — Лорки и Пушкина.

Лорка: «Однажды меня спросили, что такое поэзия. Я вспомнил одного своего друга и ответил: "Поэзия? Это союз двух слов, о которых никто не подозревал, что они могут сочетаться и которые открывают нам новую тайну всякий раз, как мы их произносим совместно". Например, если вспомнить этого моего друга, то поэзия вот что: „Он — раненый олень"» (F. García Lorca. Prosa. Poesía. Teatro. М.: Progreso, 1979). Частным результатом сочетания будет метафора — новое качество языка. (Г.В. Степанов считает это основным свойством поэзии самого Лорки [Степанов Г.В., 1979, 16], и в известной мере это — свойство искусства слова вообще [Храпченко 1983].)

Пушкин: "Между тем, как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готтшеда; мы

все еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе, и что главное достоинство искусства есть польза... Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя" [Пушкин 1949, XI, 177]. "Предполагаемые обстоятельства" Пушкина, в которых, однако, господствует "истина", пусть "истина страстей", и есть "возможный мир" поэзии — интенциональный мир.

Пушкин указал и на традицию, к которой он присоединяется, — Кант и Лессинг. Кант в главе "Критика эстетической способности суждения" определяет "красоту" (как предмет искусства) как "форму целесообразности предмета, но без представления цели" [Кант 1966, 240]. "Целесообразность предмета" соответствует объективной закономерности реального мира, "форма целесообразности предмета" — его место в логической картине мира, а "форма целесообразности без представления цели" — это и есть, в терминологии нашего рассуждения, не что иное, как интенционал. Положение Канта в неявном виде содержит две глубокие истины: оно говорит о существовании объективной закономерности в мире и о необходимости внутренней, логической закономерности в произведении искусства. Внутренне нелогичное произведение искусства не может отразить "объективную логику" мира.

Определения Канта и Пушкина говорят об общих свойствах интенционального мира. Вернемся теперь к его "мелкой мере" — к сочетанию слов, и прежде всего к сочетанию предиката с субъектом. Если сама суть поэзии в мире Языка-2 — это "новая" сочетаемость имен и предикатов, то ее результатом, продуктом будут новые предложения, относящиеся к интенциональному миру поэзии. Поскольку они уже осуществились (кем-то высказаны на Языке-2), их можно описать как класс и классифицировать на подклассы, — получится — в воображаемом мире Языка-2, — учение о существующих поэтических сочетаниях имен с предикатами, т.е. учение о постоянных сюжетах. Таким образом, Язык-2 моделирует некоторые черты синтаксических поэтик, которые подробнее рассматриваются выше (гл. IV, 5, ср. также в гл. V, 3).

Как и Язык-1, Язык-2 находит реальный аналог в протоиндоевропейском. Один класс имен можно отождествить с именами предметов, характеризующихся как класс "агенс, актив", другой класс — как "пациенс, неактив" (см. выше). Но в отличие от поисков аналога Языка-1 здесь нужно не выбрать один из классов, а принять их одновременное наличие. Тем самым, в соответствии с теорией

Х.К. Уленбека, принимается сосуществование двух типов предложений: 1) с активным субъектом и переходным глаголом, 2) с неактивным субъектом и непереходным глаголом. Но тогда нужно принять как необходимое следствие и сосуществование с ними третьего типа, где за переходным глаголом следовал объект (пассивный, пациенс).

Возникновение предложений уровня (порядка) 2, т.е. трансформаций, предусмотренное моделью Язык-2, также находит реальные аналоги, например пассив. Его прототипом служили двучленные предложения типа 2, т.е. типа рус. *Ветер поднимается*, а также *Человек рождается*, *Дом строится*, *Лес рубится* и т.п. Но так как рядом с пассивными предложениями такого типа уже существовали предложения степени 2 с двумя терминами, где второй терм обозначал "сопутствующий объект", то вскоре должен был естественным путем появиться трехчленный пассив типа рус. *Человек рождается женщиной*; *Дом строится рабочими*; *Лес рубится лесорубами*.

3. ЯЗЫК-3 (С СЕМАНТИКОЙ, СИНТАКТИКОЙ И ПРАГМАТИКОЙ—ДЕКТИКОЙ)

Продолжаем усложнять модели, следуя "принципу Лобачевского", т.е. подмечая динамику исходного состояния и вводя в следующую модель тот элемент, который отсутствует в предыдущей, но должен был бы появиться при свободном продолжении ее движения. Третья модель, Язык-3, отличается от предыдущей наличием элемента "Я". По-видимому, неслучайным совпадением является то, что, вводя элемент "Я" в рамках своей системы "трансцендентального идеализма", Шеллинг использует тот же принцип, что и Лобачевский, и даже говорит об этом почти теми же словами: "Если принцип философии сводится к постулату, то объектом постулирования служит здесь построение, самое первоначальное для внутреннего чувства, т.е. я, не такое, которое обладает той или иной определенностью, но я вообще, как самопорождение... Результат этот не обладает никакой силой вне построения, он вообще есть, только постольку строится, и в отвлечении от построения существует столь же мало, как и линия геометра... По той же самой причине сущность я столь же мало доказуема, как и сущность линии; можно лишь описать ту деятельность, при помощи которой я возникает" [Шеллинг 1936, 54]. Но рассмотрим все по порядку.

Язык-3 — это такой естественный язык, все основные показатели которого характеризуются числом 3 или более.

Степень 3 показывает, что предикаты в этом языке трехместные (или вообще n -местные, где n больше или равно 3). *Петр купил машину у Ивана* (1); *Иван продал машину Петру* (2); *Машина продана Иваном Петру* (3); *Машина куплена Петром у Ивана* (4); *Машина куплена Петром у Ивана по государственной цене* (5) — типичные высказывания этого языка.

Уровень (порядок) 3 (или более) говорит о наличии в этом языке трехэтапных или более сложных преобразований выражений — от простого к сложному или в обратном порядке. Например, возможны следующие преобразования в сторону упрощения: (5) — (4) — (1), при этом на каждом этапе здесь высказывание остается трехместным, не переходит границу 3. Если же допустить (что вполне естественно), что преобразования могут переходить эту границу, то их ряд становится вполне аналогичным тому, с чем мы имеем дело в естественном языке: *Машина куплена Петром у Ивана по государственной цене* — *Машина куплена Петром у Ивана* — *Петр купил машину у Ивана* — *Петр купил машину*. Последнее высказывание двухместное, типичное для языка иной модели — Языка-2. Все приведенные преобразования — перифразы.

Следовательно, естественно принять, что Язык-3 включает в себя Язык-2. Можно также допустить, что Язык-3 включает в себя и Язык-1. (Так, например, когда в действительности в индоевропейских языках развиваются преобразования с переходными глаголами типа *Старик пишет письмо*, то не утрачиваются предложения с непереходными типа *Карандаш пишет*; нечто похожее имеет место, по-видимому, в развитии "активных" языков североамериканских индейцев.) Но это допущение не обязательно; точно так же можно было бы раньше допустить, что Язык-2 включает в себя Язык-1, что тоже не обязательно, и мы этого не делали.

Все же теперь — с целью избежать построения длинного ряда промежуточных моделей — можно принять именно это необязательное условие: Язык-3 включает в себя Язык-2 и Язык-1. Это значит, что высказывания и классы имен и предикатов, имеющиеся в Языках-2 и 1, имеются также в Языке-3. Однако суть Языка-3 связана именно с его собственной чертой — наличием высказываний степени 3 и уровня 3.

Но тогда понятие уровня (порядка) и связанное с ним понятие преобразования делаются — каждое — разнородными; они становятся, скорее, общими заголовками для некоторых подводимых под них явлений разной природы. Поскольку все это — следствие естественного процесса моделирования,

то с этим приходится согласиться и, оставив термины "уровень (порядок)", "преобразование" как заглавные слова (как гипонимы), попытаться точнее определить не их, а подчиненные им более частные явления языка.

Трансформацией будем называть преобразование, представляющее нетронутым термовую (актантную) структуру предиката и сохраняющее количество предметных мест в нем; при более жестком определении трансформации (которого мы в большинстве случаев и будем здесь придерживаться) можно требовать также сохранения и тех конкретных имен, которыми заполнены соответствующие места. Трансформация предиката сохраняет предикат. Типичный пример трансформаций — преобразование актива в пассив: *Петр покупает машину* — *Машина покупается Петром*. Преобразование, затрагивающее актантную структуру предиката, прежде всего изменяющее количество актантных мест, будем называть перифразированием, перифразой [см.: Степанов 1981].

Язык со столь развитой системой различных преобразований, несомненно, отвечает какой-то целесообразности. Естественно видеть ее в потребности говорящих — каждого из них — представлять объективную ситуацию некоторым субъективным образом в зависимости от коммуникативных целей. Поэтому необходимо предположить, что такой язык выделяет и самого говорящего каким-то особым способом, которым не располагали Язык-2 и Язык-1. В естественных языках известны в основном два таких способа — во-первых, особое имя говорящего, "я", которое выделяет его из всех остальных носителей языка и которое может быть присвоено на время говорения каждым из них; во-вторых, особые координаты говорящего, с которыми он соотносит свою речь. Эти две черты существенно отличают Язык-3 от предыдущих.

Имя говорящего, "я", одновременно является первой координатой говорящего в ряду из трех координат "я — здесь — сейчас". Но что является собственной семантикой слова "я" — какая сущность внешнего мира? Этим вопросом занимается особая проблема семантики (17), которая рассматривается подробно в гл. V, 1 и гл. VI.

Все остальные координаты речи определяются по отношению к трем координатам говорящего в момент речи и в месте речи: "я — здесь — сейчас" является основой для координат "я — там — тогда", "ты — там — тогда", "он — там — тогда".

Введением координат значительно облегчается в языке проблема именования. Вместо "раздутых" классов имен и

предикатов, в которых объективно один и тот же предмет или его свойство были представлены по нескольку раз (как, например, "лохматый₁" и "лохматый₂" в Языке-1), как разные по отношению к говорящему, теперь устанавливаются "компактные" классы, а различие выражается наложением на одно и то же имя или один и тот же предикат (и на предикат в первую очередь) различных координат. Например, вместо двух предикатов "лохматый" появляется один, а вместо разных имен типа "дом сейчас" и "дом в прошлом" — одно имя *дом*, которое может употребляться в двух координатах — настоящего и прошедшего.

Естественно, что в таком языке, как этот, где говорящий получил переменное имя "я", он будет иметь и постоянное имя — *Ваня, Катя, Джон* и т.п. Таким образом, в Языке-3 появляется еще один, особый класс имен — имена носителей этого языка. (В Языке-1 и Языке-2 следует мыслить такую ситуацию, когда носители языка различают друг друга как наглядно данные, чувственно воспринимаемые объекты, но объекты безымянные, подобно тому как акт говорения—слушания непосредственно дан в опыте, но не может быть обозначен средствами языка. Там можно предположить и более сложную ситуацию — носители языка как-то образом уподобляют себя тем объектам, которые в их языке имеют наименования, т.е. называют друг друга *Большой Бобр, Белая Кукушка* и т.п. Но это особый вопрос.)

Итак, в Языке-3 имеются все необходимые условия для того, чтобы в нем появились пропозициональные установки. В самом деле, чтобы можно было сказать "Джон считает, что..." (скажем, "Джон считает, что идет дождь"), нужно, чтобы тот носитель языка, который это говорит, имел возможность выделить Джона как объект наравне с объектом "дождь". Естественно, что этот носитель языка должен быть готов услышать нечто подобное и о себе, т.е. знать, что его можно именовать как отдельный объект, подобный Джону, дождю, кошке и т.п. Но именно этот процесс задан в форме переменного именованного "Я".

Со времен специальных исследований феноменологов, особенно основоположника этого направления — Гуссерля, многие философы языка считают этот процесс, процесс "интерсубъективности", основным во всем названном комплексе вопросов. Эта проблема (18) рассматривается в гл. V, 1.

Но кроме "интерсубъективности" для "пропозициональных установок" следует предположить еще одно необходимое основание — возможность каждого носителя языка наблюдать говорение и общение других носителей со стороны — это

в зародыше явление метаязыка, связанное с "пропозициональными установками" и с прагматикой" в целом. В работах Р. Карнапа и других авторов его периода "прагматика" связывалась в сущности именно с наличием некоего "наблюдающего со стороны разума" (19), см. в гл. IV, 4 и VI, 2.

Но мыслится ли в этом Языке-3 (а значит, теперь и в полностью естественном языке) сам говорящий с его "Я" как вечно неизменное, одно и то же "Я"? Или на него распространяется принцип изменения координат, т.е. вводятся некоторые "абсолютные координаты" и говорящий может (или должен) рассматривать себя как "Я сейчас", "Я тогда" и т.д.? Если предположить первое, неизменность "Я", то возникают некоторые парадоксы. Например, высказывание *Я ошибочно считал, что...* (в прошлом) представляется осмысленным (правильным), а высказывание **Я ошибочно считаю, что...* (в настоящем) лишенным смысла (неправильным), тогда как *Иван ошибочно считал, что...* и *Иван ошибочно считает, что...*, т.е. применительно к "не-Я", равно правильны. Эти проблемы семантики (20) стали предметом анализа лишь в самое последнее время, уже после того, как они стали — впрочем, тоже недавно — предметом искусства (см. гл. VI, 0.1 и далее).

Какое искусство можно вообразить себе на Языке-3? Какие новые черты искусства слова будут соответствовать двум новым свойствам языка — неограниченной возможности перифраз и введению координат говорящего? По-видимому, здесь следует представить себе много разных поэтик.

Как бы прямо парирюя определение поэзии, данное Лоркой, которое так хорошо согласуется с Языком-2 (см. выше), русский имагинист В. Шершеневич в 1920 г. формулировал принцип "эгоцентрической поэзии" в духе возможностей Языка-3. Ориентируясь на координату "Я", на индивидуализм и произвол поэта, Шершеневич писал: «В „нет никаких законов" — главный и великопепный закон поэзии. В самом деле: „Поэзия есть возвышенное сочетание благородных слов, причем эти слова сочетаются таким образом, что ударяемые и неударяемые слова гармонично и последовательно чередуются", — писал благородный дедушка поэтики, Ломоносов (а это близко к сказанному Лоркой. — Ю.С.). Что уцелело от этого пафосного определения?» ("Ломать грамматику") [Литературные манифесты 1929, 103]. Шершеневич хотел, конечно, сказать: ничего; он видел идеал поэзии в разрушении грамматики поэтического слова.

Он ясно понял, что главный удар — с позиций эгоцент-

ризма — должен быть направлен против предиката: "Слово всегда беременно образом, всегда готово к родам. Почему мы — имажинисты (от франц. image 'образ'. — Ю.С.) — так странно на первый взгляд закричали в желудке современной поэтики: долой глагол! Да здравствует существительное! Глагол есть главный дирижер грамматического оркестра. Это палочка этимологии. Подобно тому, как сказуемое — палочка синтаксиса" [там же, с. 106]. Эти и другие особенности "эгоцентрических поэтик" (21) подробнее рассматриваются в гл. VI.

Но можно представить себе совсем другую поэтику. Если в Языке-2 говорящий получил возможность строить элементы воображаемого мира — интенционалы, то в Языке-3 говорящий может построить этот мир в целом, соединив его элементы в цельную картину, и рассуждать о нем. Художник имеет средства отличить свой мир от мира другого человека. Если у двух интенциональных миров имеется некое общее основание, то они будут восприниматься как перифразы один другого. Следовательно, формальным признаком искусства на этом языке будет наличие или по крайней мере возможность перифраз. Наиболее показательным примером будет, пожалуй, перифраза-пародия:

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.

Лермонтов, Казачья колыбельная
песня

и парафраз⁵:

Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою.

Некрасов, Колыбельная песня (Подражание Лермонтову)

В чем отличие параллелизма, заключенного в перифразах, от параллелизма в Языке-1 типа

Ерему в шею, а Фому в толчки!
Ерема ушел, а Фома убежал

и т.д.? В Языке-1 можно было говорить одинаково о разных предметах (о Фоме и о Ереме), а в Языке-3

⁵ В литературе и музыке вместо термина "перифраза" чаще употребляется аналогичный термин "парафраз".

можно говорить по-разному об одном и том же предмете. Месяц Лермонтова и месяц Некрасова — один и тот же объект, но он "тихий и ясный" в мире Лермонтова и "тусклый", медный" в мире Некрасова. Интенциональный мир создается средствами языка.

Искусство, творимое на Языке-3, отличается и от искусства, создаваемого средствами Языка-2. В последнем существует "поэтический мотив" как постоянный предикат к переменным свойствам (вообще—актантам), существует и "поэтический сюжет" — как линейная последовательность мотивов (см. гл. VI, 4). Если места переменных, актантов, заполнены какими-либо постоянными, то "сюжет" превращается в конкретную басню (в таком виде басня описана А.А. Потемной [1905, 314 и след.]. Но, вообще говоря, носитель Языка-2, рассказывающий басню или слушающий ее, не имеет формальной возможности отличить ее от "практической" речи — от сообщения о том, что происходит в действительности. Практическое сообщение "Этой вороне бог послал вот этот кусочек сыру..." и "поэтическое" сообщение, повествующее о воображаемом мире, "Некоей вороне бог некогда послал некий кусочек сыру...", не различаются формально до тех пор, пока не появляются внешние приметы этого, такие, как слово "некий" в отличие от "этот". Если "этот" соотносит происходящее с координатой "здесь — сейчас", то "некий" — с координатой "там — тогда", причем в воображаемом мире. Эта возможность появляется лишь в Языке-3, и текст басни на этом языке должен отличаться от текста на Языке-2. Текст басни на Языке-3 может быть таким, как известная басня Крылова:

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала...

Слово *где-то* соотносит происходящее с миром, возможно и реальным, но лежащим за пределами актуальной ситуации речи. Что касается слов *было* и *на ту беду*, то они не указывают ни на какие объекты реального мира — они выражают отношение говорящего к описываемому им интенциональному миру: *Позавтракать было совсем уж собралась* в отличие от *позавтракать собралась* означает не реальный факт, а знание рассказчика: рассказчик, но не ворона знает, что завтраку не суждено успешно завершиться; рассказчик, но не ворона знает, что случится беда и что ее возвещает появление лисицы. Говорящий, подобно творцу, видит свой

интенциональный мир как завершенное целое, знает начала и окончания его событий и имеет возможность — с помощью специальных слов — высказываться о них.

Говорящий может говорить от лица любого объекта — живого или неодушевленного, не опасаясь, что он будет смешан слушателем с этим объектом. Открыта возможность лирической поэзии. Более того, сам поэт в полном соответствии с древнейшим значением этого слова — латин. *vātēs*, др.-инд. *kaṁi* — оказывается человеком, голосом которого говорят лишенные дара слова другие — вещи, растения, животные и, если они того пожелают, боги. Мир молчаливой природы и скромных от природы людей, которые не могут сами рассказать о себе, был бы обречен на вечное молчание, если бы время от времени не находился поэт, голосом которого они говорят и который готов обречь себя на смерть, чтобы выполнить свое предназначение. Все это было сказано великими поэтами:

Многое еще, наверно, хочет
Быть воспетым голосом моим:
То, что, бессловесное, грохочет,
Иль во тьме подземный камень точит,
Или пробивается сквозь дым.
У меня не выяснены счеты
С пламенем, и ветром, и водой...
Оттого-то мне мои дремоты
Вдруг такие распахнут ворота
И ведут за утренней звездой.

Ахматова. Из цикла "Тайны ремесла"

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

Пастернак. О, знал бы я, что так бывает

М. Пруст.: «...Вдруг меня охватило ощущение глубокого счастья, какого я почти не испытывал с детства... В стороне от дороги, в низине, по которой пронеслась наша коляска, я увидел три дерева, они служили, должно быть, входом в аллею; их рисунок показался мне знакомым, виденным, я не мог только вспомнить места, из которого они были перенесены сюда, но чувствовал, что раньше знал это место очень хорошо. Мое сознание как бы споткнулось, переходя от какого-то момента в прошлом, удаленного на много лет назад, к настоящему, пейзаж закачался, и мне показалось, что вся эта прогулка в коляске — вымысел; что местность, где мы проезжаем, — плод моего вообра-

жения; моя спутница — персонаж романа, а эти три старых дерева — настоящая реальность, к которой я возвращаюсь, как мы возвращаемся к реальному миру, подтянув глаза от страницы книги и оторвавшись от ее вымышленного мира, куда совсем было перенеслись — во время чтения.

Я всматривался в эти деревья, я прекрасно видел их, но мое сознание чувствовало, что в них скрыто что-то, чего оно не может схватить... Как тени прошлого, они, казалось, просили меня взять их с собой, вернуть их к жизни. В их бесхитростных и взволнованных движениях ветвями я узнавал мучение любимого человека, который потерял дар речи, чувствует, что не может объяснить нам, чего он хочет, а мы не в силах этого угадать.

Коляска дрогнула и оставила их за поворотом дороги. Она отрывала меня от того, что, я знал, одно было истинным, одно могло сделать меня счастливым, она была — как моя жизнь.

Я видел, как деревья отстают, как, теряя надежду, тянут ко мне ветви, кажется, говорят: „То, чего ты не узнаешь о нас сейчас, ты не узнаешь уже никогда. Если ты бросишь нас здесь, посреди дороги, откуда мы хотели вырваться и соединиться с тобой, то часть твоего собственного существа, которую мы несли тебе, навсегда канет в небытие...”» (M. Proust. *L'ombre des jeunes filles en fleurs*. М.: Прогресс, 1982, с. 315—317).

Признак, которым отличается Язык-3, введенное в него измерение, обычно называется "прагматикой"; очевидно, что поэзия и искусство слова, подобные только что обрисованным, никак не могут быть названы "прагматическими". А между тем они основаны именно на этом свойстве языка. Термин "прагматика", неудачный с самого начала, делается все более непригодным по мере расширения круга связанных с соответствующим понятием вопросов. Вместо него был предложен термин "дектика" (гл. VI).

Вернемся теперь к числу, характеризующему язык. Какие изменения произойдут в модели, если вместо числа 3 она будет характеризоваться числом 4? или 5? или любым сколь угодно большим числом n ?

Прежде всего, при неограниченно возрастающем n предикат степени n становится просто набором из n -элементов любой природы, взятых в определенной (упорядоченной) последовательности; он перестает отображать отношения специфической природы, фиксирующиеся в предикатах естественного языка, степень которых редко превышает 5. (Почему естественный язык выбирает и фиксирует лишь такие свойства действительности, которым соответствуют, в общем, не более

как 5-местные предикаты, лингвистам еще предстоит выяснить.) Предикат степени n становится просто "энкой", как предикат степени 2 является "парой", степени 3 — "тройкой", степени 4 — "четверкой" и т.д., но в отличие от них "энкой", лишенной предикатной семантики; он становится функцией особого вида.

Но функцией особого вида становятся при этом и те элементы (термы, актанты, индивиды), которые упорядочиваются предикатом. Функция, определяющая предикат, и функция, определяющая индивиды, или имена, при этом процессе становятся в известном смысле функциями одного и того же типа. Различие между именем и предикатом в некотором смысле исчезает. Эта чрезвычайно интересная проблема (22) в настоящей книге затрагивается лишь бегло (в гл. VI).

Развитый в этом отношении язык-модель, так сказать Язык- n , становится чрезмерно (по нашему мнению) большой абстракцией от предметного естественного языка, но зато (по общему мнению) делается удобным инструментом для моделирования возможных миров, интенсиональных миров, модальных логик и т.п. (эта проблема (23) также затрагивается в гл. VI).

Таковы те приблизительно два десятка проблем (пронумерованные в предыдущем изложении, не очень строго, цифрами от 1 до 23), возникновение которых можно непосредственно наблюдать на модели "трех языков". Они являются проблемами семантики, синтактики, прагматики (дектики), в совокупности свидетельствуют о трехмерности языка и служат резюме ко всем проблемам философии языка и поэтики, рассматриваемым в этой книге.

Надо также отметить, что большинство отсылок приходится на гл. I, IV и VI, в которых рассматриваются три основные парадигмы философии языка, и, напротив, у нас почти не было необходимости упомянуть проблематику "межпарадигматических глав". Этим лишний раз подтверждается более важная роль парадигм по сравнению со взглядами межпарадигматических периодов.

ЛИТЕРАТУРА

- Ленин В.И.* Еще одно уничтожение социализма. — Полн. собр. соч., т. 25.
Ленин В.И. Конспект книги Гегеля "Лекции по истории философии". — Полн. собр. соч., т. 29.
Ленин В.И. Конспект книги Гегеля "Наука логики". — Полн. собр. соч., т. 29.
Маркс К. Капитал, т. 1. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23.
Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. — Соч. 2-е изд., т. 2.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20.
- Аверинцев С.С.* Вячеслав Иванов. — В кн.: Вячеслав Иванов. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Малая серия. Л., 1976.
Антология мировой философии. М., 1969, т. 1 (ч. 1, 2).
Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.
Аристотель. Категории. С приложением "Введения" Порфирия к "Категориям" Аристотеля. М., 1939.
Аристотель. Соч.: В 4-х т. М., 1976, т. 1; 1978, т. 2; 1981, т. 3.
Арутюнова Н.Д. Сокровенная связка: (К проблеме предикативного отношения). — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1980, т. 39, N 4.
Арутюнова Н.Д. Лингвистические проблемы референции. Вступит. статья. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982, вып. 13.
Асмус В.Ф. Античная философия. 2-е изд., доп. М., 1976.
Балашов Н.И. Рембо и связь двух веков поэзии. — В кн.: Артюр Рембо. Стихи. Сер. "Лит. памятники". М., 1982.
Балашов Н.И. Примечания. — В кн.: Артюр Рембо. Стихи. Сер. "Лит. памятники". М., 1982а.
Барт Р. Лингвистика текста/Пер. с франц. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978, вып. 8.
Барт Р. Нулевая степень письма. — В кн.: Семиотика. М., 1983.
Белый А. Поэзия слова. Пушкин. Тютчев. Баратынский. Вяч. Иванов. А. Блок. Пб., 1922 (см. также в кн.: Семиотика. М., 1983).
Бенвенист Э. Общая лингвистика/Пер. с франц. М., 1974.
Блок А. Собр. соч.: В 8-ми т. М. Л., 1960—1963.
Богомолов А.С. Английская буржуазная философия XX века. М., 1973.
Бокадорова Н.Ю. "Общая грамматика" XVIII века и современное общее языкознание. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1982, т. 41, N 2.
Борн М. Состояние идей в физике. — В кн.: Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963.
Брехт Б. Театр. М., 1965, т. 5 (2).
Брутян Г.А. Трансформационная логика. Ереван, 1983.
Брюсов В. Полн. собр. соч. и переводов. СПб., 1913, т. 21.

- Булыгина Т.В.* Синхронное описание и внеэмпирические критерии его оценки. — В кн.: Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
- Булыгина Т.В.* О границах и содержании прагматики. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1981, т. 40, N 4.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Диалогические функции некоторых типов вопросительных предложений. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1982, т. 41, N 4.
- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.* К развитию концепции слова как вместилища знаний. — В кн.: Язык и речь как объекты комплексного филологического исследования. Межвузовский тематический сборник. Калинин, 1980.
- Виноградов В.В.* О теории художественной речи. М., 1971.
- Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат/Пер. с нем. М., 1958.
- Владиславлев М.И.* Логика. 2-е изд. М., 1881.
- Войшвилло Е.К.* Понятие. М., 1967.
- Волошинов В.Н.* Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., 1929.
- Вомперский В.П.* Стилистическая теория А.Х. Белобоцкого. — В кн.: Лингвистические аспекты исследования литературно-художественных текстов. Калинин, 1979.
- Гегель.* Соч. Л., 1932, т. 9; 1959, т. 4.
- Гей Н.К.* Многоголосие жизни и художественный метод М. Горького. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1977, т. 36, N 5.
- Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
- Горский Д.П.* Вопросы абстракции и образования понятий. М., 1961.
- Григорьев В.П.* Грамматика идиостиля: В. Хлебников. М., 1983.
- Грязнов А.Ф.* Философия Шотландской школы. М., 1979.
- Гуссерль Э.* Философия как строгая наука. — В кн.: Логос. М., 1911, кн. 1.
- Гухман М.М.* Лингвистическая теория Л. Вейсгербера. — В кн.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
- Дегулис А.* Проблема интенциональности в аналитической философии. — В кн.: Проблемы сознания в современной буржуазной философии. Вильнюс, 1983.
- Декарт.* Соч./Пер. Н.Н. Сретенского. Казань, 1914, т. 1.
- Демьянков В.З.* Предикаты и концепция семантической интерпретации. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1980, т. 39, N 4.
- Демьянков В.З.* Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста, вып. 1. Порождающая грамматика. М., 1979; вып. 2. Методы анализа текста. М., 1982 (Тетради новых терминов, N 23, 39).
- Джохадзе Д.В.* Алексей Федорович Лосев: Краткий очерк жизни и деятельности. — В кн.: А.Ф. Лосеву к 90-летию со дня рождения. Тбилиси, 1983.
- Джохадзе Д.В., Стяжкин Н.И.* Введение в историю западноевропейской средневековой философии. Тбилиси, 1981.
- Долгополов Л.К.* В поисках самого себя: (К 100-летию со дня рождения Андрея Белого). — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1980, т. 39, N 6.
- Доннеллан К.С.* Референция и определенные дескрипции/Пер. с англ. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982, вып. 13.
- Дуганов Р.В.* Краткое "искусство поэзии" Хлебникова. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1974, т. 33, N 5.
- Дуганов Р.В.* Проблема эпического в эстетике и поэтике Хлебникова. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1976, т. 35, N 5.

- Ельмслев Л.* Прологомены к теории языка/Пер. с англ. — В кн.: Новое в лингвистике. М., 1960, вып. 1.
- Ермилова Е.В.* Поэзия "теургов" и принцип "верности вещам". — В кн.: Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала XX веков. М., 1975.
- Жоль К.К.* Сравнительный анализ индийского логико-философского наследия. Киев, 1981.
- Инголлс Д.-Г.-Х.* Введение в индийскую логику навья-ньяя/Пер. с англ. М., 1975.
- [*Иоанн Дамаскин*] Диалектика Св. Иоанна Дамаскина/[Пер. с греч.] М., 1862.
- Исаев С.А.* К вопросу о "косвенной" форме изложения в произведениях Серена Кьеркегора. — В кн.: Человек, сознание, мировоззрение: (Из истории зарубежной философии). М., 1979.
- Кант И.* Соч.: В 6-ти т. М., 1963, т. 1; 1964, т. 2; 1964а, т. 3; 1965, т. 4 (1, 2); 1966, т. 5; 1966а, т. 6.
- Каракулаков В.В.* К вопросу о соотносительности частей речи стоиков с их логическими категориями. — Studii clasice (București), 1964, VI.
- Каракулаков В.В.* К вопросу о принципах выделения частей речи у Дионисия Фракийца. — Studii clasice [București], 1964а, VI.
- Караулов Ю.Н.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.
- Карельский А.В.* Утопии Роберта Музиля. — В кн.: Musil R. Ausgewählte Prosa. Moskau, 1980.
- Карнап Р.* Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике/Пер. с англ. М., 1959.
- [*Карпов В.Н.*] Систематическое изложение логики. Соч. проф. В.Н. Карпова. 1856.
- Карри Х.Б.* Основания математической логики/Пер. с англ. М., 1969.
- Козлова М.С.* Философия и язык. М., 1972.
- Колшанский Г.В.* Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975.
- Кондаков Н.И.* Логический словарь. М., 1971.
- Кубрякова Е.С.* Динамическое представление синхронной системы языка. — В кн.: Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
- Кубрякова Е.С.* Типы языковых значений: Семантика производного слова. М., 1981.
- Кузнецов С.Н.* Основы интерлингвистики. М., 1983.
- Кун Т.* Структура научных революций/Пер. с англ. 2-е изд. М., 1977.
- Лахути Д.* Диспозициональный предикат. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1962, т. 2.
- Лейбниц Г.В.* Соч.: В 4-х т. М., 1982, т. 1; 1983, т. 2.
- Лепяхин В.В.* К вопросу о теме "двойничества" в древнерусской литературе. — Acta Universitatis Szegediensis de Atila József nominate. Suppl. Dissertationes Slavicae... История, язык и искусство восточных славян в XI—XIII вв., Szeged, 1981.
- Литературные манифесты. От символизма к Октябрю. Сб. материалов. М., 1929.
- Литлауд Дж.* Математическая смесь/Пер. с англ. 4-е изд. М., 1978.
- Лихачев Д.С.* Черты первобытного примитивизма воровской речи. — В кн.: Язык и мышление. М.; Л., 1935, вып. 3—4.
- Лихачев Д.С.* О теме этой книги. — В кн.: Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971.
- Лихачев Д.С., Панченко А.М.* "Смеховой мир" Древней Руси. М., 1976.
- Лобачевский Н.И.* Три сочинения по геометрии. М., 1956.

- Лосев А.Ф.* Античный космос и современная наука. М., 1927.
- Лосев А.Ф.* Философия имени. М., 1927а.
- Лосев А.Ф.* Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930.
- Лосев А.Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
- Лосев А.Ф.* Учение о словесной предметности (лектор) в языкознании античных стоиков. — В кн.: Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982.
- Лукашевич Я.* Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики/Пер. с англ. М., 1959.
- Льюис К.И.* Виды значения/Пер. с англ. — В кн.: Семиотика. М., 1983.
- Майоров Г.Г.* Формирование средневековой философии: Латинская патристика. М., 1979.
- Маковельский А.О.* История логики. М., 1967.
- Малявина Л.А.* Грамматика испанского гуманиста Ф. Санчеса как этап в развитии взглядов на язык. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1982, т. 41, N 2.
- Марков А.А.* Теория алгоритмов. — Труды математического ин-та им. В.А. Стеклова АН СССР, 1951, т. 38.
- Мах Э.* Философское и естественнонаучное мышление [1-я глава из кн.: "Познание и заблуждение"/Пер. с нем. — В кн.: Новые идеи в философии. Сб. первый. СПб, 1912.
- Мелетинский Е.М.* Палеоазиатский мифологический эпос. М., 1979.
- Мельвиль Ю.К.* Прагматизм. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1967, т. 4.
- Микеладзе З.Н.* Примечания. — В кн.: Аристотель. Собр. соч. М., 1978, т. 2.
- Михайловский Н.К.* Вико и его "Новая наука". — Собр. соч. Спб., 1909, т. 3.
- Монтегю Р.* Прагматика и интенциональная логика/Пер. с англ. — В кн.: Семантика модальных и интенциональных логик. М., 1981.
- Монтегю Р.* Прагматика. — В кн.: Семантика модальных и интенциональных логик. М., 1981а.
- Моррис Ч.* Основания общей теории знаков. — В кн.: Семиотика. М., 1983.
- Мотрошилова Н.В.* Феноменология. — В кн.: Современная буржуазная философия/Под ред. А.С. Богомолова, Ю.К. Мельвиля, И.С. Нарского. М., 1978.
- Мудрагей В.И.* Концепция "унифицированной науки" в логическом позитивизме. — В кн.: Позитивизм и наука. М., 1975.
- Мясников А.С.* У истоков "формальной школы". — В кн.: Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала XX веков. М., 1975.
- Найссер У.* Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии/Пер. с англ. М., 1981.
- Николай Кузанский.* Соч.: В 2-х т. М., 1979, т. 1; 1980, т. 2.
- Николаев П.А.* Историзм в художественном творчестве и в литературоведении. М., 1983.
- Новиков Л.А.* Семантика русского языка. М., 1982.
- Новое в лингвистике. М., 1960, вып. 1; 1962, вып. 2.
- Новый энциклопедический словарь/Брокгауз и Ефрон, т. 24.
- Панфилов В.З.* Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982.
- Перельмутер И.А.* Греческие мыслители V в. до н.э. Платон. Аристотель.

- Философские школы эпохи эллинизма. — В кн.: История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
- Пирс Ч.С.* Из работы "Элементы логики. *Grammatica speculativa*". — В кн.: Семиотика. М., 1983.
- Платон.* Соч.: В 3-х т. М., 1968, т. 1; 1970, т. 2; 1971, т. 3 (1); 1972, т. 3 (2).
- Попов П.С.* Рец. на кн.: Patzig G. Die aristotelische Sillogistik. Göttingen, 1959. — Вопр. философии, 1961, N 3.
- [*Порфирий*] Введение к "Категориям" финикийца Порфирия, ученика ликопитанца Плотина. — В кн.: Аристотель. Категории. М., 1939.
- Постовалова В.И.* Язык как деятельность: Опыт интерпретации концепции В. Губмольдта. М., 1982.
- Потебня А.А.* Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
- Примочкина Н.Н.* Блок и проблема "механизации" культуры. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1978, т. 37, N 2.
- Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений. М.: Изд-во АН СССР, 1949, т. XI.
- Рашишвили Г.В.* Вопросы энергетической теории языка. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.; резюме на рус. яз.).
- [*Рассел*] *Рэссель Б.* Проблемы философии/Пер. с англ. СПб., 1914.
- Рассел Б.* Человеческое познание: Его сфера и границы/Пер. с англ. М., 1957.
- Рассел Б.* История западной философии/Сокращ. пер. с англ. М., 1959.
- Рембо А.* Стихи. М.: Наука, 1982.
- Садовский Г.* Разработана ли в марксизме категория сущности? — Коммунист, 1983, N 7.
- Садовский В.И., Смирнов В.А.Я.* Хинтика и развитие логико-эпистемологических исследований во второй половине XX в. [Вступит. статья] — В кн.: Хинтика Я. Логико-эпистемологические исследования. М., 1980.
- Семантика модальных и интенциональных логик/Пер. с англ.; Сост. В.А. Смирнов. М., 1981.
- Семантические типы предикатов. М., 1982.
- Семиотика/Сб. переводов с англ., франц., исп. яз.; Сост. Ю.С. Степанов. М., 1983.
- Серебрянников Б.А.* Номинация и проблема выбора. — В кн.: Языковая номинация: Общие вопросы. М., 1977.
- Серебрянников Б.А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М.: Наука, 1983.
- Слюсарева Н.А.* Экзистенциализм М. Мерло-Понти и проблемы языка. — В кн.: Сб. науч. трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1975, вып. 91.
- Смирнова Е.Д.* К проблеме аналитического и синтетического. — В кн.: Философские вопросы современной формальной логики. М., 1962.
- Современная буржуазная философия/Под ред. А.С. Богомолова, Ю.К. Мельвиля, И.С. Нарского. М., 1978.
- Соколов В.В.* Николай Кузанский. — В кн.: История диалектики XIV—XVIII вв. М., 1974.
- Соколов В.В.* Средневековая философия. М., 1979.
- Соколов В., Стяжкин Н.* Оккам. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1967, т. 4.
- Соссюр Ф. де.* Анаграммы (фрагменты). — В кн.: Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию/Пер. с франц. М., 1977.
- Спиноза Б.* Избр. произведения. М., 1957, т. 1, 2.
- Спиркин А.* Видимость. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1960, т. 1.
- Степанов Г.В.* Заметки об образном строе лирики Пушкина. — Atti

- dei convegni Lincei. 38. Colloquio italo-sovietico. Puškin poeta e la sua arte. Roma. Acad. nazionale Lincei, 1978.
- Степанов Г.В.* Федерико Гарсия Лорка. — В кн.: Lorca F. García. Prosa. Poesía. Teatro. Moscú: Progreso, 1979.
- Степанов Н.Л.* Велимир Хлебников: Жизнь и творчество. М., 1975.
- Степанов Ю.С.* О предпосылках лингвистической теории значения. — ВЯ, 1964, N 5.
- Степанов Ю.С.* Основы языкознания. М., 1966.
- Степанов Ю.С.* Семиотика. М., 1971.
- Степанов Ю.С.* От имени лица к имени вещи — стержневая линия романской лексики. — В кн.: Общее и романское языкознание. М., 1972.
- Степанов Ю.С.* От стиля к мировоззрению. Экзистенциальные идеи у Л.Толстого. — В кн.: Сб. докладов и сообщений лингвистического общества, III. Калинин, 1973, вып. 1.
- Степанов Ю.С.* Основы общего языкознания. М., 1975.
- Степанов Ю.С.* Вид, залог, переходность. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1977, т. 36, N 2.
- Степанов Ю.С.* Имена, предикаты, предложения: (Семиологическая грамматика). М., 1981.
- Степанов Ю.С.* Марсель Пруст. или жестокий закон искусства. — В кн.: Proust M.A. L'ombre des jeunes filles en fleurs. М.: Progrès 1982.
- Степанов Ю.С.* В мире семиотики, [Вступит. статья] — В кн.: Семиотика. М., 1983.
- Степанов Ю.С.* Семантика "цветного сонета" Артюра Рембо. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1984, т. 43, N 4.
- Степанова Л.Г.* Философия языка Дж. Вико. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1978, т. 37, N 5.
- Столя Р.* Множества. Логика. Аксиоматические теории/Пер. с англ. М., 1968.
- Стяжкин Н.И.* Формирование математической логики. М., 1967.
- Стяжкин Н.* Схоластика. — В кн.: Философская энциклопедия. М., 1970, т. 5.
- Стяжкин Н.И., Курантов А.П.* Уильям Оккам. М., 1978.
- Тейяр де Шарден П.* Феномен человека/Пер. с франц. М., 1965.
- Телия В.Н.* Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке. М., 1981.
- Тиандер К.* Кьеркегор. — В кн.: Новый энциклопедический словарь/Брокгауз и Ефрон, т. 23.
- Трахтенберг О.В.* Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. М., 1957.
- Трубецкой С.Н.* Учение о логосе в его истории. 2-е изд. М., 1906.
- Уемов А.И.* Вещи, свойства и отношения. М., 1963.
- Уемов А.И.* Послесловие. — В кн.: Тондл Л. Проблемы семантики/Пер. с чеш. М., 1975.
- Уленбек Х.К.* Agens и Patiens в падежной системе индоевропейских языков. — В кн.: Эргативная конструкция предложения; Сост. Е.А. Бокарев. М., 1950.
- Уфимцева А.А.* Семантика слова. — В кн.: Аспекты семантических исследований. М., 1980.
- Федоров А.А.* Концепция музыки Рихарда Вагнера у Томаса Манна. — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1977, т. 36, N 4.
- Федоров А.А.* Томас Мани: Время шедевров. М., 1981.
- Философская энциклопедия. М., 1960, т. 1; 1962, т. 2; 1964, т. 3; 1967, т. 4; 1970, т. 5.

- Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983.
- Хинтиikka Я.* Логико-эпистемологические исследования. Сб. избр. статей/Пер. с англ. М., 1980.
- [*Хлебников В.*] Собрание произведений Велимира Хлебникова. Л., 1933, т. 5. Стихи, проза, записная книжка, письма, дневники.
- Хлебников В.* Неизданные произведения. М., 1940.
- Холл Парти Б.* Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность. — В кн.: Семиотика. М., 1983.
- Хомский Н.* Язык и мышление/Пер. с англ. [М.:] Изд-во МГУ, 1972.
- Храпченко М.Б.* Собр. соч. М., 1982, т. 4. Художественное творчество, действительность, человек.
- Храпченко М.Б.* Язык художественной литературы. — Новый мир, 1983, № 9.
- Целищев В.В.* Логика существования. Новосибирск, 1976.
- Чанышев А.Н.* Курс лекций по древней философии. М., 1981.
- Черепанова Е.* Образ имени. — Знание—сила, 1984, № 6.
- Черч А.* Введение в математическую логику/Пер. с англ. М., 1960, т. 1.
- Чехов М.А.* Путь актера. Л., 1928.
- Чудаков А.П.* В.В. Виноградов и теория художественной речи первой трети XX в. — В кн.: Виноградов В.В. Избр. труды: О языке художественной прозы. М., 1980.
- Чуева И.П.* Критика идей интуитивизма в России. М.; Л., 1963.
- Шеллинг Ф.В.И.* Система трансцендентального идеализма. Л., 1936.
- Шибутани Т.* Социальная психология/Сокр. пер. с англ. М., 1969.
- Шпет Г.Г.* Внутренняя форма слова: Вариации на тему В. фон Гумбольдта. М., 1927.
- Якобсон Р.* Поэзия грамматики и грамматика поэзии. — В кн.: Семиотика. М., 1983.
- Яковенко Б.В.* Философия Эд. Гуссерля. — В кн.: Новые идеи в философии. Сб. 3-й. СПб., 1913.
- Якушин Б.В.* Гипотезы о происхождении языка. М., 1984.
- Якушкина М.Г.* Лнгвистические идеи энциклопедистов: (К понятию "современный период" в языкознании). — Изв. АН СССР, сер. лит. и яз., 1982, т. 41, № 2.
- Яновская С.А.* Методологические проблемы науки. М., 1972.
- Ayer A.J.* Language, truth and logic. [S.l.:] Penguin Books, 1980.
- Barthes R.* Essais critiques. P.: Du Seuil, 1964.
- Baudelaire Ch.* Œuvres complètes. Bibl. de la Pléiade. P.: Gallimard, 1954.
- Bergson H.* Essai sur les données immédiates de la conscience. P.: Alcan, 1938.
- Bergson H.* La pensée et le mouvant. Genève, 1946.
- Bergson H.* Matière et mémoire. P.: P.U.F., 1954.
- Bonitz H.* Index Aristotelicus. В., 1955 (репрод. изд. 1870 г.).
- Bursill-Hall G.L.* Some notes on the grammatical theory of Boethius of Dacia. — In: History of linguistic thought and contemporary linguistics. H. Parret (ed.). N.Y., 1976.
- Carnap R.* Logical foundations of the unity of science. — In: International Encyclopedia of Unified Science, vol. 1, N 1. Chicago, 1938.
- Carnap R.* On some concepts of pragmatics. — Philosophical Studies, 1955, vol. 6, N 6.
- Carnap R.* The old and the new logic. — In: Logical positivism. A.J. Ayer (ed.). Glencoe (Illin.), 1959.

- Carnap R.* Introduction to semantics and formalisation of logic. Two volumes in one. Cambridge (Mass.), 1959a.
- Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1979.
- Couturat L., Leau L.* Histoire de la langue universelle. P., 1907.
- Davidson D.* The logical form of action sentences. — In: The logic of decision and action. N. Rescher (ed.). Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh Press, 1967.
- Descartes R.* Discours de la méthode. Extraits des Méditations métaphysiques. P.: Garnier, 1960.
- Donnellan K.* Speaker's reference, descriptions and anaphora. — In: Contemporary perspectives in the philosophy of language. P.A. French et al. (eds). Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1979.
- Ducrot O.* Quelques implications linguistiques de la théorie médiévale de la supposition. — In: History of linguistic thought and contemporary linguistics. H. Parret (ed.). Berlin; New York: De Gruyter, 1976.
- Écrits sur l'art et manifestes des écrivains français. Сост. Л.Г. Андреев, Н.П. Козлова. Moscou: Progrès, 1981.
- Frege G.* Über Sinn und Bedeutung. — Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 1892, Bd 100, H. 1.
- Elliot A.W.* Isaac Newton's "Of an Universall Language". — The Modern Language Review, 1957, 52.
- Encyclopédie méthodique. Grammaire et littérature. P., 1789, T. 2.
- Encyclopédie. Textes choisis: P.: Ed. du Seuil, 1976.
- Gide A.* Six traités. P.: Gallimard, 1912.
- Gilson E.* La filosofía en la Edad Media. Desde los orígenes patristicos hasta el final del siglo XIV. Madrid: Gredos, 1982 (orig. изд.: Etienne Gilson. La philosophie au Moyen Âge. 2-ème éd. P.: Payot, 1952).
- Hacker P.M.S.* Events, ontology and grammar. — Philosophy, 1982, 57.
- History of linguistic thought and contemporary linguistics. Berlin; New York: De Gruyter, 1976.
- Hjelmslev L.* Le verbe et la phrase nominale. — In: Mélanges J. Marouzeau. P., 1948.
- Horgan T.* The case against events. — Philosophical Review, 1978, 87.
- Hornsby J.* Verbs and events. — In: Papers on language and logic. J. Dancy (ed.) Keele Univ. Library, 1980.
- Hülsmann H.* Zur Theorie der Sprache bei Edmund Husserl. München: Verlag A. Pustet, 1964.
- Husserl E.* Logische Untersuchungen. Dritte unveränderte Aufl. Bd I, Teil; Bd II, 2 Teil. Halle: Niemeyer, 1922.
- Jakobson R.* My metrical sketches. A retrospect. — Linguistics, 1979, vol. 17, N 3/4.
- Kierkegaard S.* Post-scriptum aux Miettes philosophiques. Traduit du danois par P. Petit. P.: Gallimard. NRF, 1949.
- Kripke S.* Speaker's reference and semantic reference. — In: Contemporary perspectives in the philosophy of language. Minneapolis, 1979.
- Lalande A.* Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 11-e éd. P.: P.U.F., 1972.
- Lanigan R.* The phenomenological foundations of semiology. — In: A semiotic landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies. Milan, June, 1974. The Hague; Paris; New York: Mouton Publishers, 1979.
- [*Leibniz G.W.*] Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Par L. Couturat. P., 1903.
- Leibniz G.W.* Tables des définitions. — In: Słownik i semantyka. Definicje

- semantyczne. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. 39. Wrocław, etc.: Ossolineum, 1975.
- Logical positivism. A.J. Ayer (ed.). Glencoe (Illin.), 1959.
- Lorca F. García. Prosa. Poesía. Teatro. Moscú: Progreso, 1979.
- Lyotard J.-F. La phénoménologie. P.: P.U.F. "Que sais-je?", 1967.
- M. Proust et J. Rivière. Correspondance. P.: Plon, 1955.
- Mates B. Stoic logic. Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press, 1961.
- Merleau-Ponty M. Signes. P.: Gallimard, 1960.
- Merleau-Ponty M. Sur la phénoménologie du langage. — In: Merleau-Ponty M. Eloge de la philosophie et autres essais. P.: Gallimard, 1965.
- Metafísica de Aristóteles. Edición trilingüe por V. García Yebra. 2 ed., revisada. Madrid: Gredos, 1982.
- Michaud G. Message poétique du symbolisme. P.: Nizet, 1969.
- Musil R. Ausgewählte Prosa. Moskau: Verlag Progress, 1980.
- Nuchelmans G. Judgment and proposition: From Descartes to Kant. Amsterdam; Oxford; New York: North-Holland Publishing Company, 1983.
- Ockham. Philosophical writings. A selection edited and translated by Ph. Boehner. Edinburgh: Nelson, 1957.
- Patzig G. Die aristotelische Sillogistik. Göttingen, 1959.
- Peirce Ch.S. What pragmatism is? — The Monist, 1905, vol. 15, N 2.
- Peirce Ch.S. Issues of pragmatism. — The Monist, 1905a, vol. 15, N 4.
- Quine W.O. van. From a logical point of view. Cambridge (Mass.), 1953.
- Quine W.O. van. Quantifiers and propositional attitudes. — The Journal of Philosophy, 1956, 53.
- Reichenbach H. Elements of symbolic logic. N.Y.: Free Press, Macmillan, 1948.
- Robins R.H. Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe. L., 1951.
- Robins R.H. The development of the word class system in the European grammatical tradition. — Foundations of Language, 1966, vol. 2, N 1.
- Ross W.D. Aristotle. L., 1930.
- Russell B. On denoting. — In: Russell B. Logic and knowledge. L., 1956.
- Russell B. Logical atomism. — In: Logical positivism. A.J. Ayer (ed.). Glencoe (Illin.), 1959.
- Russell B. An inquiry into meaning and truth. L.: Unwin paperbacks, 1980.
- Signification et référence dans l'antiquité et au moyen âge. M. Baratin, F. Desbordes et al. (éd.) — Langage, 1982, 65.
- Schulenburg S. von der. Leibniz als Sprachforscher. Frankfurt a. M., 1973.
- Spinoza. Abrégé de grammaire hébraïque. Introduction; trad. française et notes par J. Askénazi et J. Askénazi-Gerson. P.: J. Vrin, 1968.
- Teodoro de Andrés S.I. El nominalismo de Guillermo de Ockham como filosofía del lenguaje. Madrid: Gredos, 1969.
- Théorie du langage. Théorie de l'apprentissage. Le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky. Organisé et recueilli par M. Piatelli-Palmarini. P.: Ed. du Seuil, 1979.
- Valéry P. Œuvres. T. 1. Bibliothèque de la Pléiade. P., 1957.
- Wierzbicka A. Semantic primitives. Frankfurt a. M., 1972.
- Wierzbicka A. Lingua mentalis. Sydney, 1980.
- Wittgenstein L. Philosophical grammar. Oxford: Blackwell, 1974.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абелар 40
 Августин 30
 Аверинцев С.С. 74, 75
 Аверроэс (Ибн Рушд) 45
 Авиценна (Ибн Сина) 30
 Айер А.Дж. (Ayer A.J.)* 45, 130, 136, 139, 154, 162
 Александров Г.Ф. 31
 Алькье Ф. 103, 106
 Андреев Л. 264
 Андроник Родосский 28
 Анненский И. 258
 Ансельм Кентерберийский 53
 Антипатр из Тира 142, 149
 Антисфен 31
 Аполлоний Дискос 147
 Апрессян Ю.Д. 174, 237
 Аристарх 147
 Аристотель 10, 11, 24, 26—28, 29, 31—34, 37—43, 48—50, 56, 109, 120, 126, 127, 134, 135, 137, 142, 147, 149, 297
 Арно А. 111
 Арутюнова Н.Д. 138, 242
 Арцыбашев М.П. 264
 Асмус В.Ф. 26, 31
 Ахманов А.С. 31
 Ахматова А.А. 222, 223, 258, 312
 Бажю А. 66
 Балашов Н.И. 78, 85
 Бальзак О. де 277
 Бальмонт К.Д. 67
 Барт Р. (Barthes R.) 118, 195, 213, 214, 276, 277
 Бар-Хиллел Дж. 231
 Баумейстер Ф.-Х. 28
 Белобоцкий А.Х. 25, 28, 112—114, 118
 Белый А. 66, 67, 74, 75, 90
 Бейвенист Э. 21, 22, 133, 211, 226, 227, 330
 Бергсон А. (Bergson H.) 124, 222, 223, 271, 274
 Беркли Дж. 17, 153
 Блок А. 66—68, 72—74, 79, 81—83, 85, 87—91
 Бобров Е.А. 28
 Богомолов А.С. 176, 237
 Бодлер Ш. (Baudelaire Ch.) 83, 84, 86
 Бозе Н. (Beauzée N.) 116—118
 Бокадорова Н.Ю. 111, 116, 117
 Больцман Л. 173
 Бонитц Г. (Bonitz H.) 26
 Борн М. 4
 Бозций 28, 31
 Бозций Датчанин (Boethius Dacus) 108
 Брендаль В. 202
 Brentano Ф. 204, 205
 Брехт Б. 92, 219, 220, 257, 274—278
 Брутян Г.А. 7, 167
 Брюсов В. 66—68, 70, 80
 Буверес Ж. 180
 Булыгина Т.В. 179, 180, 223, 226
 Бунин И.А. 264
 Бурлюк Д. 199
 Бурлюк Н. 199
 Бэкон Р. 108
 Бэрсилл-Холл Г.Л. (Bursill-Hall G.L.) 108
 Вагнер Р. 80, 83
 Валери П. (Valéry P.) 93, 102
 Валла Л. 11
 Валлон А. 208
 Введеский А.И. 31
 Вежбицка А. (Wierzbicka A.) 36, 134, 135, 154, 169, 170, 176, 177
 Вейсгербер Л. 104, 207
 Вересаев В.В. 264
 Верлен П. 79, 85
 Верхарн Э. 66, 71, 72, 80
 Вико Дж. 114—116

* В латинской транскрипции (в скобках) имя приводится в том случае, если оно встречается в этой форме в тексте книги.

- Витгенштейн Л. (Wittgenstein L.) 62, 129,
 130, 151, 157, 166, 174, 292
 Владиславлев М.И. 40, 44, 46
 Войшвилло Е.К. 13, 28
 Волошинов В.Н. 115, 118, 258
 Вомперский В.П. 25, 112, 113
 Врубель М.А. 90
 Выготский Л.С. 19
 Вьеле-Гриффен Ф. 66, 81
 Ганзен А. и П. 185
 Гарсиа Лорка Ф. (García Lorca F.) 303,
 309
 Гауптман Г. 260
 Гегель 12, 17, 26, 57, 59, 116, 119, 123,
 124, 131, 187, 197
 Гей Н.К. 265, 266
 Гейне Г. 257
 Гераклит 9, 153
 Гердер И.-Г. 115
 Гермес Трисмегист 51
 Гийом П. 208
 Гиль Р. 66
 Гоген П. 272
 Горский Д.П. 17
 Готшед Й.Х. 303
 Горький М. 7, 257, 258, 264—266, 269,
 270, 272—274, 277, 278
 Грайс П. 245
 Гринг Э. 189
 Григорьев В.П. 197
 Груздев И.А. 264
 Грязнов А.Ф. 114
 Гудмен Н. 231
 Гуро Е. 199
 Гуссерль Э. (Husserl E.) 17, 18, 46,
 57, 59, 102, 140, 200—210, 219, 308
 Гумбольдт В. фон 99, 124, 207
 Гухман М.М. 105
 Дамаскин — см. Иоанн Дамаскин
 Данте 11
 Дегугис А. 166, 177
 Декарт Р. (Descartes R.) 28, 93—96, 99—
 102, 111, 113—115, 119, 204, 208, 218,
 278
 Демьянков В.З. 134, 135, 178, 253
 Джемс У. 222
 Джогадзе Д.В. 10, 28, 58
 Дидро Д. 117
 Дионисий Галикарнасский 149
 Дионисий Фракийский 147, 149
 Дирихле Г.-Х. 233
 Дмитрий Толмач 148
 Долгополов Л.К. 71
 Донат 147, 148
 Доннеллан К. (Donnellan K.) 242—245
 Достоевский Ф.М. 5, 7, 183, 184, 191—
 193, 196, 218, 259, 261
 Дуганов Р.В. 196, 197
 Дунс Скот Й. 28, 30
 Дьюн Дж. 222, 223
 Дэвидсон Д. (Davidson D.) 138
 Дюжарден Э. 66
 Дюкро О. (Ducrot O.) 44
 Дюфи Р. 272
 Евклид 198
 Ельмслев Л. (Hjelmslev L.) 133, 202
 Ермилова Е.В. 86
 Есенин С. 258, 263
 Есперсен О. 230
 Жид А. (Gide A.) 69—71
 Жильсон Э. (Gilson E.) 10
 Жоль К.К. 146
 Заменгоф Л.-Л. 94
 Зеион 142
 Зиновьева-Аннибал Л.Д. 70
 Золя Э. 72
 Ибн Рушд — см. Аверроэс
 Ибн Сина — см. Авиценна
 Ибсен Г. 5, 7, 183—185, 189—191, 193,
 218, 259, 260
 Иванов Вяч. 66, 67, 70, 74—77, 88, 197
 Ивнев Р. 261
 Икскуль Я. фон 206
 Ингарден Р. 214, 215
 Инголлс Д. Г. Х. 146
 Иоанн Дамаскин 28, 29, 35, 36
 Иоанн (Джон) из Солсберн 44
 Исаев С.А. 191
 Йоханнес Климакус — см. Кьеркегор
 Кан Г. 66
 Кандинский В. 86, 87, 181
 Кант И. 23, 89, 98, 99, 114, 116, 119—
 122, 131, 221, 227, 238, 284, 285, 303,
 304
 Каракулаков В.В. 143, 144, 146, 149
 Караулов Ю.Н. 178, 179
 Карельский А.В. 259, 261
 Карнал Р. (Carnap R.) 31, 111, 112, 116,
 125, 129, 134, 136, 148, 151, 153, 155,
 162, 164, 167—174, 176, 179—181,
 208, 236, 238—243, 248, 286, 293,
 300, 309
 Карпов В.Н. 61, 62
 Каррр Х.Б. 44, 135
 Касторский М.М. 31
 Катц Дж. (Katz J.) 242
 Кафка Ф. 194, 218
 Квинтиллиан 28
 Кийар П. 66
 Кирсанов С. 199
 Клеант 142
 Клодель П. 82, 182
 Козельский Я.П. 28
 Козлова М.С. 7

- Колшанский Г.В. 7
 Косиков Г.К. 214
 Костомаров В.Г. 10
 Крипке С. (Kripke S.) 241, 242, 244—246, 251
 Крученных А. 199
 Крылов И.А. 311
 Куайн У.О. ван (Quine W.O. van) 21, 22, 231, 242, 246
 Кубрякова Е.С. 20, 177
 Кудинов М.П. 78
 Кузнецов С.Н. 95
 Кун Т. 3, 4
 Купри А.И. 264
 Курантов А.П. 49
 Курилович Е. 229
 Кутюра Л. (Couturat L.) 95, 96
 Кьеркегор С. (Kierkegaard S.) 184—188, 190, 191, 218

 Лаланд А. (Lalande A.) 26, 29, 222
 Ламарти А. де 69
 Ланиган Р. (Lanigan R.) 201
 Лансело К. 111
 Лаплас П.-С. 156
 Лахути Д.Г. 241
 Лейбниц Г.В. (Leibniz G.W.) 25, 93, 95—100, 113, 119, 120, 122, 157, 159, 170, 198, 284
 Ленин В.И. 12, 42, 43, 123
 Лепяхин В.В. 291
 Лермонтов М.Ю. 88, 89, 257, 310, 311
 Лесков Н.С. 266
 Лессинг Г.Э. 303, 304
 Лившиц В. 199
 Лиотар Ж.-Ф. (Lyotard J.-F.) 208
 Литлвуд Дж. 232, 233
 Лихачев Д.С. 20, 258
 Ло Л. (Leau L.) 95
 Лобачевский Н.И. 198, 233, 280, 281, 305
 Локк Дж. 17, 45
 Ломоносов М.В. 309
 Лосев А.Ф. 9—11, 14, 17, 18, 26, 28, 51, 55—64, 66, 70, 85, 123, 141, 142, 144, 145
 Лукасевич Я. 32
 Луллий Р. 25, 95, 117
 Льюис К.И. 15, 19, 150, 175, 204, 236—239, 243, 246, 255

 Маймон С. 31
 Майоров Г.Г. 30, 31
 Макнавелли 11
 Маковельский А.О. 111, 150
 Малларме С. 66—68, 73, 76, 77, 80, 214
 Малявина Л.А. 109, 110
 Манн Т. 64, 83, 218
 Марсигоф А. 261, 262
 Маринетти Ф. 197, 262
 Марков А.А. 177, 178

 Маркс К. 12, 13, 42, 107
 Марр Н.Я. 167
 Марти А. 202
 Мартин Капелла 31
 Мах Э. 139, 140
 Маяковский В. 199
 Мелетинский Е.М. 200
 Мельвилл Ю.К. 223
 Мербеке В. (Moerbeke W.) 29
 Мережковский Д.С. 67
 Мерзляков А.Ф. 76
 Мерло-Понти М. 59, 200, 201, 203, 208, 210—214
 Мерриль С. 66
 Мерсенн М. 94
 Метерлих М. 66
 Микеладзе З.Н. 40
 Милль Дж. С. 45
 Михаил Пселл 45, 48
 Михайловский Н.К. 115
 Мишо Г. (Michaud G.) 67, 72, 77, 80, 82, 86, 182
 Мокель А. (Mockel A.) 66, 77
 Монтегю Р. 55, 158, 178, 232, 237, 241, 242, 253, 254
 Монтень М. де 94
 Монтестье Ш.-Л. 14
 Моне К. 124, 272
 Морас Ж. 66, 67, 71
 Морис Ш. 66
 Мотрошилова Н.В. 200
 Мудрагей В.И. 168
 Музиль Р. (Musil R.) 195, 257, 259, 276
 Мэйтс Б. (Mates B.) 143
 Мясников А.С. 183, 261

 Найссер У. 18, 23, 206, 238
 Небриха 148
 Некрасов Н.А. 258, 310, 311
 Низен Е. 199
 Николаев П.А. 7, 68
 Николай Кузанский 7, 11, 28, 51—57, 60—63, 85, 105, 106, 201
 Николь П. 111
 Ницше Ф. 82
 Новиков Л.А. 7, 16
 Нухельманс Г. (Nuchelmans G.) 41, 127
 Ньютон И. 95, 167

 О'Генри 222
 Оккам У. (Ockham W.) 11, 30, 31, 41, 44—50, 65, 134, 142, 153
 Олеша Ю.К. 79
 Ости Дж.Л. 130, 237

 Панини 177
 Панфилов В.З. 7
 Панченко А.М. 291
 Паскаль Б. 93
 Пастернак Б. 312

- Патциг Г. (Patzig G.) 32
 Перельмутер И.А. 25, 146
 Петр Испанский 11, 28, 40, 41, 44—46, 48—50
 Пешковский А.М. 180
 Пиаже Ж. 101, 102, 238
 Пирс Ч.С. (Peirce Ch. S.) 30, 127, 222, 223, 230, 284, 285
 Платон 10, 15, 16, 24—26, 45, 56, 57, 59, 62, 147
 Плотин 28, 42
 Полибий 221
 Порфирий 11, 28, 31, 34—37, 40—42, 45, 56, 102, 297
 Постовалова В.И. 124
 Потебня А.А. 255, 311
 Примочкина Н.Н. 82
 Присциан 147, 148
 Пришвин М.А. 219
 Пропт В.Я. 130, 200
 Пруст М. (Proust M.) 215, 218, 222, 223, 225, 257, 271—274, 312, 313
 Пушкин А.С. 270, 303, 304

 Рабан Мавр 65
 Райл Г. 166, 174, 237
 Рамишвили Г.В. 124
 Рассел Б. (Russell B.) 7, 15, 16, 21—23, 30, 45, 48, 53, 55, 64, 65, 83, 89, 107, 119—121, 125—127, 129, 132, 137—139, 150—166, 170, 171, 183, 206, 217, 225, 226, 229, 230, 236, 239, 243—245, 250, 255, 279, 287, 293, 300, 301
 Рейхенбах Г. (Reichenbach H.) 138, 230
 Рембо А. 62, 77—79, 84, 85, 197, 214, 261, 302
 Ремизов А.М. 266
 Ренуар О. 272
 Ренье А. де (Régnier H. de) 66, 67
 Ривьер Ж. (Rivière J.) 274
 Рид Т. 114
 Робинс Р. (Robins R.) 146, 147
 Роденбах Ж. 66
 Росс У.Д. (Ross W.D.) 28, 35
 Росцелин из Компьяна 31

 Садовский В.Н. 12, 122, 247
 Сазонова И.К. 148
 Санчес Ф. 109—112, 148
 Сартр Ж.-П. (Sartre J.-P.) 140, 141, 194, 208
 Сведенборг Э. 83
 Сейфуллина Л. 79
 Сенекса 28, 30
 Сепир Э. 5, 104, 207
 Серебренников Б.А. 7, 17
 Скотт В. 22
 Скрыбин А.Н. 86
 Слюсарева Н.А. 210
 Смирнов В.А. 122, 247

 Смирнова Е.Д. 285
 Смит А. 114
 Соколов В.В. 48, 51
 Сократ 10, 24, 25
 Соловьев Вл. 63, 73, 258
 Соловьев С. 67
 Соссюр Ф. де 53, 107, 136, 210, 211, 220, 292, 293
 Спиноза Б. (Spinoza B.) 31, 51, 93, 99, 103—107, 113, 119
 Спиркин А.Г. 198
 Стагирит — см. Арнстотель
 Станиславский К.С. 92, 200
 Степанов Г.В. 4, 303
 Степанов Н.Л. 196
 Степанова Л.Г. 115
 Стерн Л. 264
 Столл Р. 136
 Стросон П. 166, 174, 245
 Стяжкин Н.И. 10, 28, 41, 48, 96
 Сулейменов О. 196
 Сухово-Кобылин А.В. 92
 Сципион Бородатый 292

 Тарский А. 162, 163
 Тейяр де Шарден П. 85
 Телня В.Н. 170
 Теодоро де Андреас С.И. (Teodoro de Andrés S.I.) 44, 49
 Тондл Л. 242
 Трахтенберг О.В. 42, 66
 Тренделенбург Ф.А. 31
 Трубецкой С.Н. 9, 10
 Тынянов Ю.Н. 77

 Уайтхед А.Н. 152
 Уемов А.И. 17, 22, 23, 181, 242
 Унсдом Дж. 166, 174, 176, 237
 Уленбек Х.К. 293, 305
 Уорф Б.Л. 5, 104, 207, 294
 Уфимцева А.А. 13

 Федоров А.А. 83
 Фихте И.Г. 62, 114
 Флобер Г. 214
 Фома Аквинский 7, 28, 126, 127
 Форсайт А.Р. 232
 Фреге Г. (Frege G.) 16, 23, 155, 164, 233, 244, 247
 Фуко М. 118

 Хайдеггер М. 201, 203, 213, 230
 Хинтikka Я. 17, 122, 155, 174, 181, 241, 243, 246—250, 252—254, 256, 257, 279, 286
 Хлебников В. 71, 183, 196—199, 214, 261, 262

 Холл Парти Б. 55, 242, 255
 Хорган Т. (Horgan T.) 138
 Хорисби Дж. (Hornsby J.) 138
 Храпченко М.Б. 7, 68, 69, 268, 303
 Хрисипп 142

- Хэккер П.М.С. (Hacker P.M.S.) 138
 Хюльсманн Х. (Hülsmann H.) 140, 203
- Целищев В.В. 16
 Цицерон 30
- Чанышев А.Н. 28, 32
 Черепанова Е. 14
 Чернышевский Н.Г. 195
 Черч А. 16, 128, 129, 233, 239—241,
 247, 248, 279
 Чехов М. 85—87, 91, 92
 Чудаков А.П. 258
 Чуева И.П. 51
- Шатобриан Ф.-Р. де 214
 Шеллинг Ф.В.И. 59, 114, 140, 221, 305
 Шершеневич В. 261—263, 309
 Шибутани Т. 225
 Шиллер Ф. 89
 Шмелев А.Д. 226
- Шопенгауэр А. 79, 80, 83
 Шпет Г.Г. 21, 200
 Шуленбург С. фон дер (Schulenburg S.
 von der) 100
- Эйнштейн А. 125, 126
 Экхарт И. 51, 56
 Эллиотт А.У. (Elliott A.W.) 95
 Эллис 68
 Энгельс Ф. 13, 42, 107
 Эригена 65
- Юм Д. 17, 153
 Юрченко А.И. 26, 35
- Якобсон Р. (Jakobson R.) 75, 230, 290,
 291
 Яковенко Б.В. 18, 209
 Якушин Б.В. 52
 Якушкяна М.Г. 117
 Яновская С.А. 17

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абстрактное и конкретное 17, 53, 71, 96, 280
- Абстракции метод (*семиотич.*) 44
- Акт 126, 203 (*см. также* Событие; Факт)
- Аксиденция 97, 119
- Анаграммы 292
- Анализ семантический 95 и след., 135, 138, 169
- Аналитическое и синтетическое (суждение, предложение) 70, 109, 135, 154, 157—159, 284, 286
- Аналогия 84, 85 (*см. также* Символ)
- Апофатика, апофатизм 7, 55, 63, 106 (*см. также* Именование, отказ от и.)
- Аргумент (в функции) — *см.* Переменная
- Архетип 70
- Атрибут 107, 138, 243
- Бытие (виды б.) 27, 42, 89, 102, 138, 139, 210 (*см. также* Существование; "Метаксио"; Субзстенция; Экзистенция)
- Вещный язык *см.* Объектный язык
- Вещь 10, 21, 42, 71, 102, 119, 120, 124—127, 137, 157, 183, 274
- Видимость 70, 274 (*см. также* Явление)
- Возможность и необходимость 121, 122, 260
- Возможный мир 70, 78, 87 и след., 99, 119, 122, 155, 173, 198, 246, 248 и след., 257, 260, 261, 279, 302—304 (*см. также* Интенциональный мир)
- Время, длительность 23, 125, 156, 288, 294, 308
- Выражение (как отличное от именованя) 14, 20, 164
- Герменевтика 104
- "Гипотеза Сепира—Уорфа" 5, 104, 207
- Глагол, глагольность 19, 75, 109, 130, 261 (*см. также* Части речи)
- Грамматика 103, 108 и след., 117
- "Двойничество" (*в искусстве*) 78, 257, 291, 302 (*см. также* Псевдонимия)
- "Двух языков" концепция 7, 11, 52, 108 и след., 161 и след., 166, 179, 197, 201 (*см. также* Иерархия языков)
- Дектика 9, 67, 223, 224, 280
- Денотат, денотация 23, 128, 155, 236
- "Дерево Порфирия" 34 и след., 45, 102, 297
- Десигнатор — *см.* Твердый и нетвердый десигнаторы
- Дескрипция 65, 151—153, 245 и след.
- "Джнанани"—знание (*др.-инд.*) 145
- Диалектика, диалектическое 6, 12, 51, 57, 58, 238
- Дистрибуция 48, 175
- Длинный семантический компонент (семантическое согласование) 98, 121, 132, 288, 293 (*см. также* Сочетаемость)
- Единое, единство 11, 51, 59, 197
- Знак, знаковое 68, 69, 115, 136, 176, 209, 220, 275 и след., 280
- Знание 145, 181
- Значение 23, 128, 168, 205, 206, 237, 238 (*см. также* Индексные выражения; Интенционал; Компрегенсия; Смысл; Экстенционал)
- Иерархия (бытия, логоса, сущности) 12, 26, 28, 34, 51, 65, 102; и именования 49; и языков 152, 160 и след., 170 и след., 180, 247, 287
- Имажинизм (*в искусстве*) 181 и след., 261 и след.
- Именование 13 и след., 55, 127; отказ от и. 73 (*см. также* Имя; Апофатика; Выражение)
- Импрессионизм (*в искусстве*) 124, 183
- Имя 9, 13 и след., 54 и след., 65, 73 и след., 76, 77, 103, 124, 133, 136, 148, 152 и след., 274, 300; и как функция 16; нехватка имен 155, 242 (*см. также* Индивидуное имя; Сингулярный термин; Дескрипция; Твер-

дый и нетвердый десигнаторы; Терм)

Индексные (индексальные) выражения 231, 253

Индивид 21, 27, 49, 50, 148, 246, 256, 297

Индивидуальное (собственное) имя 13, 15, 41, 105, 148, 227, 234 и след., 243 (см. также Сингулярный термин; Псевдонимия)

Интенционал, интенсия 113, 142, 145, 150, 164, 177, 236, 240, 255, 299, 302 (см. также Значение)

Интенциональная логика 21, 89, 139, 173, 233

Интенциональный мир 87 и след., 184, 230, 304 (см. также Возможный мир)

Интенция, интенциональность 102, 203 и след.

Интерсубъективность 203, 207 и след., 308

Историзм (в семантике) 3, 4, 7, 67, 113—115, 123, 255—266

Йота-оператор 245

"Картина мира" 10, 66, 104, 119, 120, 124 и след.

Категории 21, 26, 33, 48, 53, 119, 134; к. Канта 120, 121; к. стоиков 142

Кausalная история имени 238, 254 и след.

Качество 22, 31, 48, 120, 134, 137, 142, 148, 153, 161 (см. также Атрибут; Акциденция; Свойство)

Квантификация 22, 151, 152, 249

Количество имен 7, 279 и след. (см. также Терм; Имя, нехватка имен)

Компрегенсия 236, 255 (см. также Значение)

Конструктивизм 167

Контрастная и непротивоположная теории значения 52 и след., 56, 136

Корреспонденция-соответствия (у символистов) 83 и след.

Кубизм (в искусстве) 181

Лектон 144 и след., 149

Логика, логическое 6, 62, 221, 304 (см. также Интенциональная логика; Модальная логика)

Логос 9, 10, 57

Локация 218, 235

Лямбда-оператор 16, 247

"Метаксю"—срединное бытие (греч.) 88, 89, 138, 139, 252, 253

Метафизика, метафизическое 148, 158, 176, 301

Метафора 182, 229

Метаязык 43, 166, 180, 241, 253

Миф 64

Модальная логика 89, 129, 173, 233, 253

Модальность 119

Моделирование, модели (семиотич.) 20, 70, 278 и след.

Модисты 108, 110, 166

Модусы означивания 108, 236; м. интенциональности 204

Музыка 79—83

Навья-ньяя — "новая логика" (инд.) 145, 146, 150

Натурализм (в искусстве) 67, 263

Неконтрастная теория значения — см. Контрастная и непротивоположная теории значения

Необходимость 107, 122 (см. также Возможность и необходимость; Случайность и необходимость)

"Новая логика" — у схоластов 32; у Карнапа 169; инд. — см. Навья-ньяя; в искусстве 182

Номинализм 31, 42, 65, 153

Общее имя 16, 41, 148 (см. также Имя)

Объект 21, 117, 176, 179, 206, 222 (см. также Вещь; Терм)

Объектный язык 161, 168 (см. также Иерархия языков; "Двух языков" концепция)

Описание состояний 155, 173

Определение 24, 36, 40, 135

Отношение 22, 23, 48, 120, 121, 129, 134, 138, 144, 160 (см. также Предикат)

Отрицание 98, 99, 286 (см. также Противоположность)

Парадигма 3—5

Парафраз — см. Перифраза

Первая сущность — см. Вещь; Сущность

Переменная (в функции) 21, 131, 138, 155, 233

Перифраза, перифразирование 154, 175, 180, 306, 310, 311 (см. также Трансформация)

"Пирамида света" 60 и след., 85

Подлежащее — см. Субстрат; Субъект

Положение дел 19, 127, 173 (см. также Описание состояний)

Порождение категорий 59, 123, 305; п. в грамматике 167, 177 и след.

Порядок предложения — см. Уровень предложения

"Посткатегории" 40

Постоянные сюжеты (в поэтике) 304

Прагматика 3, 9, 67, 159, 216, 220 и след., 231, 239 и след., 253, 313

Предикабилии 39, 40

Предикат 19, 22, 127 и след., 130 и след., 152, 158, 176, 232, 247, 300, 310

- Предикация 38 и след., 126 и след., 140, 284
- Предмет, предметность 20—23, 38
- Признак 19, 40 (см. также Определе-ние; Свойство)
- Пропозициональная функция 131, 132, 137, 152, 153, 279 (см. также Функ-ция)
- Пропозициональные установки 7, 127, 164 и след., 229, 236, 248, 265, 279, 281, 283, 308
- Пропозиция 47, 118, 125, 156, 239
- Пространство, протяженность 10, 23, 124, 125, 156, 225
- Противоположность 51, 98, 99, 107, 122, 184 и след., 227
- Противоречие диалектическое 6, 12; п. в семантике 202
- Псевдонимия (в поэтике) 190
- Реализм (в искусстве) 5, 79, 213, 264
- Реализм (филос.) 42
- Релятивизация (семиотич.) 119, 228, 233 и след.
- Референция 23, 131, 154, 155, 243
- Речевых актов теория 245
- Ритм 79, 80—83, 292
- "Русский формализм" 67, 130, 183
- Свойство 21, 31, 120, 134, 148, 157, 158, 183, 193, 259, 288, 300 (см. также Акциденция; Атрибут; Вещь; Каче-ство; Определение; Признак)
- Семантика 3, 9, 41, 66, 67, 128, 129, 136, 165, 253
- Семиология — см. Семиотика
- Семиотика 3, 41, 115, 206, 213, 223, 276, 278
- Сигнификат, сигнификация 15, 18, 57, 236
- Символ 60, 65, 70—72
- Символизм 54, 64, 71, 182, 197, 261
- Сингулярный термин 246, 251, 252, 254 (см. также Индивидуальное имя; Твер-дый и нетвердый десигнаторы; Функ-ция индивидуализирующая)
- Синтаксис 138, 151; с. в поэтике 181
- Синтактика 3, 9, 41, 67, 116, 118, 128, 129, 166, 196, 253
- Синтетическое — см. Аналитическое и синтетическое
- Случайность и необходимость 29, 66, 71—73, 91, 197
- Смысл 9, 23, 59, 197, 212, 260, 270, 299 (см. также Интенционал; Сигнификат; Значение)
- Собственное имя — см. Индивидуальное имя
- Событие 23, 125, 126, 137, 155 (см. также Акт; Факт)
- Согласование семантическое — см. Длинный семантический компо-нент
- Состояние — как категория 34; пре-дикат с. 155, 204 (см. также Опи-сание состояний)
- Сочетаемость 196, 298, 303 (см. также Длинный семантический компо-нент)
- Степень предложения 281 и след., 295, 306, 313 (см. также Количество имен; Терм)
- Стиль (семиотич.) 4
- Стих 75, 81, 292
- Субзистенция 89, 301 (см. также Бы-тие)
- Субстанция 22, 28, 30, 48, 119, 120, 158, 297 (см. также Сущность)
- Субстрат 29
- Субсумпция 38
- Субъект 22, 217, 277, 294, 295
- Суппозиция 33, 40, 41, 43 и след.
- Существование 16, 30, 48, 65, 88, 96, 121, 140 и след., 208, 301 (см. также Бы-тие; Субзистенция; Экзистенция)
- Сущность 10, 12, 23, 26 и след., 58 и след., 119, 134, 148, 149 (см. также Субстанция; Явление и сущность)
- Тавтология 164, 195, 285
- Твердый и нетвердый десигнаторы 245 и след. (см. также Референция; Возможный мир)
- Терм 22, 110, 127, 131, 295
- Тип, типология (семиотич.) 6, 92, 115
- Типическое (в искусстве) 72 (см. также Случайность и необходимость)
- Типов теория 152, 279
- Тождество 157, 158, 252
- Трансформация 19, 298, 305, 306
- Универсалии 42
- Уровень предложения 281 и след., 305
- Факт 125, 126, 137, 138 (см. также Акт; Событие)
- Феномен 71 (см. также Явление и сущ-ность)
- Формализация 24, 25, 44, 93 и след., 131, 172
- Формальное и содержательное (в поэ-тике) 181 и след., 257—259, 289 и след.
- Функция 16, 17, 19, 232 и след., 247, 314; ф. индивидуализирующая 16, 250 и след. (см. также Пропозици-ональная функция)
- Футуризм (в искусстве) 67, 76, 182, 197, 263

Цвет 34 и след., 85—87, 90, 138, 158, 300

Части речи 103, 106, 109, 139, 144, 146
и след.; ч. р. в поэтике 261, 262, 310
"Чтойность" 30 (см. также Сущность)

Эго — см. "Я"

Эгоцентрические слова 93, 125, 159, 208,
216, 224 и след., 230, 257

Эйдос 24, 57 и след., 201

Экзистенция 30, 140 и след., 185, 213, 301
(см. также Бытие; Существование)

Экспонибилии (схоласт.) 47

Экстенционал, экстенсия 131, 164, 236,
283, 302 (см. также Значение)

Энс, энция 21, 30, 96 (см. также Суб-
станция; Сущность)

Энтелекия 126

Эссенция 29, 30 (см. также Сущность;
"Чтойность")

Этос (семиотич.) 118

"Я" 71, 93, 94, 102, 139, 159, 163, 169,
184, 189, 207 и след., 216 и след., 264
и след.; я. и мышление 6, 100 и след.,

Явление и сущность 12, 64, 65, 70—72
(см. также Феномен)

Язык 5, 10; универсальный я. 94, 95, 109
и след.; я. и мышление 6, 100 и след.,
120, 212, 242 (см. также Объектный
язык)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|-------------------|---|
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 3 |
|-------------------|---|

Глава I

| | |
|--|----|
| СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ("философия имени" как выражение семантического подхода к языку) | 9 |
| 0. Общие черты | 9 |
| 1. Понятия имени и именования | 13 |
| 2. "Философия имени" в античности. Платон и Аристотель | 24 |
| 3. Проблемы языка в средневековой схоластике. Петр Испанский и Оккам | 41 |
| 4. "Философия имени" на рубеже схоластики и философии нового времени. Николай Кузанский | 51 |
| 5. "Философия имени" А.Ф. Лосева | 57 |
| 6. Поэтика имени. Символизм | 65 |
| 6.0. Вводные замечания. Поэзия, поэтика, семиотика имени | 65 |
| 6.1. "Сущность" как предмет искусства. Символ | 69 |
| 6.2. Имя явления и имя сущности | 73 |
| 6.3. Ритмы | 79 |
| 6.4. "Соответствия-корреспонденции" | 83 |
| 6.5. Интенциональный мир | 87 |

Глава II

| | |
|--|-----|
| ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В XVII в. (межпарадигматический период) | 92 |
| 0. Общие черты | 92 |
| 1. Декарт и Лейбниц | 94 |
| 2. Спиноза | 103 |
| 3. Парадигма "двух языков" и учения Пор-Рояля | 108 |

Глава III

| | |
|---|-----|
| ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (межпарадигматический период) | 113 |
| 0. Общие черты | 113 |
| 1. Парадигма "двух языков" в философии языка просветителей | 116 |
| 2. Некоторые логико-философские идеи Канта и Гегеля | 119 |

Глава IV

| | |
|--|-----|
| СИНТАКТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ("философия предиката" как выражение синтаксического подхода к языку) | 124 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 0. Общие черты | 124 |
| 1. Понятие предиката | 130 |
| 2. Элементы "философии предиката" в учении античных стоиков | 142 |
| 3. Язык в концепциях Б. Рассела 1920—1940-х годов | 150 |
| 4. От парадигмы "двух языков" Р. Карнапа к лингвистическому конструктивизму | 166 |
| 5. "Поэтики предиката", или "синтаксические поэтики" | 181 |
| 5.0. Вводные замечания. Формальные и содержательные поэтики | 181 |
| 5.1. Поэтика "человека без свойств". Достоевский и Ибсен | 183 |
| 5.2. Поэтика русского футуризма и В. Хлебникова | 196 |

Глава V

| | |
|---|-----|
| ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА В ФЕНОМЕНОЛОГИИ (межпарадигматический период) | 200 |
| 0. Общие черты | 200 |
| 1. Некоторые понятия, относящиеся к языку, в феноменологии Э. Гуссерля | 201 |
| 2. М. Мерло-Понти и французские семиологи 1950—1960-х годов | 210 |
| 3. Поэтика феноменологии. Р. Ингарден | 214 |

Глава VI

| | |
|--|-----|
| ПРАГМАТИЧЕСКАЯ (ДЕКТИЧЕСКАЯ) ПАРАДИГМА ("философия эгоцентрических слов" как выражение прагматического подхода к языку) | 216 |
| 0. Общие черты | 216 |
| 0.1. О термине "прагматика" и его замене термином "дектика" | 220 |
| 1. Понятие "эгоцентрических слов" | 224 |
| 2. Новые понятия в работах К.И. Льюиса и Р. Карнапа 1950-х годов | 236 |
| 3. Картина языка в концепциях модальных и интенциональных логик 1980-х годов | 242 |
| 4. Поэтики эгоцентрических слов | 257 |
| 4.0. Вводные замечания | 257 |
| 4.1. Поэтика "человека без свойств" в XX в. Р. Музиль | 259 |
| 4.2. Русский имажинизм — "малая поэтика эгоцентрических слов" | 261 |
| 4.3. "Поэтика очевидца" в автобиографической трилогии и в "Жизни Клима Самгина" М. Горького | 264 |
| 4.4. Эгоцентрическая поэтика М. Пруста | 271 |
| 4.5. Элементы эгоцентрической эстетики в театре Б. Брехта | 274 |

Глава VII

| | |
|---|-----|
| ОБЩАЯ КАРТИНА ЯЗЫКА В СВЕТЕ ЭТАПОВ (ПАРАДИГМ) ЕГО ПОЗНАНИЯ. ТРИ МОДЕЛИ | 278 |
| 0. Вводные замечания | 278 |
| 1. Язык-1 (с семантикой только) | 281 |
| 2. Язык-2 (с семантикой и синтактикой) | 295 |
| 3. Язык-3 (с семантикой, синтактикой и прагматикой — дектикой) | 305 |

| | |
|----------------------------|-----|
| ЛИТЕРАТУРА | 315 |
| УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН | 324 |
| ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | 329 |

Юрий Сергеевич Степанов
В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКА
(Семиотические проблемы лингвистики,
философии, искусства)

*Утверждено к печати
Институтом языкознания АН СССР*

Редактор издательства *В.С. Матюхина*
Художник *Г.П. Валлас*
Художественный редактор *Н.Н. Власик*
Технический редактор *М.К. Серегина*
Корректор *Л.А. Агеева*

Набор выполнен в издательстве
на электронной фотонаборной системе

ИБ № 29378

Подписано к печати 10.04.85. Формат 84 × 108 1/32
Бумага офсетная № 2. Гарнитура Таймс
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,6. Усл. кр.-отт. 17,7
Уч.-изд. л. 21,4. Тираж 5000 экз. Тип. зак. 137. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени
1-я типография издательства "Наука"
199034, Ленинград В-34, 9-я линия, 12